БАЛЬЗАК

23

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ОЧЕРКИ

~

ПИСЬМА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

ОЧЕРКИ

НЕСЧАСТНЫЙ

За сутки он должен истратить пять тысяч франков, толпа лакеев, днем и ночью на ногах, угадывает его желания, повинуется его приказам... Он никогда сам не поднимет платка, и если ест и пьет сам, то лишь потому, что никто не может избавить его от этого труда. Ему прислуживают всегда в перчатках, рука без перчатки внушает ему отвращение. Когда по утрам его окружают поставщики и предлагают ему различные способы передать промышленности частицу миллионного отцовского наследства, молодой граф — ибо наш герой молод и носит графский титул — отвечает только легким кивком головы; он никогда не позволит себе заговорить с человеком, живущим трудами своих рук или барышами почтенной коммерции.

Единственная мысль занимает его и составляет муку его жизни:

«Мне нужно истратить миллион восемьсот двадцать пять тысяч франков в год; как это сделать?»

Из всяческих тягот я ставлю на первое место тягостную обязанность промотать крупное состояние; однако, обладая живым воображением или двумя-тремя серьезными пороками, можно очень быстро избавиться от излишка, а иногда даже от самого необходимого.

Но у молодого графа нет пороков, мало воображения и только одна любовница; с ней он не расстается потому, что отыскать другую хлопотливо, а сама мысль о каких-либо хлопотах приводит его в ужас. Впрочем,

не так давно он нашел способ ежедневно расходовать деньги (этот способ достоин изобретательного сибарита): сжигать каждый вечер шляпу, перчатки — словом, всю прекрасную оболочку своей возлюбленной, которая (разумеется, оболочка) стоит очень дорого. Таким образом, огонь пожирает от тысячи пятисот до тысячи восьмисот франков, которые, говоря между нами и не в обиду молодому миллионеру, будучи превращены в дрова, отлично согрели бы общественные теплушки. Современный Крез достиг бы той же цели: ведь ему угодно было их превратить в пепел.

Он крайне чувствителен к тому, как бы кто-нибудь не коснулся его, когда он, утомившись от тяжкого пребывания в карете, позволяет своим ногам двигаться, а лошадям отдыхать. Если вы имели несчастье толкнуть его, проходя мимо, то будут бесполезны все извинения, которые вы сочтете себя обязанным принести ему. Он слушать вас не станет. Он вернется домой, и по мановению его руки, которое хорошо знакомо лакею, последний поспешит избавить его от платья, запятнанного прикосновением постороннего человека, и огонь предаст должной казни сукно, осквернённое толчком дерзкого локтя... А ведь есть бедняки, нуждающиеся в одежде!

Не думайте, впрочем, что сей огнепоклонник ничего не дает страждущему человечеству. Нынче зимой он послал благотворительному обществу шестьдесят тысяч франков, что доказывает его щедрость. Он дал бы больше, да пришлось бы тогда говорить и приказывать, а от такого труда он хочет себя избавить.

Если бы и чтение не было трудом, мы могли бы составить ему такую смету, которая истребит все его богатство без ежедневного сжигания нарядов его возлюбленной; но если она кокетка, простит ли она это нам? Пожалуй, навлечешь на себя гнев красивой женщины или усыпишь читателя цифрами и рассуждениями,— нет, отважиться на такое вдвойне опасное дело нам не позволяет ни воспитание, ни самолюбие.

Бедный богач!

«Силуэт», 18 февраля 1830 г.

БАКАЛЕЙЩИК

Существо возвышенное, существо непостижимое, источник жизни и отрады, света и наслаждения, образец безропотности! Все это совмещаешь ты в себе, о бакалейщик, и в довершение своих достоинств сам о них не подозреваешь! Ты бакалейщик по врожденному инстинкту, по призванию, из-за выгоды, и тем не менее ты — верх доброты и любезности, ты более точен, чем твои весы, более неусыпен, чем свет дневной, более верен своему прилавку, чем лицеист — своей любви. О бакалейщик, ты царил бы среди нас, не будь ты подвержен банкротству!

Проходя мимо священнейшей лавки бакалейщика, я всегда мысленно воздаю ему хвалу, не от себя лично, а от всего общества, из глубины благодарного сердца,— как бы ни был он жалок, противен, засален, какая бы ни была на нем скверная шапка. Встретятся мне похоронные дроги, встретится епископ, король — я не снимаю шляпы, но я всегда поклоном приветствую бакалейщика, с ним я говорю почтительно в подражание газете «Конститюсьонель».

Благоговейное мое почтение перед бакалейщиком исходит из глубокой убежденности, и, может быть, со мной согласятся те, кому будет угодно прочесть настоящий физиологический очерк, в котором мы подвергнем бакалейщика анализу и внешне и внутренне.

Есть такие люди, для которых сказать с высоты голубых скамей наследственной Палаты: «Бакалейщик!..» — все равно, что сказать: «Ракà!» Мы знаем

человека, который, к ужасу французской нации, пытался с трибуны подорвать уважение к бакалейщику... Наконец, есть художники, которые говорят: «Эх вы, бакалейщики!», выражая этим крайнюю степень презрения.

Пора покончить с хулителями бакалейного дела! Уж не за то ли вы клянете бакалейщика, что он неизменно носит красновато-коричневые штаны, что у него синие чулки, башмаки с широкими носками и картуз из поддельной выдры, украшенный потускневшим серебряным галуном, что на нем фартук, треугольный нагрудник которого доходит до солнечного сплетения? В таком случае следовало бы отвергнуть и художника в блузе и весь рабочий народ. Или за то вы клянете его, что он, по всеобщему признанию, не способен мыслить? Но теперешний бакалейщик читает Вольтера, у себя в гостиной он вешает гравюры «Солдат-землепашец» и «Атака на заставу Клиши», доказывая тем самым, что ему не чужды поэзия и изящные искусства. Он восхищается Поль де Коком и Виктором Дюканжем, плачет на представлении мелодрамы, частенько ходит во Французскую комедию и понимает «Эрнани». Много ли найдется французских граждан, достигших такой высоты?! Наконец, подобно многим библиографам, он по заглавиям знает огромное количество произведений, которые прошли через его руки, разорванные на отдельные листки.

Значит, за то вы презираете бакалейщика, что он трудится? Жалкие люди!.. Если так, станем дикарями, могиканами, испанцами, лодырями, ибо вся цивилизация зиждется на *труде!*

Но как ничтожны все эти соображения перед сводной таблицей достоинств бакалейщика!

Если вы знатный барин, то строите деревенский поселок, если вы делец, то застраиваете квартал. Вы построили дома, воздвигли церковь, вы находите обитателей, где-то подбираете педагога — словом, стряпаете цивилизацию так же, как стряпают паштет (берутся грибы, ножка цыпленка, фрикадельки и раки); тут и дом священника, и помощники мэра, сам мэр, и люди, опекаемые властями... И все же ваш микрокосм еще не есть прообраз нации, пока он не приобретет связи, самой крепкой из всех социальных связей, самого тугого

узла — бакалейщика! Если вы замедлите поселить бакалейщика посредине главной улицы, подобно тому, как вы водрузили крест в центре города, то все разбегутся.

Хлеб, мясо, мебель, портные, священники и правительства появляются и исчезают, а бакалейщик остается и должен оставаться на своем посту день и ночь в любой час. Из его лавки проистекает, сказал бы г-н В. Кузен, изумительная *феноменологическая тройственность*, или, говоря языком новой школы, небесная трилогия; эта трилогия, эта тройственность, этот треугольник состоит из чая, кофе и шоколада, которые составляют тройную сущность нынешних завтраков, источник всех дообеденных наслаждений.

Отсюда же — ламповое масло, свеча восковая, свеча сальная,— еще одна феноменологическая тройственность, источник света.

Отсюда — соль, перец стручковый, перец молотый,— еще трилогия.

Сахар, лакрица, мед — еще тройственность.

Не к чему и доказывать вам, что в бакалейном деле, подлинном треугольном единстве, все дедуцируется тройственной продукцией, отвечающей спросу, а потому с литературной точки зрения бакалейщик — трилогия, с религиозной — образ святой троицы, с философской — неизменная феноменологическая тройственность, политически же он представляет собою три вида власти, и перед лицом всех он — един.

Бакалейщик — всеобщая связь наших потребностей, он неизбежно входит во все частности человеческого существования, точно так же как память лежит в основе всех искусств.

— Где перо и чернила? — говорит поэт.

— Сударь, бакалейщик на углу.

— Я проигрался! Надо застрелиться! Где порох и пули?

— Сударь, они продаются у бакалейщика.

— Ба! Я отыграюсь. Карты! Карты! Отдам мой дворец за колоду карт!

— Сударь, бакалейщик...

— Курить! О, видеть, как у твоих губ медленно

тлеет гаванская сигара, погружая тебя в сладостные мечтания, растворяясь дымом, подобием любви.

— Бакалейщик...

— Я хотел бы угостить Клару изысканным завтраком,— бретонское сливочное масло, китайский чай, паштет с неракскими трюфелями...

— Бакалейщик...

— Бедная Клара, твое платье измято, как осенний лист, растоптанный мужицкой ногой!

Появляется бакалейщик с марсельским мылом, крахмалом и даже с утюгом!

— О, долгая томительная бессонница! Кто в состоянии прогнать ее, если не ты, прославленный, чудодейственный Фюмад! Ты, чьи красные трубочки донесут твое имя до Борнео!

— Бакалейщик.

Дитя, тебе бакалейщик продает агатовые шарики, столь же красивые, как твои сверкающие глазки, продает тебе «солнышки», которые не устают вращаться, как ты сам не устаешь бегать, бечевку, чтобы пускать змея, и самый змей. Старик инвалид, тебе он продает неизменный табак, который ты пересыпаешь из платка в табакерку и из табакерки в платок; ибо табак, нос и платок инвалида являют собой образ бесконечности, подобно змее, жалящей собственный хвост; мало того: бакалейщик продаст тебе чарку водки, которая поможет унять твои боли. Священнику он продает свечи и облатки, школьному учителю — азбуку и перья, крестному папаше — драже, жене — мыло, мужу — наливку, избирателю — бумагу, депутату — ракеты. Чего-чего только он не продает!.. Он продает снадобья, от которых умирают, и патентованные средства, которые возвращают здоровье. Он самого себя продал публике, как продают душу дьяволу. Он — альфа и омега всякого человеческого общества. Вы не пройдете ни одной мили, вам не удастся ни преступление, ни доброе дело, ни обед, ни художественное произведение, ни кутеж, вам не иметь любовниц, если вы не прибегнете к всемогуществу бакалейщика.

Это цивилизация, сосредоточенная в лавочке, общество в бумажном фунтике, потребность, вооруженная с ног до головы. Это энциклопедия в действии, это

сама жизнь, распределенная по выдвижным ящикам, бутылкам, мешочкам, банкам. Покровительство бакалейщика я предпочитаю покровительству короля. Если вы покинуты всеми, даже богом, но у вас остается друг, бакалейщик, вы заживете, как крыса в головке сыра. «Нами держится все»,— говорят они с законной гордостью. А потому, читая слова, написанные золотыми буквами: *«Бакалейщик Имярек, поставщик короля»*, вы в ужасе спрашиваете себя: кто же более монарх: король бакалейщика или бакалейщик короля?

И это незаменимое колесико нашего общественного механизма, этот человек-стержень, это спокойное создание, этот практический философ, эта промышленная тройственность изображается как воплощение глупости!.. О люди! Пэры Франции, депутаты, художники, писатели, доколе мы будем презирать полезное и почитать праздное, гнилое, бесполезное!

А в рассуждении учтивости, благожелательности, милосердия, еще одной, моральной, тройственности, кого можно сравнить с бакалейщиком и особливо — с парижским бакалейщиком, извечным образцом европейских, американских, азиатских и африканских бакалейщиков?

Попросите его указать вам дорогу, и если даже льет дождь, он вам указывает ее, он выходит из-под навеса, делает несколько шагов, мокнет, но служит вам проводником, следит за вами взглядом, как Дедал провожал сына своего Икара, и словно говорит вам:

— Иди, мой пехотинец! (I care) [1].

Если женщина падает в обморок у его лавки, он никогда не откажет в стаканчике вина, в кусочке сахару.

А вежливость его... она баснословна; не та салонная вежливость, формальная и лишенная содержания, внешне изысканная, внутренне сухая,— но вежливость, подсказанная выгодой, вежливость настоящая, основательная. Бакалейщик всегда улыбается, как нотариус, рассчитывающий составить акт; коротко говоря, вы чаще встретите любезного бакалейщика, чем статную женщину.

---

[1] Я забочусь о тебе *(англ.)*.

Если бы этот человек не одевал сынишку уланом; если бы не ездил — притом в плетеной тележке — на дачу, где у него есть садик величиною с носовой платок; если б у него в гостиной не стояли под стеклом часы, изображающие амура, который только что вылупился из яйца; если бы мебель его не была обита красным плюшем, а занавески у постели не были сшиты из желтого ситца, то он стал бы прообразом *добра, красоты и пользы*, гражданином прежде всего!

Но разве бывает что-нибудь совершенным в сей юдоли слез?

«Силуэт», 22 апреля 1830 г.

ПРАЗДНЫЙ И ТРУЖЕНИК

Когда я несколько часов подряд мараю бумагу и остаюсь доволен собой, что случается со мною всегда после приступа такой родильной лихорадки, я открываю окно; я испытываю сладострастное удовольствие, ощущая, как ветерок ласкает мои волосы, мое разгоряченное чело и пылающие щеки! Я вижу небо, слышу шум большого города, вдыхаю чистый воздух; надежда быть полезным этой волнующейся толпе заставляет еще быстрее бежать в жилах кровь; мне очень легко увлечься своими благими намерениями, in petto [1] я наслаждаюсь счастьем способствовать нравственному усовершенствованию рода человеческого; затем я охотно предаюсь тем развлечениям, какие может доставить вид, открывающийся из окна; я стараюсь рассеяться, чтобы лучше отдохнуть и обрести силы для новых размышлений.

Тогда мой взор проникает направо и налево к моим соседям. Я наблюдаю, но без всякой злобы; погода прекрасная, окна открыты настежь, точно в знак доверия; однако я буду скромен.

Здесь — красивая молодая женщина, дни которой посвящены искусствам: начатый этюд на мольберте, палитра с яркими красками, золотая арфа, куча нот, газеты, брошюры, книжный шкаф, сплошь заставленный томиками in octavo, на голубовато-зеленом кресле журнал «Ревю де Пари». Все это видно из моего окна. А

[1] В душе *(итал.)*.

там — молодой человек, истинный образец парижской элегантности. Его лошади нетерпеливо стучат копытами по звонкой мостовой во дворе; его грумы насвистывают английские мотивы: «Rule, Britannia», «Old Robin» [1], или джигу! Колеса его легонького тильбюри вертятся под струями воды, от которой свежее становятся и сверкающий лак и темная окраска; искрится на свету позолоченный набор на сбруе, солнце разбросало светлые блики на холеных гривах трех породистых коней, которые с таким же терпением покоряются заботам конюхов, с каким те расточают эти заботы. Ни днем, ни ночью нет покоя, во дворе вечно моют, скребут, запрягают, отпрягают, поют, бранятся. Все это слышно из моей комнаты.

И здесь и там как будто замечают иногда, что я наблюдаю; но очаровательная соседка почти всегда погружена в свои занятия; ее часто навещают почтенные люди, уважаемые родственники, духовные особы; из дому она выходит редко, и муж ее по большей части находится здесь же. Ну, а любезный сосед все щеголяет в китайском халате; то он у окна, то в домашних туфлях спускается к челяди во двор и самым тщательным образом, как человек, понимающий важность каждой мелочи, рассматривает свои инициалы, увенчанные короной, или слегка белеющие копыта коней, или хлыст, упругость которого он проверяет сам, или малейший изъян в самых незаметных частях своего голубого кабриолета, или какой-нибудь предмет упряжи и еще что-нибудь в своих экипажах; решительно во всех его заботах чувствуется светский человек.

У меня не было никаких оснований дурно думать ни о соседке, ни о соседе, но мое мнение о них все же более благоприятствовало ей, чем ему. Только вчера я открыл, до какой степени я ошибался и что они оба думают обо мне.

Случайно я оказался вместе с лакеем моего соседа в трехколеске, возвращавшейся с Монпарнасского бульвара, куда я ездил за справками к одному ученому, подобно тому как школьник наводит справки в своем Gra-

---

[1] «Правь, Британия» *(английский национальный гимн)*. «Старый Робин» *(шотландская песня)*.

dus ad Parnassum [1], и вот мой на короткое время единственный спутник, которому не хватает только остроумия и непринужденности, чтобы стать похожим на слуг из старинных пьес французского театра, поздоровался со мной, и притом весьма фамильярно,— ведь лишь наглое высокомерие внушает уважение людям, привыкшим прислуживать. Он заговорил со мной, я ответил, завязался разговор, и, не знаю уж, как это у меня вырвалось, но только я сказал ему, что, должно быть, хорошо состоять на службе у одного из моих приятных и праздных соседей.

— Праздных? — воскликнул он.— Да это вы, сударь, праздный человек, раз вы целыми днями даже головой не шевельнете и сидите, то носом уткнувшись в книгу, то подняв глаза к небу. Праздных? Да мой барин — самый занятой человек во всей Франции!

— Вы меня удивляете,— ответил я.— Чем же ваш хозяин занят?

— Первым делом он встает спозаранку, звонит в девять часов, требует газеты и читает их.

— А! Понимаю, понимаю, вы говорите о развлечениях, а я говорю о делах.

— Да ведь барин работает с утра до ночи: работает с сапожником, с парикмахером, с шорником, иной раз утра не хватает, чтобы договориться о том, какой выбрать колер, какой делать хомут, шить ли обувь с прямым носком, с круглым или с острым.

— Однако, между нами будет сказано, не очень-то он себя утомляет, когда, опершись на подушку, целыми часами смотрит в окно, не сходя с места.

— Ошибаетесь, сударь, в это время он занят самым важным делом: он работает в интересах своей любви.

— Как! Эта молодая дама, вечно занятая живописью?..

— Живописью она занимается, как только вы показываетесь у своего окна; а в прочее время книга, которую она держит в руке, не перевертывая ни одной странички, только помогает им сговориться.

---

[1] «Путь на Парнас» *(лат.)* — руководство к сочинению стихов на латинском языке.

— Сговориться!.. Так, значит, здесь интрижка?

— Еще не совсем. Но мой барин думает, что если бы вы хоть три денька не выглядывали из окна, то дело бы сладилось.

— Он так думает? Да ведь она еще так молода, ее воспитание... Правила...

— Позвольте, сударь, мой барин — красавец. Пользуется успехом, держит лошадей, как тут не поддаться; притом на днях он поднял бумажку, которую она долго крутила между пальцами, глядя ему в лицо; на ней дрожащей рукою было написано: «Как невыносимы праздные люди!»

— Ну так что же?

— А то, что *праздные люди* — это вы, ведь вы мешаете им вести глазами переписку.

— Вот как! Но барин ваш частенько выходит из дому?..

— Да, когда надо помочь успехам какой-либо актрисы, устроить загородную поездку, подготовить *собрание*, по которому он работает уполномоченным. Обязательный человек! То для своих приятелей лошадей пробует, то торговые договоры между Штутцем и Штаубом улаживает, то из Лондона грумов, кучеров, ливреи выписывает.

— Для Англии он очень полезный человек.

— А если случаем выберется у него на дню свободная минутка, так надо и с нами позаняться — побранить, пожурить, обозвать лентяями, заставить одно и то же дело переделать раз двадцать... Ах, сударь, дай-то бог, чтобы барин наш стал праздным! До такого счастья нам не дожить.

Наше путешествие подходило к концу. Я отправился к своему издателю; потом вновь принялся *бездельничать*, то есть засел за книгу, которую я уже два года пишу, переписываю и перечеркиваю, ибо ее цель — убедить всех в том, что о каждом надо судить по его делам, а обо всех вместе — по степени пользы, приносимой ими своим ближним.

«Мода», 8 мая 1830 г.

МАДАМ ВСЕОТБОГА

Доктровея-Бальбина Всеотбога — женщина пятидесяти восьми лет, маленькая, кругленькая; лицо у нее цветущее и спокойное, выражение блаженное, вид заискивающий, степенный, болтовня ее носит мистический характер: в ее устах и *сплетня* хранит в себе оттенок апостольский, римско-католический. Это тип — средний между привратницей и настоящей святошей. Мадам Всеотбога дает напрокат стулья в церкви миссионеров. Стоит посмотреть, как она в воскресенье за поздней обедней выполняет свои полужреческие обязанности с чувством собственного достоинства, смягчаемого благосклонностью! Она вездесуща и всеведуща. Юлий Цезарь знал только имена своих солдат; мадам Всеотбога знает ранг и воззрения всех своих прихожан. С точностью до миллиметра ей известно, какую степень уважения следует выказать каждому из них. Вглядитесь, с каким изысканным тактом она пододвигает стул герцогине, сгибаясь перед нею до самой земли, как она кланяется маркизе, а виконтессе только кивает головой, и как гордо проходит она мимо супруги депутата-либерала, который подал голос за коллективное обращение к королю и которого господин кюре, в предупреждение всем верующим, назвал недавно с кафедры зверем апокалиптическим. В наш век, когда все умеют попрошайничать, никто этого не делает столь непринужденно, как она; даже аббат Демазюр, когда просит подаяния для лазаристов; никто не платит за эту неизбежную подать столь любезным поклоном, даже священник церкви Сент-Этьен, когда ему

дают мелкую монету. И не подумайте, что мадам Всеотбога пользуется всеобщим уважением только во время обедни и в пределах церковного портала. Как благовоние ладана, благоухание святости не покидает ее и в гражданской жизни. «От этого дома по всей Европе разливается запах бальзама»,— сказал Брийа-Саварен о каком-то гастрономическом заведении. Можно сказать, что и от мадам Всеотбога разливается запах бальзама по всему Сен-Жерменскому предместью. Подобно светским дамам своего квартала, она устраивает собеседования, на которых присутствуют лучшие из религиозно и монархически настроенных горничных. Прошлой зимой была бы произнесена специально для их кружка проповедь, если бы ее племянник, ученик семинарии св. Сульпиция, задолго готовившийся к этому достопамятному вечеру, при немалой помощи Массильона и блаженного Августина, не запнулся на третьем слове, подобно преподобному отцу Сампсону, когда тот впервые взошел на кафедру. Здесь читают газету «Котидьен», «Жизнь святого Игнатия» и книгу г-жи де Жанлис «Вереск служанок», словом, умерщвляют дух всяческими способами. Здесь немного занимаются богом и много — своим ближним; перебирают всех виднейших особ своего квартала,— счастлив тот, кто выйдет из этого испытания чистым! Но с некоторых пор эти благочестивые собрания прекратились, и от улицы Варенн до улицы Таранн, от церкви миссионеров до заставы Анфер, во всем районе, подлежащем компетенции этого дамского трибунала, ко всеобщему изумлению, уже ничего не слышно о душеспасительной местной хронике. В воскресенье можно было заметить, что мадам Всеотбога утратила то блаженное выражение лица, которое не покидало ее при отправлении ею своих обязанностей, исчезла улыбка, исчезла благосклонная предупредительность, нет медоточивости, вместо того мрачность, плохо выглаженный чепчик и такая озабоченность, что однажды, уверяют, она прошла мимо алтаря, не совершив обязательного приседания. Откуда подобная перемена? Musa, mihi causas memora...[1]

Увы! Нужно ли удивляться ее рассеянности? Только половину ее самой видите вы в церкви миссионеров, а

---

[1] Муза, напомни мне, в чем причины *(лат.)*.

другая сидит на цепочке возле Монпарнасского бульвара и жалобно тявкает. Бедняжка Тоби, ты честь своего рода, ты, вместе с богом, с чижами, кошками и злословием, пользующийся привилегией утешать старых дев! Забавный песик испанской породы! Ты томишься вдали от своей хозяйки. Что я говорю,— от твоей второй матери! Тщетно ты требуешь, чтобы позаботились о твоем обычном туалете, чтобы взяли тебя, как всегда, на колени. Подчиненный суровому режиму, ты вздыхаешь, думая о наваристом супе, о вкусной похлебке, о сдобном сухарике, бедняжка Тоби!.. Но, быть может, озлобленный постигшими тебя неприятностями, ты обвиняешь ту, которая решилась расстаться с тобой? Неблагодарный! Ты не знаешь, чего стоило ей принести эту скорбную жертву, оставив тебя на попечении г-на Андре, коему поручено восстановить твое здоровье, пошатнувшееся от строгостей великого поста. Но ее попечение не покидает тебя и в этом доме испытаний. Прежде чем расстаться с тобой, она предусмотрительно позаботилась о спасении твоего тела, почти что о спасении твоей души. Вот последние ее слова, обращенные к эскулапу, заботам которого она вверила тебя:

— А особенно прошу вас, не давайте ему мяса по пятницам.

«Силуэт», 13 мая 1830 г.

БУЛОНСКИЙ ЛЕС И ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД

Есть люди, которые по любому поводу создают портрет французской молодежи и при этом описывают целое поколение с такой уверенностью и определенностью, словно речь идет об одном человеке. Самые разнообразные характеры, нравы и умы они выражают одной общей формулой, и, послушав их, можно подумать, будто все, кто не достиг возраста, дающего избирательные права, думают, действуют и живут словно по команде. Но формула эта меняется в зависимости от автора. Отсюда определения самые неожиданные и противоречивые: молодежь серьезна, молодежь легкомысленна; она трудолюбива, она предается безделью; она полна учёности, она невежественна; она невоспитанна, она образец прекрасных манер и не знает равных в области хорошего тона и вкуса; она действует, не думая, она думает, не действуя. Одним словом, самых разнообразных определений, какие только можно найти в трудах натуралистов, философов и публицистов, не хватило бы, чтобы обрисовать это многоликое существо, именуемое молодежью.

Если бы живопись могла прийти на помощь слову, я предложил бы последовать примеру добрых людей, которые, желая изобразить Францию, набрасывают на полотне внушительную фигуру женщины с короной на голове, не позабыв при этом о неизбежном голубом платье и белых лилиях. Кто не говорит ничего, говорит все. Сбросив лет десять и переменив пол, эта дама вполне могла бы представить французскую молодежь. Но где найти слова, которые могли бы заменить голубое платье, и ка-

кой писатель найдет ту широту мысли, ту удачную неопределенность выражения, которые сообщают картине художника все достоинства алгебраической формулы? Если алгебра не сжалится над литературой, придется отказаться от мысли сочетать столь противоречивые суждения, и французская молодежь будет вынуждена принять в качестве определения письмо г-жи де Севинье о замужестве Мадмуазель и предстать перед судом потомства, которое, подобно г-же де Гриньян, откажется разгадать эту загадку.

Был некогда человек, который брался узнать по выражению лиц, в каком квартале живут встречающиеся ему на пути прохожие. Этот последователь доктора Галля и Лафатера умел по оттенкам физиономии отличать тяжеловесную, ничем не прикрашенную скуку Ботанического сада от более элегантной и цивилизованной скуки Тюильри, жеманные зевки Гентского бульвара — от добросовестной зевоты Петит-Прованса. По его мнению, в каждом квартале царит своя атмосфера, и ее влияния избежать невозможно; в жестах, в походке, в одежде, в звуках голоса человека, родившегося на улице Муфтар или на площади Мобер, невольно отразится какая-то заурядность и тривиальность, которая сразу выдаст, что в краю латинян он только пилигрим.

— Даже одежда,— говорил этот человек,— теряет свой вид в тех гиблых краях: костюм от Штауба не выдержит и двух прогулок в предместье Сен-Жак.

Я не стал бы ручаться головой за справедливость последнего наблюдения, но если наш наблюдатель жив, он, должно быть, не раз улыбнется, читая авторов, которые притязают охватить в одном-единственном определении все бесконечно многообразные оттенки, подмеченные его изощренным глазом в одном и том же городе: несколько грубую роскошь Биржи, готическую простоту Марэ, элегантное высокомерие предместья Сен-Жермен, пошлость предместья Сен-Жак. Такие авторы подобны художнику, который, смешав все времена и все народы, довел бесстрашие анахронизма до того, что в сцене снятия с креста изобразил швейцарских гвардейцев.

Если уж пишут историю всех царствований, то следовало бы написать и историю всех кварталов: я уверен,

что потомство от этого только выиграет, ибо в наших торжественных анналах, где описаны генералы, сражения, короли и министры со всеми прелестями хронологии, со всем жаром, присущим стилю «Монитера», обычно о ком-то забывают; и этот кто-то не кто иной, как Джон Буль англичан или Жак Боном французов; иными словами, этот кто-то и есть народ. Но какое разнообразие красок потребуется художнику, чтобы вдохнуть жизнь в великое множество раскрывшихся перед ним картин! Квартал д'Антен и предместье Сент-Антуан; цивилизация и варварство; кафе Вери, которое испортили нам англичане, и скромный ресторанчик Фликото, в котором нечего портить. Вери, имевший честь вызывать несварение желудка у самых славных героев Империи, у всех знаменитостей Реставрации; вековая династия Фликото, которая никогда никому не причиняла несварения желудка, но из поколения в поколение хранила привилегию отравлять сынов Гиппократа и Кюжаса; одним словом, изобилие и голод, роскошь и нищета, изящество Алкивиада и цинизм Диогена; прямо противоположные уклады и нравы, разделенные всего лишь несколькими туазами воды: квартал, улица. Вот что следовало бы изображать, если хочешь дать определение современного общества вообще и французской молодежи в частности.

Вы, кто видел Булонский лес в дни былого великолепия, когда по его аллеям скакали блестящие всадники, а роскошные экипажи словно скользили под зелеными сводами; вы, кто наблюдал этих героев моды в элегантных без вычурности туалетах, их благородную, непринужденную, грациозную осанку, напишите нам яркими красками портрет этой молодежи, целиком отдавшей себя роскоши и наслаждению, молодежи, которая бывает повсюду, где тщеславие может блеснуть своей пышностью, повсюду, где праздность может развеять свою скуку. Смелее! Ваша картина верна, нам известны оригиналы этих портретов, и сам Граммон, увидев их, порадовался бы подобным преемникам.

Изящество, безумства, остроумие и долги — вот достояние молодых французов нашего времени! Девятнадцатому веку нечего краснеть перед веками более ранними; не изменились ни милая пустота характера, ни легкость нравов, ни любовь к нарядам и роскоши, в которых об-

виняли наших предшественников. Я узнаю достойных сыновей тех, кто, по выражению великого короля, «носил на себе свои поместья и леса».

По вашему мнению, картина закончена, к ней нечего больше прибавить. Однако погодите. Осмелитесь ли вы направить свои шаги в глубь предместья, лежащего по ту сторону Сены? Не остановит ли нас у входа в Люксембургский сад фигура угрюмого и печального ветерана, который подобен времени, стоящему у гробового входа. Кричат дети, бранятся няньки — скорее мимо; вот несколько старых рантье вывели на прогулку свою подагру, свой ревматизм, свою чахотку, свой паралич — мимо, мимо! Люксембургский сад — это место свиданий, скучной, чудаковатой старости и несносного, крикливого детства, Здесь поминутно натыкаешься то на трость, то на ватный капор; это Элизиум подагриков, отечество кормилиц. Лучше провести всю жизнь в Оксерском дилижансе, чем быть высланным в Люксембургский сад.

Теперь поищите-ка в этой тяжелой, леденящей атмосфере ту французскую молодежь, которую вы только что описали столь яркими красками. Где изящество, где элегантность, где роскошь, пленившая ваш взор? Где благородные, непринужденные манеры? Под мешковатой одеждой, падающей тяжелыми неуклюжими складками, которые выдают неопытную руку Штауба чуланов, узнаете ли вы тот образец элегантности, чьи капризы равны закону в царстве Моды? Послушайте их разговоры: где же блестящий диалог, где искусство искупать пустоту содержания изяществом формы, где изысканная болтовня, задевающая все темы, не исчерпывая ни одной, смешивающая без разбора Оперу и мораль, Россини и алжирскую войну, выборы и немецких певцов. Берегитесь! Вы можете здесь услышать ученое обсуждение вопросов права, разъяснение и истолкование какой-нибудь медицинской системы, панегирик Бруссе или апологию Гиппократа, не говоря уж о новостях текущей политики или забавных анекдотах, касающихся белошвеек, басонщиц, портних, модисток, кого угодно — одним словом, о всеобщей истории всех романов квартала. Берегитесь! Ловеласы предместья Сен-Жак — опасные историки! А что будет, если вы последуете за ними к Прокопу, который некогда был свидетелем язвительных выходок Пирона и мет-

ких ответов Вольтера; если услышите монотонный стук костяшек домино о мраморный столик и почувствуете, как остроумие и веселье гаснут в погоне за двойным очком; вы увидите игроков, которые, нахмурив лбы, следят печальными глазами за костяшкой противника и терпеливо ждут удовольствия.

Какова же теперь, по-вашему, французская молодежь? Так ли уж она оживлена, весела, любезна, необуздана, блестяща, умопомрачительна? Поставьте на столик вместо бутылок оловянные кружки, и вы окажетесь в Германии, в Лейпциге, в Иене, среди студентов, которые делят свои пристрастия между наукой и таверной и с одинаковым жаром обсуждают отрывок из Платона или Пиндара и бросают кружки в голову ночному сторожу.

Однако не вздумайте возненавидеть целый парижский квартал и исключить из своей паствы половину города. Без сомнения, эти молодые люди не так грациозны, не так элегантны, как их соседи по ту сторону реки, а хороший вкус и мода не станут искать своих любимцев в партере Одеона. Но именно из этой среды выходят все великие люди нашего времени. Правосудие, наука, искусства принадлежат им. Дни, а иногда и ночи посвящают они труду, и так, в тиши, создаются публицисты, поэты, ораторы. Следует ли осуждать их за то, что они предпочли содержание форме, работу — праздности, науку — наслаждению? Не надо никого осуждать. Надо только внушить иным людям, что есть две молодежи во Франции: одна живет, другая наслаждается жизнью; одна надеется на будущее, другая растрачивает его. Первая, без сомнения, более разумна, но изящными манерами она не отличается!

«Мода», 12 июня 1830 г.

О ПОМЕЩИЧЬЕЙ ЖИЗНИ

Нынче самый незначительный вопрос приобретает столь серьезный характер, что прямо испугаешься. Отовсюду к нам поступали просьбы высказаться насчет помещичьей жизни, а мы до сих пор медлили сообщить свое окончательное мнение, потому что оно, наверно, окажется малоутешительным. Но мы попытаемся поделиться некоторыми соображениями, уступая тем самым настойчивым просьбам, не считаться с которыми было бы неловко.

Помещичья жизнь во Франции поистине химера, ибо она невозможна.

Писатели, веселостью не уступающие скелетам, уже лет двадцать время от времени подшучивают над помещиками. Господин Э. Жуи, этот Зефир в ботфортах, представил себе такую картину: весь Париж переселился в провинциальную глушь; результатом такого свеженького и восхитительного замысла явился юмор тяжелый, как нависшая грозовая туча. Спутники этого литературного светила времен Империи вовсю использовали скуку рыбной ловли, охоты, безгрешную радость человека, который ведет вас посмотреть на дороги, проходящие по его поместью, на шпалеры своих фруктовых деревьев, на своих мериносов, на свои комнаты и беседует с вами об улучшениях в сельском хозяйстве. Коротко говоря, они столько ходили вокруг да около помещика, что опошлили этот тип. Нужен талант Гольдсмита, чтобы нарисовать его во всем своеобразии.

Подобная литература так истрепала провинциально-

го денди, что у этого очаровательного полишинеля сломались все пружины. Все сброшено с пьедестала: и он сам, и его невежество, его спесь, его модный костюм, который он не умеет носить, его притворное презрение к местному патриотизму, и его стихи, хранящиеся в портфеле.

Господин мэр, крестьяне, с их сокровенными мыслями, супрефект, соседи, местная аристократия, либеральничающие сельские жители — все эти картонные фигуры умерли в литературном отношении.

Но, по совести говоря, где же помещичья жизнь? Что такое помещичья жизнь?.. Пустяки. Теперь во Франции нет никаких помещичьих усадеб, есть только дачи.

Для помещичьей жизни необходима аристократия, влиятельная, сильная, богатая. А когда подумаешь, что в нашей палате пэров не насчитаешь и шести богачей, доходы которых достигали бы миллиона двухсот тысяч, и тем не менее от вас требуют трактата о помещичьей жизни, вам остается жалостливо улыбнуться...

Но есть чему и порадоваться; ведь мы не настолько ослеплены фанатизмом еженедельника «Мода», чтобы не приветствовать широкого распространения помещичьего счастья.

Вот наши две предпосылки.

В погребах английского замка хранится различных вин на сто тысяч экю. Обстановка замка стоит миллион или два. Даже за десять миллионов вам в Англии не купить замка с парком и землей, а если и купите, то ваш капитал будет приносить доходу не больше полупроцента. Конюшни там могут вместить по двести лошадей. Там такая оранжерея, такой сад, что одно жалованье служащим, которые смотрят за цветами, виноградом, дынями, обходится лорду в тысячи гиней. Прислуги у него сто человек. Так как земли в Англии мало, то аристократия желает владеть землей. Герцог Бекленгский может делать восьмимильные прогулки, не выходя за пределы своих владений. Любой пэр считает долгом чести иметь свиту. Охота там королевски пышна. В Лондоне английскому лорду душно, но в своем замке, в своем парке он сосредоточил все богатства побежденного Типо-Саиба, все золото Бомбея, кровь целого народа, счастье двух тысяч нищих, безропотность которых он покупает

ценой тяжелого налога. Галерея у него переполнена картинами. Под туманные небеса своего острова он перенес венецианский фасад. Греческий фриз пересек моря, чтобы украсить его скотный двор. Если бы золото, если бы корнуэльская медь, продаваемая всему миру, могли доставить ему итальянское небо или хотя бы небо Прованса, он завтра почивал бы под голубым сводом. Три четверти населения Ирландии гниет в смрадных берлогах, а балясины в конюшнях лорда сделаны из красного дерева. Если для развлечения его гостей понадобятся Каталани, Перле, Паста, то Паста, Перле и Каталани приедут к нему. Когда он живет на берегу моря, к его услугам собственная яхта. Его рыбные ловли — это весь океан. Вот апельсин, прибывший из его португальских владений, вот лимон из его имения на Ямайке, вот сахар собственного завода. Он такой человек, что, не желая показаться вам вульгарным, готов взять вместо чаши бассейн в своем парке, когда угощает вас пуншем.

Чтобы во Франции помещичья жизнь стала такой, для этого надо отдать всю землю аристократии, пэрам и князьям; тогда все это будет и у нас, а кроме того, у нас — прекрасное небо, больше щедрости, больше изящества, изумительная архитектура, статуи, высеченные нашими скульпторами, фрески, написанные нашими Рафаэлями, которым не хватает только пап, захлебнувшихся в золоте. Кроме того, у нас будут изысканные вина, вольность в нравах, умеряемая иезуитами, прикрытая остроумными выходками. Мы можем оплатить роскошь, достойную «Тысячи и одной ночи», принеся тридцатимиллионное население в жертву пятистам семействам. Три года подлости — и дело было бы сделано.

Предоставим замки той унылой и мрачной английской аристократии, которая проживает остатки своих богатств. Для Франции достаточно одного короля; и для нас и для трона было бы излишеством иметь в каждом департаменте по три монарха.

В те времена, когда архиепископы получали по пятьсот тысяч ливров годового дохода, когда Лувуа приступил к постройке замка Медон, наживая, как он сам говорил, четырнадцатый миллион, когда Морис жил в замке Шамбор, Шуазель строил замок Шантлу, а господин Дюпен жил в замке Шенонсо,— тогда во Франции су-

ществовала помещичья жизнь в самом чистом виде. Господин де Шале безнаказанно убивал крестьян, и Людовик XV, испуганный разнузданностью помещичьих нравов, говорил, подписывая в пятый раз акт о помиловании: «Я помилую и его убийцу». Не следует нам забывать того, что эти олигархические сатурналии привели нас к революции, что результатом крайней роскоши является крайняя нищета.

В настоящий момент у каждого из пятидесяти тысяч семейств имеется дача, небольшой парк, литографические эстампы, право на ношение оружия и одна собака, может быть, две. Если и дальше дело пойдет так, то лет через десять сто тысяч семейств будут наслаждаться не бог весть каким счастьем, которое начинается с того, что выудишь какого-нибудь пескаря после четырех часов сомнений и тревоги, и которое кончится тем, что каждому достанется доля верховной власти хотя бы в пределах одной деревенской коммуны. Если мы тогда потеряем сомнительную славу, ибо не оставим после себя монументов, фресок и импозантной аристократии, зато мы поощрим жанровую живопись и будем с гордостью думать, что *град скорби* во Франции становится все меньше, что настанет день, когда ни одному человеку не придется просить милостыню. Об этом же мечтал и Генрих IV в эпоху феодализма.

Если деревенская жизнь опошляется, если помещики ставят вам ловушки, то палаты назначат кару для тех, кто злостно и умышленно пригласит к себе на дачу какого-нибудь городского франта, светского человека с тем, чтобы:

1) поселить его на чердаке под предлогом, что он еще холост;

2) предоставить ему только старый комод без замка;

3) принудить его бриться перед разбитым зеркалом; спать на колченогой жесткой кровати;

4) чаще трех раз в день разговаривать с ним о соседней деревне или о здешнем крае;

5) поить его местным вином, если оно не пользуется известностью;

6) будить его на заре;

7) за обедом кормить жареными голубями;

8) возить его в шарабане, показывая красивые виды и проч.;

9) препятствовать ему лакомиться фруктами, устроив возле плодовых деревьев пчелиные ульи.

Словом, закон сумеет предусмотреть всю ту мистификацию, к которой прибегает помещик под видом дружбы.

Что же касается жизни переходного типа, встречающейся еще у нас в поместьях, принадлежащих господам с доходом свыше ста тысяч франков, то ее можно сравнить с существованием дюжины путешественников, которые уцелели после кораблекрушения, выбросившего их на одинокий островок. Люди принуждены развлекаться и терпеливо переносить свое счастье. Конечно, бывают исключения; но не найдется, пожалуй, и десяти человек, способных это понять.

«Мода», 26 июня 1830 г.

МИНИСТР

То был человек маленького роста, иначе его бы не назначили министром. Войдя, я не сразу заметил его за ворохом бумаг, лежавших на столе.

— Сколько народу думает об этом человеке,— сказал я сам себе,— а он ни о ком, кроме себя, не думает...

И я представил себе, как суетится целый мир чиновников — в министерстве путей сообщения, в ведомстве изящных искусств, книгопечатания... в деревенских коммунах, префектурах, супрефектурах... повсюду.

«Какой нужен властный и твердый человек, чтобы противостоять этой лавине различных интересов, лавине просителей, чтобы думать об учреждениях Франции, чтобы отвечать в обеих палатах и проч.».

Так думал я.

В эту минуту министр привстал, и какой-то господин, полный и крупный, весь красный, широколицый, одетый в черное, с несколькими орденами на груди, сказал ему:

— Подумайте же о том, что вы идете к анархии... что необходимо отвоевать хоть сколько-нибудь власти, дабы внушить немножко больше уважения к королевским прерогативам! Для черни вы сделали достаточно, «Котидьен» и «Газетт де Франс» — ваши друзья... крупные собственники перепуганы. Они против вас; вы идете к гибели!

Министр покачал головой, как бы говоря: «Это правда, мы допустили много ошибок».

Высокий, сухопарый господин заставил его обернуться, сказав отрывисто и повелительно:

— Да! Вас свергнут народные организации. Если вы их заденете, начнется гражданская война!.. У них есть сторонники во всех департаментах, они вербуют всех пылких и юных честолюбцев... Нужно разрешить эти организации и постараться, чтобы все в них вступили! Дайте революции развиться вполне, в широком масштабе удовлетворите потребности эпохи, создайте правительство, не требующее больших расходов,— иначе вы погибнете.

Министр смущенно посмотрел на этого высокого молодца в изношенном фраке, по виду просителя с пустым желудком. То был июльский победитель.

— Какого черта вы слушаете все это, милый мой? Чепуха... Дело решено. Политика теперь опирается на самые строгие, самые логические выводы! — звонким голосом воскликнул невысокий господин, зачесывая на лоб последние остатки волос.— Нужно укрепляться,— продолжал он.— Бейте по мятежникам, по рабочим. Национальная гвардия вам поможет, также и палата. Мы добились свободы. Все талантливые люди получили подобающие им места... Теперь необходимы порядок и охранительные меры. Если вы не окажете поддержки существующему строю, то не будет устойчивости. Вы погибнете, если будете уступать партии движения.

Министр пристально взглянул на говорившего «Глобиста» и ответил:

— Это весьма дельно.

— Что вас останавливает? — воскликнул какой-то господин, по виду канонир национальной гвардии.— Нужно избавиться от всех недовольных! Оказывая помощь Бельгии, вы получите места и раздадите их. Предприняв войну, вы добьетесь мира внутри страны и пойдете вперед... Иначе вы погибнете!

— Ох!..— сказал министр.

Все четверо, один за другим, схватили бедного человека и встряхнули его так основательно, что первый вырвал у него из рук том его лекций, второй — портфель, третий оторвал рукав его фрака, а последний лишил его популярности, ибо отнял у него письмо

к одному депутату, который по поводу петиции касательно пиявок собирался говорить о положении Франции.

— Управляйте сами! — закричал министр, у которого волосы совсем растрепались во время потасовки.

— Ваше превосходительство, кушать подано,— сказал лакей.

— Господа, прошу к столу...

— Вы произнесли великое слово! — воскликнул я. Тогда он заметил меня.

— Вы, вероятно, желаете получить место супрефекта?

— Нет, я желаю вас спасти, как и эти четверо.

Проспект «Карикатуры», октябрь 1830 г.

НАБРОСОК

Он поджидал его на углу улицы Дофина и улицы Контрэскарп. Там, искусно рассчитав удар, он стукнул его молотком по лбу, между глаз, и убил его, в девять часов вечера, на людном месте, не смущаясь присутствием прохожих... Сколько наследств получают таким путем — при помощи железа или яда!..

Едва нанеся удар, он угрем скользнул в соседние улицы, а потом грязным, вонючим Коммерческим переулком, который тогда не освещался, вышел на площадь Одеона и жадно вдохнул свежий вечерний воздух; недрогнувшей рукой он показал контрамарку контролеру и уселся в партере.

— Какие длинные антракты!..— сказал он соседу.

— О да! И какие скучные!..— ответил тот.

— А почему вы не вышли в фойе? — спросил он

Когда спектакль окончился, он вернулся домой, уложил вещи и отправился в путешествие, о котором задолго перед тем говорил друзьям.

На следующий день это происшествие вызвало некоторые толки. Все газеты писали об убийстве г-на Жозефа Котэна. Убийство было столь обдуманным, столь удивительно выполненным, что во всех кружках, салонах и даже в лавках о нем говорили не меньше, чем впоследствии об убийстве Кастэна.

Правосудие, полиция, семья г-на Котэна и светские люди были настолько убеждены в виновности Станислава Б., что и приговор присяжных не увеличил бы их уверенности... Он был игрок, франт и волокита. Его пове-

ренный, запасшись полномочиями от его имени, пролил слезу на похоронах и получил наследство. Нередко в ссылке на алиби есть что-то гнусное.

Прошло девятнадцать лет.

Представьте себе парижский салон, где собрались дамы, элегантные и ветреные, мужчины, серьезные и занятые политикой, которые, однако, умеют пошутить и скаламбурить, молодые люди, полные пыла, страсти и честолюбия, прекрасно понимающие, какое уважение внушает собственная коляска, как полезно быть изящно одетым... Остроты сменяются глубокомысленными суждениями.

— Кто этот господин... вот там... лицо оливкового оттенка... изящно одет, еще молод?.. Он сказал что-то очень остроумное о раненых на июльских баррикадах?

— Как! Вы его не знаете?.. Да это Станислав Б.

— Ах, тот самый, с которым случилось это происшествие, в каком, бишь, году? Сколько времени прошло!

— Да на улице Дофина в тысяча восемьсот одиннадцатом году.

— А это действительно было так? Говорили, но — черт возьми! — с виду он порядочный человек.

— Господин Станислав?..— подхватила хозяйка дома.— Да, он вполне порядочный человек. Он очарователен, остроумен, любезен, и какой у него восхитительный экипаж! Быть может, в нем слишком много страстности; но он очень влиятелен. И то сказать, шестьдесят тысяч годового дохода.

— А где он живет?

— Разве не приходится видеть каждый день,— сказал я, услыхав этот странный вопрос,— каким почетом окружены злостные банкроты, подделыватели и воры? Почему же закрывать доступ в свет убийце?

Проспект «Карикатуры», октябрь 1830 г.

О ЛИТЕРАТУРНЫХ САЛОНАХ И ХВАЛЕБНЫХ СЛОВАХ

Нелегкое испытание для гризетки—надеть свою первую кашемировую шаль; проситель, впервые приглашенный к столу министра, придет в величайшее замешательство, если он не гасконец и не любитель поесть; одно из жесточайших страданий, какое может вынести человек,— это быть представленным семейству своей суженой. Исчисление неловкостей, возможных в этих трех случаях жизни, затруднило бы даже искусного Шарля Дюпена; все же можно надеяться избежать их, хотя бы потому, что ни одна светская женщина не была гризеткой и никто не обязан, несмотря на примеры, быть просителем или жениться. Но несчастье, которого мужчина из хорошего общества или женщина, следующая моде, избежать не могут,— это посещение салонного чтения. Берегитесь, тут вы вступаете на почву, где спотыкаются и самые ловкие. Вы, элегантнейший танцор Парижа, искуснейший всадник Булонского леса, скромнейший сотрапезник, всеми любимый собеседник, берегитесь! И вы, красавица, с небрежной грацией откинувшаяся в глубь коляски, вы, чей салон — образец хороших приемов, вы, имеющая терпение выслушивать глупца, внимательная к таланту, насмешкой отвечающая на любовное признание, холодная с человеком, волнующим вас, достаточно умная, чтобы достойно держать себя в любом обществе, берегитесь, если вас приглашают на какой-нибудь литературный вечер! Бойтесь, если речь идет о прозе; если же это стихи, трепещите!

В сущности, каждый человек, знающий, что у такой-то женщины не нужно справляться о ее муже, знающий, что есть банкиры, при которых не упоминают о банкротстве; человек, который, рассказывая анекдот о ныне здравствующей красавице, постарается не сказать: «Лет двадцать назад»; тот, кто догадается поговорить с уродливой женщиной о неизъяснимом очаровании ее личности; игрок, умеющий ссужать деньги и забывать их в кармане должника; фат, который клянется, что неспособен признаться, чей он любовник; робкий, молчаливый провинциал; злоречивый рассказчик, повествующий об ужасных поступках своих друзей лишь пяти лицам одновременно,— все эти люди отлично могут жить в обычном течении светской жизни и даже создать себе репутацию порядочности и умения достойно вести себя.

Но как ничтожна и недостаточна оказывается эта малая наука, когда вы приближаетесь к литературному салону, поэтическому миру, золотому кругу, где часы летят по воле Муз! Да простит мне бог, но я думаю, что придворный монарха там показался бы мужланом. Жить жизнью литераторов, посещающих наши сборища,— это непостижимое искусство, работа каторжника, исполняемая с улыбкой на губах, муки и пытки с пением хвалы богу.

Сколько наблюдений нужно сделать, сколько оттенков подметить, обойти подводных камней, и не для того, чтобы не показаться смешным, а чтобы оградить себя от проклятия гения! Ибо необходимо проникнуться мыслью, что здесь речь идет не о насмешке, наказывающей неловкость, не о всеобщем молчании, которое подчеркивает допущенное нарушение приличий, нет, вся ваша жизнь зависит от одного жеста, от одного слова, и смертельная ненависть будет карой за оплошность или холодность.

Прежде всего вы входите в салон, где шумно беседуют мужчины с высокими лбами и женщины, которые кажутся забытыми на земле ангелами. Не обижайтесь, если ваше приветствие не будет замечено. Почитайте себя счастливым, если не натворили уже трех глупостей: первую — представившись хозяйке дома, следящей за порядком чтения; вторую — поздоровавшись со знако-

мой дамой, которая устремила на вас неподвижный взор, а вы при этом не сообразили, что она сейчас погружена в размышления, мечтает или что-то обдумывает; и третью — ответив «А? Что?» рассеянному поэту, который повторял свои стихи, шепча их вам на ухо.

Садитесь, кружок образовался. Теперь из всех поз поскорее изберите наиболее для вас подходящую, ибо о том, чтобы сесть просто, без затей, нечего и думать. Вот господин оперся локтями на колени и закрыл лицо руками, боясь, как бы случайный взгляд или какой-нибудь заметный предмет не нарушил глубокого внимания к обещанному чтению; другой опустился в уютное кресло, полузакрыв глаза, готовый отдаться убаюкивающей сладостной гармонии волшебных стихов; красавица с высоким лбом и нетерпеливым взором устремила орлиный взгляд на поэтические уста, так хорошо говорящие о любви; молодой адепт, склонив голову, опустив ресницы и слегка согнувшись, изящно модулированными покачиваниями сопровождает ритм и развитие поэмы; совсем еще юный поклонник прячется позади всех, чтобы иметь право, поднявшись на носках, опереться о плечо соседа и показать только кончик своего носа, на котором написан весь пыл его внимания; друг поместился подле чтеца и жестом призывает к молчанию; соперник прислонился спиной к камину и щеголяет своим поражением; этот забился в угол, чтобы вообразить себе пение отдаленного голоса; тот, более смелый или, может быть, более возвышенный, оставшись без стула, сам того не заметив, оказался в середине круга и в конце концов сел на пол, как лакедемонянин; все эти люди знают свой мир. Но вы, еще не достигший зрелости в поэзии, хотя и считаете себя человеком опытным, вы не станете покушаться на эти превосходные позиции, а если увидите неопределенную группу безвестных людей или пустой стул, скрытый широкополой шляпой какого-нибудь синего чулка, спрячьте там свою неопытность.

Слушайте, слушайте, чтение начинается! Молчание пустыни, неподвижность ее пирамид встречают первый стих элегии, оды, размышления или дифирамба.

«Хотел бы знать я, что есть женщина...»

— Простите, простите,— прерывает полная молодая особа, надушенным платком заглушающая жестокий кашель, коему суждено пресечь ее дни,— название, сударь, название?

— Да, да, название? — повторяет общество.

И молчание воцаряется снова после легкого ропота, как ночь после сумерек.

«И возвращаясь летним вечером...

В девять часов... в девять часов с половиной... в день Воскресенья».

— Удачная манера письма! Тут есть изящество! Новизна! Я понял. Я слушаю. Да, да.

Начинается элегия и вместе с ней сражение, ибо идет бой между декламирующим поэтом и восхваляющим слушателем. Стоит одному произнести двустишие, как второй бросает: «*Прекрасно! О! О!..*» А восхищенная улыбка близкого друга, который знает наизусть читаемую поэму и предвидит волнующий стих; за пять минут кроткая радость начинает проступать на его лице, она расцветает с каждым двустишием, растет, сияет и с долгожданным стихом разражается восклицаниями: «Ах! Браво! Восхитительно! Какое очарование! Это поэтическая удача! Шаг вперед! Открытие! Тш!.. Не мешайте. Он сам и его потрясающие стихи виноваты в том, что его перебивают! Да замолчите же!..»

Первыми прерывают чтение обычно наименее искусные хвалители. Пусть продолжится чтение, пусть восстановится глубокое молчание, в котором звучит слабый и нежный голос поэта. Вот слушатель, его полуоткрытый рот и вытянутая шея говорят о крайнем восхищении; у другого вырываются вполголоса неясные слова радости и удовлетворения; взор этой женщины так блуждает, что можно усомниться, в своем ли она уме; спинка стула, занятого другом, трещит от судорог охватившего его восторга; самый бесстрашный испускает по временам идиотский смех человека, пораженного и испуганного высшими тайнами, к которым он приобщился; этот вытаскивает платок и словно стыдится невольных слез; более стоический борется с волнением и пытается закалить свою душу, сопротивляясь власти поэта; другой не принадлежит больше земле; иные задыхаются; но вот

наконец какой-нибудь стих вызывает извержение вулкана восторгов. Внезапно пылающая лава выходит из берегов, и душа слушателя, крепившаяся так долго, изливается в криках, кашле, рукоплесканиях, топоте, восторженных «Ах!» и «О!» всех тонов; и так до тех пор, пока близкий друг не успокаивает публику жестом, обещающим еще лучшее, и поэт, оправясь от смущения, вызванного таким триумфом, отважно возобновляет течение начатых строк.

Жалкий слушатель, впервые допущенный к этой социальной мистерии, как будете вести себя вы? Рукоплескать? Кричать «браво»? Дерзкий критик! Вы пропали, если нанесете такое оскорбление. У вас есть только один способ выразить свою хвалу: изобразить то задыхающееся молчание, когда останавливаются слова в горле, ибо хочется сказать слишком много; если же вы представлены завсегдатаем салона, у вас есть еще одна возможность — подойти к нему со слезами признательности на глазах и, горячо пожав ему руку, проговорить:

— Спасибо, друг мой, спасибо!..

Это тонко, это заметно и не лишено изящества.

Отметим, однако, что мы дошли только до мимики восхищения, а разговорные формулы готовятся мастерами, как заключительная вспышка фейерверка. Прежде чем перейти к этому чудовищному взрыву страстных чувств, я еще должен поговорить с вами о перерывах драматических.

Я знавал в свете одного молодого избранника, который, будучи одержим владевшим им семейным гением, вцепился в рукав одной из своих прекрасных соседок и в припадке энтузиазма вырвал из него целый лоскут; другой раз, повиснув на занавеси, он так долго топал ногами от восхищения, что под конец, ослабев от переживаний, увлек за собой и железный прут, и золоченый карниз, и красный шелк, и белый муслин, потащив заодно какую-то внимательную красавицу и любителя гротесков, причем не то набил им шишки на лбу и выколол глаза, не то выбил три зуба.

Случается иногда — в один из тех зловещих моментов, когда лучшие умы оказываются ниже своего назначения,— что слишком молчаливое внимание кружка начи-

нает походить на скуку, но нет поэта с мощной грудью, с сердцем, исполненным меда или желчи, у которого не было бы помощника, готового воодушевить собрание. Если нужно, он бросается из оконной ниши через стулья, через кресла и, остановившись посреди кружка, топает ногами, беснуется, произносит бессвязные слова, пока, овладев своим волнением, не поспешит укрыться в нише, где восторг его еще бурлит некоторое время, как затухающий пожар.

Однако тем временем чтение продолжается, и начинают возникать прерывающие его слова. К какому жанру, к какой эпохе относится стихотворение, которое вас опьянило? Быть может, девушки Гренады, серенады и променады поведали вам о тайниках Альгамбры, об усладе апельсиновых садов?

— О! Здесь нечто мавританское! — говорит тот.

— О! Это Африка! — восклицает этот.

— И вместе с тем Испания! — прибавляет другой.

— В этом стихе чувствуются минареты!

— Это подлинная Гренада!

— Это подлинный Восток!

Даю святое, честное слово, при мне об Африке и Испании было сказано: «Это подлинный Восток!»

Если же случится, что суровое средневековье, его ступени и пени, его жилища и кладбища, его трубадуры и амбразуры наполнят ваш слух рыцарскими рассказами: стрельчатая арка, архитектурная розетка, пилястр, камень, превращенный в кружево,— вот какими восторженными эпитетами разразятся колористы поэзии.

— Эти стихи изящны, как колонна Парфенона.

— Эта элегия подобна статуе из паросского мрамора, найденной на берегу источника.

— Это теория, приносящая себя в жертву.

— Это амфора, собравшая мед Гиметской горы.

Такие слова — для греческой поэзии; она несколько вышла из моды, но все же обладает довольно обширным хвалебным словарем.

Но пока мы исступленно слушаем, часы бегут, и вот-вот зазвучат последние строфы; тут местный колорит исчезает, и возбуждение доходит до такой степени душевного расстройства, что отдельных замысловатых слове-

чек становится недостаточно, нужно найти нечто завершающее всеобщую хвалу в крике или в образе.

Поэт умолк... Общество поднимается... Что это? Где элегантные, сдержанные манеры парижских салонов? Куда девалась вежливость мужчин, выдержка женщин? Все внезапно смешалось; слушатели бросаются к чтецу, и протяжный крик восторга, слитый с рукоплесканиями и бешеным топотом, заполняет пораженный слух; а затем в общем бурном ропоте вспыхивают, как молнии во время грозы: «Восхитительно! Чудесно! Грандиозно! Непостижимо!» В один из вечеров я ловко подготовил: «СНОГСШИБАТЕЛЬНО!» Словечко было принято, но я свергнул его другим: «ОГЛУШИТЕЛЬНО!» Оно было лучше пущено и больше понравилось.

Что же до вас, несчастные, к кому я обращаюсь, имейте в виду, что «ЧУДЕСНО» и «ГРАНДИОЗНО» — это наименьшее, чем вы обязаны элегии из пятнадцати стихов или оде из трех строф. Если же речь идет о драме: «Это возрожденный век! Это история в действии! Это исполин, изображенный во весь рост! Это встает прошлое! Это открывается будущее! Это мир! Это вселенная! Это бог!»

А теперь вы, кого мы поучаем поведению воспитанного человека, можете считать себя слегка понаторевшим в поэтической науке. Мы рассказали вам, как нужно представиться и вести себя в литературном салоне; но не надейтесь на что-нибудь иное, чем на роль заурядного слушателя, который в лучшем случае никому не будет досаждать. Будьте осмотрительны, то есть, если вы не обладаете талантом видеть, понимать, судить и действовать в течение пяти минут, придерживайтесь указанных нами слов.

Есть еще один способ, принадлежащий лишь высшим умам: неистовое восхваление под видом критики; для этого нужны такт и тонкость, которые даются только опытом; дерзость и сила исполнения, которыми природа наделяет лишь своих любимчиков.

Главное — это последнее предупреждение, без которого все остальные бесполезны,— ради вас самих, ради вашей семьи, ради вашего и ее будущего никогда не входите во время чтения. На коленях мы даем вам этот совет. Несчастный молодой человек, несчастная женщина,

вы прервали чтение! Молодой человек, никогда не просите руки прекрасной девушки; тридцать восемь анонимных писем разоблачат безумства дней вашей юности, ваши долги и первые любовные увлечения. Составьте политическое завещание, если хотите стать начальником канцелярии, депутатом или префектом. А вы, злополучная женщина, не смотрите на этого красивого воина, ни на изящного чиновника, ни на любезного судью: все они ваши любовники, если верить тысяче поэтических уст.

В общем, мы можем предложить лишь три вещи неудачнику, прервавшему чтение:

Молитву, могилу и слова Requiescat in pace [1].

«Мода», 20 ноября 1830 г.

---

[1] Да почиет в мире (*лат.*).

РОМАНТИЧЕСКИЕ АКАФИСТЫ

Господин С., пользующийся сейчас в Париже славою богача-оригинала, но не знающий, в какой области проявить свою оригинальность, объявил себя меценатом. Каждый вторник все писатели, признанные в Париже талантами, приглашаются к обеду, в котором его повар старается превзойти самого себя, и вот с шести часов вечера до полуночи адепты, неофиты, гении и новообращенные выделяют одновременно и желчь и остроумие.

Хотя хозяин дома приветливо встречает появляющихся на литературном горизонте поэтов, романистов и драматургов, все же немногим авторам открывается доступ к сокровенным мыслям мецената.

Господину С. лет сорок, он мал ростом, волосы у него черные, брови густые, кожа смуглая, глаза сидят в глубоких впадинах и обведены желтоватыми кругами, у висков — гусиные лапки. Он неразговорчив, но его замечания свидетельствуют о глубокой осведомленности в литературе. Он угадывает основную идею шедевра, обнаруживая талант заправского критика. Он требователен. Он чувствует поэзию и преклоняется перед нею; он хвалится своим умением распознавать красоты произведений, отвергнутых публикой; поэтому неуспех какого-нибудь писателя является лучшим способом заслужить его одобрение. Но тонкое чутье господина С. постоянно становится для него, по признанию близких ему людей, источником большого несчастья: та поэзия, о которой он мечтает, настоящая, великая, мощная, существует только в его воображении. Поговорите с ним об «Исповеди опио-

фага», об «Испанских сказках», о «Мельмоте», «Смарре», «Гяуре», «Сновидении» Жан Поля, о «Хороводе на шабаше» и т. п. О, тогда он возбуждается, воодушевляется, для передачи своих мыслей он находит такие меткие выражения, что ради них одних можно, говорят, признать его главою того могучего поколения, в руках которого слава XIX века!

Один мой приятель поручился за меня собственной головой, и поэтому я проник в святилище; пообедав там несколько раз, прочитав там кое-какие отрывки, по моему расчету, достаточно эффектные, я добился бесценного счастья понравиться господину С. и был причислен к разряду людей, которым он открывает свою душу. Его дружбе никак нельзя отказать в приятности, ибо наш щедрый амфитрион милостиво оказывает помощь литераторам, произведения коих заслужили его похвалы, и никогда не требует обратно денег, данных им взаймы.

Я достиг такой высокой степени его благоволения, что господин С. не стал скрывать от меня своих мнений. Когда я прочел ему новую оду Виктора Гюго, он пожал плечами и заметил:

— Это слишком прозрачно, слишком объяснено, не о чем и догадываться!..

Я ему продекламировал одну из гармоний Ламартина.

— Красивые аккорды!.. Однострунная лира, не больше того... Этот поэт все время пережевывает будущее!.. Но порою у него прекрасны облака!..

Все эти суждения свидетельствовали об уме и столь колком презрении, что я начинал считать его самого обладателем великой тайны поэзии.

— А Шатобриан? — спросил я у него однажды вечером, желая узнать, есть ли для него что-либо священное.

Он поморщился и ответил мне:

— Ни одной новой ситуации!.. Только стиль!.. Резьба по дереву!..

— А Кузен?

— О! Прекрасно! Возвышенно! Изумительно! Целых десять апокалипсисов в нем одном.

В тот вечер, когда я прочел ему свою прославившуюся фантастическую сказку «Шагреневая кожа», он предложил мне за нее тысячу экю при том условии, что он по-

лучает право издать ее в двадцати экземплярах. Я согласился. Он поблагодарил меня за эту готовность, как за какую-то особую милость с моей стороны, и, завершая мое посвящение, предложил мне присутствовать на чтении, которое он сам собирался устроить около полуночи, когда в салоне останутся только близкие друзья. Я ответил согласием.

Молодой писатель, которому я был обязан доступом в этот салон, подошел ко мне и таинственно произнес:

— Будьте осторожны и подражайте нам.

В этом совете я не нуждался. Я уже догадывался, что господин С. одержим какой-то манией, к которой мои приятели относятся почтительно, то ли из сострадания, то ли ради выгоды. Мы уселись на стульях, на диванах в позе морских львов, вдыхающих свежий воздух на берегу, и развесили уши, посматривая на первоклассного поэта, который, встав возле камина, откашливался и уже развертывал лист бумаги... Он медленно и величественно прочел следующее произведение, в котором типограф пытался особыми знаками отметить те паузы, вздохи и выразительные взгляды, которыми господин С. разделил, раздробил, разбил на куски все фразы своего творения:

«Неявственные голоса... слабые, низкого тона, чистые, богатые оттенками, мрачные; — смутная гармония — подобная колокольному звону, разлившемуся по полям, весенним утром, в воскресенье, сквозь юную листву, под голубым небом;— потом — фигуры в белом, прекрасные волосы, цветы — простодушный смех,— игры без мысли, без устали; — замки, воздвигаемые из глины на берегах ручья,— белые, зеленые, желтые и красные камушки, собранные в воде: — вода! — трепещет на босых ногах: — без видимой причины слезами омочены блистающие глаза.

Смерть встает, похрустывая белыми костями, ее глазницы пусты, ее зубы оскалены, и свет проходит меж ее черных ребер... Она похищает мать, бабушку, кормилицу,— доброго фермера. Черные одежды, вот и все...— Маргаритки расцветают на могилах.

— О боже!.. Как красивы цветы!..—Она меня любит, чуть-чуть, сильно, страстно!

Вот мысли человеческие.— Сирота...— книги, на-

ука! — Познать: прошлое, настоящее, закон, религию, благо, зло.— Человек обладает тридцатью двумя позвонками.— Лилия принадлежит к семейству лилейных.— Был потоп.— Существует ли ад?..— Женщина появляется, прекрасная, как желание,— юная, как цветок, едва распустившийся.— Маленькая ножка.— Великая поднимается буря в сердце.— Там старик.— Убейте его.— Он мертв.— Его труп служит изголовьем для любовников.— Меж ними жизнь, как раскаленное железо.— Они познавали друг друга ради преступления, они не познают уже друг друга ради блага... Порок соединяет, но и разлучает.— Встает великий бледный призрак: — Неверие!

— Боже! *Это я*...

И призрак садится на пыльные томы, на груду золота, не способную насытить его.— Концерт продолжается.— Он оглушает.— Время тает, как лед на солнце.

Однажды вновь появляется Смерть, пылающая, с мечом в руке.— Произошла дуэль! — В ушах звучит голос Смерти, как стук, пробуждающий среди ночи.— Смерть изъясняет, что такое деревня, и комментирует восход солнца, она высказывается за брак.— Приходит коммерция в сопровождении обманутых надежд и действительных огорчений.— Появляется честолюбие, как разносчик, выставивший напоказ свои ленты, наряды, кружева, косынки.— Его тюк к услугам всех: — однако ему необходимы деньги.— Тогда Анри усаживается на рашпер и живет на пылающих углях.— То повернется на левый бок, то на правый. Это уже не концерт!..— Это схватка. бой, сражение; — пушечная пальба оглушает.

— Идем!.. Нужно погибнуть!

— Зачем?..

— Марш! — Вперед!

Боль в ноге.— Болезнь охватывает тело с ног до головы.— Она клещами держит труп, ожидая, когда Смерть его унесет.— Арлекин забавляет вас погремушками: еще не достроенные замки,— высокие замки из каменных плит... Ремонт ферм...— биржевые рапорты... оперная певичка...— Классические фарсы! Движение, шум. Вдруг среди тьмы загорается крохотный огонек... он постепенно растет.

— Анри, Анри! — кричит снизу чей-то голос.

То сообщница, ей скучно быть в одиночестве на свидании. Все, что было темным, становится светлым, и все, что было светлым, становится темным.— Приходит старик священник, произносит три слова... Будущее сверкает и поднимает на дыбы великолепного коня, конь навостряет уши!.. Старуха, черная, холодная, пытается обнять вас; но она кусает вас.— Все сказано...

— Куда я иду?.. Где я?.. В свете или во тьме?.. Прощайте, дети мои!.. Живите в согласии!.. О вас я позабочусь.

— Увы!.. Назавтра они заводят споры над гробом и разыгрывают в кости лучшее ваше кресло, ибо каждый наследник хочет заграбастать все...

— Вот что выпадает на долю горсти праха, пришедшего из молчания и уходящего в него!»

Когда окончилось чтение, все глубоко вздохнули. Потом каждый из нас, пробуждаясь от оцепенения, в которое как будто был погружен, произносит свое похвальное слово с теми интонациями, с теми жестами, с тем выражением лица, которые ему присущи. То были восклицания целого хора христиан, мгновенно охваченных экстазом в церкви.

— Настоящая библия!..

— Холст, развертывающийся перед нами!..

— Пирамида, покрытая иероглифами!..

— Мрачно и великолепно, как зимняя ночь!..

— Поэзия, к сожалению, понятная лишь десяти человекам из всего народа!..

— Монумент! Вечная статуя!..

— Энциклопедично!..

— Целый мир!..

— Эпопея!

— Башня из слоновой кости!..

— Узорчатый, сверкающий фонарь!

— Весь Платон на одной красочной странице!..

— Гомер, Данте, Мильтон и Ариосто, переданные средневековой виньеткой.

— Апокалиптично!..

— О! Это святой Иоанн на Патмосе!

— На меня это действует как доза опиума, открывающая всю вселенную и повергающая в мечтания!..

— Концентрирующее зеркало, в котором отражается вселенная!..

— Все человечество в миниатюре!

— Поэма!

— Биография, типичная для каждого из нас!..

— Флорентийская эмаль!

— Витраж кафедрального собора!..

— Вот это книга!..

— Какие там *находки!* Все сплошь находки!..

Стало трудно различать отдельные голоса,— я слышал как бы хор Оперы, и в этом пении сквозь общий гул прорывались отдельные, более громкие звуки:

— Психологический,— политехнический,— патологический,— вселенский,— гический,— лический, — тический,— божественный, — оригинальный, — оглушающий,— оживляющий! — ающий, яющий, поэтичный,— библейский, Байрон! А что такое Байрон?.. Вальтер Скотт!.. скот... оттовский... овский,— Цшокке!..

Патрон выразил желанис говорить, все умолкли, и тогда он скромно заявил:

— Нет, это хорошо, только хорошо!.. А вы что скажете?—воскликнул он, заметив, что я еще ничего не сказал, перепуганный тем, как быстро вспрыгнули на канат все мои приятели.

— Это очаг,— ответил я.— Очаг поэзии философии, фантасмагории, филантропии, амфиболии,— добавил я и прикусил язык.

Но, по счастью, он повернулся ко мне спиной.

Хозяин кивнул, и нас стали обносить пуншем.

«Карикатура», 9 декабря 1830 г.

ГРИЗЕТКА

Ее любовь продлилась
целую неделю...

Гризетка—слишком важный элемент парижского общества, а также бытия юных горожан, и потому хотя бы некоторые черты ее пикантного образа заслуживают изучения. Кстати сказать, название «гризетка» мы позволяем себе применять без различия — к портнихам, модисткам, цветочницам или белошвейкам — словом, ко всем миловидным существам без шляпки или в шляпке, в чепчике, в переднике с кармашками, работающим в мастерских, хотя девушки, связанные с промышленностью, придают огромное значение тому, чтобы различали их специальность, что мало беспокоит людей непосвященных.

Я читал, не помню где, что в счастливой Испании все внебрачные дети считались дворянами по праву рождения, ибо они вполне могли быть потомками титулованных особ, и так как добросовестно разобраться в этом было невозможно, то им всем присваивали дворянское звание. А так как сироты по большей части шли в услужение, то нередко можно было встретить лакея-дворянина, прислуживающего простому разночинцу. Это воспоминание приходит мне на ум, когда я думаю о гризетках вообще, которые, имея своеобразный облик, составляют особую категорию, отличающуюся от всех прочих сословий. Восходя к первоисточнику и отыскивая причину такого явления, я полагаю, что ее можно бы найти в их своеобразном, но весьма вероятном происхождении; если бы они родились на Пиренейском полуострове, то все были бы признаны дворянками. А потому, за изъятием

особых случаев, число которых я предоставляю читателю увеличивать как угодно, я широко обобщу свое предположение и признаю, что гризетка представляется мне *результатом* тесной, но кратковременной близости между двумя почти что крайностями общественной лестницы: одна из этих крайностей — мужского пола и знатна, другая — женского пола и всего лишь привлекательна; по положению они отделены одна от другой, но на одно мгновение молодой жизни они соединены общей потребностью... в наслаждении.

Сколь ни странным покажется на первый взгляд это наблюдение по причине его новизны, оно найдет своих сторонников, если разобраться. Чтобы оценить его, достаточно приглядеться к тому, как живут эти женщины. В каждой мастерской, модной, цветочной или швейной, их найдется с дюжину или десятка полтора. Из этого числа восемь или десять живут одиночками, без родных, без семьи, весело деля часы между работой и наслаждениями, бедностью и интрижками. Если на долгом пути, преграждаемом тысячью препятствий, небо пошлет им дочерей, то и дочерей они воспитывают дома, как их самих воспитывали — в той же профессии, в тех же правилах. И дочери, едва им позволит возраст, следуют обычно тому припеву, который они выучили, делая стежки иглой:

И так же шила,
И так же шила матушка моя!

Так непрестанно обновляется в смене поколений это обособленное сословие, какой-то социальный маседуан, к которому принадлежат привлекательные, с виду плутоватые существа, в коротенькой юбке, со вздернутым носиком и стройной ножкой, именуемые гризетками.

Оригинально в гризетке то, что у нее нет характерных черт, присущих именно ей. Ее манеры — это не что иное, как пестрая смесь привычек, отличающих другие слои общества. В те короткие мгновения, когда гризетка полна чувства собственного достоинства, она в совершенстве подражает светской даме.

Пример:

— Сударь, я с вами не знакома!

Она вкрадчива и льстива, как буржуазка.

Пример:

— Он так мил, так любезен.

В приливе возвышенных чувств она поднимается к самым вершинам этого жанра.

Пример:

— Боже! Попробовал бы мужчина меня бить!..

И, наконец, когда она позволяет себе фамильярности, то напоминает породу людей, стоящих, однако, ниже ее.

Пример:

— Бывают же такие... олухи!

Но вот что ей действительно присуще, вот что является ее отличительным признаком — полная ее независимость в проявлении чувства; конечно, это не совсем похоже на добродетель, но по крайней мере до некоторой степени оправдывает ущерб, который она нередко наносит добродетели. Только наслаждение, а не какие-либо корыстные помыслы, руководит ее капризами. Итак, искренняя страсть, обнаруживаемая чистосердечно, внимательность, проявляемая время от времени подношением бриошей, билета в театр или пары перчаток; некоторая доза терпения, позволяющая вам порою предложить свою руку для совместной прогулки, или свою голову для примерки чепчиков, или свои шелковые чулки, чтобы потанцевать на балу у Ренелага,— вот чем можно вскружить голову самой неприступной из этих девушек и заслужить у нее ласковые прозвища: «Адонис! котеночек! любовь моя! цыпочка!» — и иные премилые эпитеты, почерпнутые из курса мифологии, применительно к ведению любовных дел в духе двойной бухгалтерии.

Отрицать полезность гризетки все равно, что не верить в движение. Какими, право, словами можно в достаточной степени восхвалить ее способность ко всякому делу, благодаря которой мигом пришивается пуговица на панталонах, и завязывается узел галстука, и разглаживается выцветшая лента на чепчике; ту миловидность, ту грациозность, которые наполняют ароматом женственности улицу, служат украшением мастерских и отрадою скромных лачуг. Это с точки зрения живописной. Если говорить о приятном, то всякая гризетка умеет петь не фальшивя и печь блинчики. Если говорить о полезном, то она экономна, и хотя очень лакома до развлечений, приходит в ужас от дорогих удовольствий. Бывали даже случаи, что кошелек студента толстел благодаря на-

ставлениям хорошенькой участницы его забав; правда, эти сбережения целиком уходили на покупку платья или кашемировой шали французского изделия, но все же они были спасены от потока расточительства.

Здесь, на земле, всякая гризетка соединяет философию с эпикуреизмом, бодрость в труде с покорностью судьбе. Эти добродетели, свойственные великим людям, ей необходимы для того, чтобы, родившись на свет без знатности, без богатства или положения, создать себе все это и, полагаясь только на самое себя, умножить собственные ресурсы; чтобы уметь постоянно работать, ловить счастье на лету и считать только развлечением те связи, которые легко завязываются и еще легче порываются,— словом, чтобы подстегивать жизнь среди быстрого круговорота наслаждений и горестей, чувства и сладострастия, и все же оставаться гризеткою!

«Карикатура», 6 января 1831 г.

ПАРИЖ В 1831 ГОДУ

Рай для женщин,
Чистилище для мужчин,
Ад для лошадей.

Город контрастов, средоточие грязи, помета и дивных вещей, подлинных достоинств и посредственности, богатства и нищеты, шарлатанства и таланта, роскоши и нужды, добродетелей и пороков, нравственности и развращенности; город,

где с собаками, обезьянами и лошадьми обращаются лучше, чем с людьми;

где люди порою выполняют обязанности лошадей, обезьян и собак;

где некоторые из граждан были бы хорошими министрами и где некоторые из министров — плохие граждане;

где очень часто ходят в театр и очень плохо отзываются об актерах;

где встречаются люди рассудительные, а встречаются и такие, которые пускают себе пулю в лоб или поднимаются на воздушном шаре;

где республиканцы еще более недовольны, с тех пор как они добились «лучшей в мире республики»;

где меньше всего добрых нравов и больше всего моралистов;

где больше всего художников и меньше всего хороших картин;

где повсюду имеются лекарства от всех болезней,

весьма искусные врачи и где, однако, больше всего больных;

где теперь больше карлистов, чем в те времена, когда монарх именовался Карлом X;

где больше иностранцев и провинциалов, чем парижан;

где много церквей и мало верующих;

где много газет и мало подписчиков;

где на некоторых памятниках можно увидеть изображение петуха, орла и лилии.

где лучшая в мире полиция и больше всего краж;

где больше всего филантропов, благотворительных учреждений, богоугодных заведений и в то же время больше всего горемык!

Париж — это предмет зависти для тех, кто никогда его не видел; счастье или несчастье (смотря, как повезет) для тех, кто в нем живет, но всегда — огорчение для тех, кто принужден покинуть его.

Итак, Париж является целью для всех. Каждый стремится сюда, имея на то свои собственные основания.

Праздный и состоятельный провинциал приезжает сюда передохнуть, поучиться хорошему тону и кстати оказывается жертвою тех, кто эксплуатирует провинциальную неопытность;

иностранец-миллионер — приезжает посмотреть достопримечательности, попробовать тонкие вина, пообедать в ресторане «Провансальские братья» и узнать, как сшиты туфельки у балерин парижской Оперы;

студент, чтобы пройти курс юридических наук и доставить отраду гризеткам;

человек, склонный к науке, чтобы научиться;

талант, чтобы прославиться;

честолюбец, чтобы возвыситься;

девица из деревни, чтобы приобрести лоск;

депутат, чтобы голосовать;

плут высшей марки, чтобы получить известность;

писатель, чтобы найти читателей;

лейтенант, чтобы стать капитаном;

красота, чтобы пленять;

гений, чтобы блистать;

прожектер, чтобы эксплуатировать;

промышленник, чтобы получить патент!

Все находят здесь то, за чем приехали и от столкновения различных интересов, от соприкосновения со всяческими видами промысла и бесчисленными талантами в тысяче разных отраслей, от бездны фантазии, на практике применяемой к разнородным исканиям,— рождаются та деятельность, то непрерывное развитие промышленности, те чудеса искусства и науки, те ежедневные усовершенствования, те полные научного интереса и изобретательности замыслы — словом, все те изумительные чудеса, которые поражают, удивляют и пленяют, заставляя всех признать Париж городом, не имеющим себе равных во вселенной.

«Карикатура», 10 марта 1831 г.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Как утверждает священная история, господь бог трудился шесть дней, а на седьмой день почил от дел творения. И все сыны апостольской римско-католической церкви, которые мира не создавали, да и в течение недели не бог весть как много работали, в седьмой день отдыхают по-апостольски. Днем отдыха является воскресенье, и так как всякий имеет право отдыхать на свой манер, то обычно воскресенье и есть тот день, когда многие христиане наиболее устают.

В этот день еженедельного праздника:

Дамы-святоши выводят погулять собачку, затем отправляются в церковь к поздней обедне, слушают проповедь и вечерню, а засим по-христиански употребляют остаток дня на поношение ближнего.

Студент вознаграждает гризетку за то, что она не изменяла ему целую неделю, и укрепляет ее верность прогулкою в Булонский лес, Роменвиль или в Монморанси.

Лавочники отправляются за город с самого утра — одни в тележке или в шарабане, другие в «кукушке» или пешком; они рассыпаются по окрестностям Парижа и обогащают рестораторов Версаля и Сен-Клу, Монмартра и Вирофле.

Служивый, покровительствуемый мадмуазель Франсуазой, сдает у входа в музей на хранение свой тесак и по-военному объясняет все деяния и подвиги господина Аякса или спасителя нашего Иисуса Христа.

Совсем растерявшись оттого, что некого осыпать бранью и колотить, добродетельный школьный учитель выколачивает собственный сюртук.

Буржуа, взяв жену под одну руку, а зонтик и собачку испанской породы под другую, идет в Зоологический сад смотреть зверей.

Простолюдин набивает карманы всей мелочью, какая найдется у него дома, и ведет свою супругу вместе с детьми к заставе; там он довольствуется пинтою пива в полфранка, вступает с кем-нибудь в перебранку, возвращается домой, бьет жену, ломает мебель и засыпает, очень довольный проведенным днем.

Чиновник, которого служебные обязанности всю неделю держат в канцелярии от десяти до четырех и который может посещать своих друзей только по вечерам, делает визиты, чтобы не прослыть ночною птицей. Ровно в полдень на нем уже черный фрак, чистое белье, сверкающие сапоги; он выходит, обегает весь Париж, не застает никого дома и возвращается весь в пыли и грязи, раздосадованный и злой.

Но вот кто наиболее скрупулезно соблюдает римско-апостольское предписание об отдыхе,— это состоятельный человек. Для него воскресенье длится всю неделю, и в седьмой день он обречен на бездействие. В самом деле, все прочие забавляются или делают вид, что забавляются, у всех прочих белая сорочка и опрятное платье; неужели же *порядочный человек* должен поступать, как *все прочие?* Поэтому в парке Тюильри по воскресеньям нет ни франтов, ни изысканных туалетов. В Булонском лесу — ни элегантных экипажей, ни бешеных кавалькад! Для этих людей нет зрелищ, нет праздника в такой день, когда пользуется им большинство. Если случайно необходимость заставит их выйти на улицу, то умышленно простой костюм отличает их от тех, кто разрядился *по-воскресному.* Словом, для них отдых — это скука.

Горе гражданам, остающимся в Париже по воскресеньям в хорошую погоду. Нет ничего более печального; утром — в городе движение: все уезжают за город; днем — вместо обычного шума везде тишина; вечером — запертые лавки, пустые и унылые улицы, свидетельствующие о том, что большинство жителей в отъезде.

Но так как воскресный день не длиннее остальных, он, как и остальные дни, кончается в полночь, и в этот час возрождаются движение, толкотня и шум — характерные элементы, составляющие очарование больших городов. Приливая со всех точек окружности к центру, тысячи и тысячи людей несутся через все заставы и наполняют улицы бурными волнами. Экипажи сталкиваются, пешеходы поют, пьяницы ругаются, дети плачут, и все, измученные, возвращаются домой, как бы далеко они не уезжали на свою воскресную прогулку.

Вот как парижане понимают, что такое отдых в день седьмой.

«Карикатура», 31 марта 1831 г.

ПРОВИНЦИАЛ

Видите, он вылезает из дилижанса с той самоуверенностью, которую дает сознание собственного достоинства.

Ну, конечно, это провинциал.

Он первый остряк в своем городе, подписчик газеты «Конституционель», он и сам пописывает в местной газете, задает тон, выдумывает восхитительные шарады, а в любовных делах он так неотразим, что вскружил голову всем местным дамам и частенько бывает принужден притворяться жестоким.

Его родной город, заметьте,— родина одного академика, одного генерал-майора, одного художника, посланного в Рим на казенный счет, одного помощника столоначальника в министерстве культов; кроме того, город знаменит высотою готических башен своего собора, несчастным случаем, происшедшим в 1371 году с сыном короля, сломавшим здесь себе ногу, и смертью архиепископа, приехавшего сюда доживать свой век.

Вы чувствуете, что, имея за собой такое прошлое, новоприезжий отнюдь не маловажная особа, что он может являться куда угодно с высоко поднятой головой. И вот, едва приехав, он уже держится развязно.

— Боже ты мой! — восклицает он, спускаясь с подножки.— До чего дрянные в Париже дилижансы!

Он зовет носильщика и очень удивлен, что его вопросы выслушивают ухмыляясь и что прохожие с лукавой улыбкой оглядывают его с ног до головы. Прогуливаясь, он замечает, что отстал от моды, это он-то, «первый модник в своем городе». Ему попадаются «иностранцы,

смеху достойные по причине ихнего акцента». Он глумится над эльзасцем и бретонцем и даже объявляет, что «у парижан дррянное прроизношение».

— Мне бояться нечего,— говорит он,— разве только сам черт меня вокруг пальца обведет! Я столько читал, столько себя образовывал перед отъездом, со столькими советовался, да и сам я малый не промах!..

И вот он хочет высморкаться, а платок у него уже «позаимствовали»; он покупает цепочку для часов, а часы у него уже стибрили; он платит десять франков за золотые очки, а когда хочет их обменять, то с него требуют восемьдесят франков доплаты.

Пока он еще жертва мелких жуликов, а затем появляются непрошеные друзья, доказывающие свое уважение к нему способом самым убедительным из всех тех, какие приняты между светскими людьми: берут у него взаймы; потом на сцену выступают торговые фирмы «на вере», подвергающие испытанию его доверчивость; потом — женщины, с виду чувствительные, а на деле дьявольски жестокие; потом — игорные дома с их завсегдатаями, которые иногда начинают с проигрыша, но всегда кончают выигрышем; наконец, услужливые чичероне, которые водят провинциалов по театрам, кафе и всякого рода достопримечательностям, никогда не позволяя себе платить за свои места.

В зоологическом отношении провинциал принадлежит ко второй разновидности класса двуруких. У него громкая речь, густой румянец, грубая кожа, солидная талия, слегка сутулая спина, приподнятые плечи; руки у него болтаются, а ноги вогнуты внутрь, и те и другие не пропорциональны туловищу, наверно, потому, что он непрестанно их упражняет. Для него ходьба — первое условие существования. Когда он в Париже, то ни один сосед по гостинице еще встать не успеет, а он уже обегал все набережные и бульвары; здесь он купит яблочное пирожное, там кусок торта, но это ничуть не вредит его желудку, в котором пищеварение изумительно ускоряется от столкновений со всеми парижскими уличными столбами.

Привычки и манеры у него не менее смешные, чем внешность; он считает себя обязанным по всякому поводу защищать местный патриотизм; как только он за-

кашляет, сейчас же идет плюнуть в уголок, что при простуде крайне утомительно; прежде чем выпить, он кланяется сотрапезникам, и, прежде чем произнести каламбур, сам хохочет; садясь за стол, пододвигает его к себе; в ресторане Вэри заказывает суп и говядину с тушеной капустой; зовет официанта *сударем;* три раза в минуту поправляет волосы, рукава засучивает до локтей, а брюки — до колен. Он любит все яркое, пестрое, поэтому чаще всего вы увидите, что при сюртуке морковного или желтого цвета он носит туфли, начищенные до зеркального блеска, золотые серьги и зеленые перчатки!

Коротко говоря, провинциал — существо непостижимое, в 1831 году он еще ходит во Французский театр; попав к Франкони, считает, что пришел в Оперу, в антрактах покупает «ячменный сахар», торгуется в театральной кассе, статую Генриха IV принимает за статую Наполеона, Тальони — за госпожу Саки и даже уверяет, что она плясала на канате в их городе; приходит в восторг от восковых фигур, украшающих витрины парикмахерских; зевает, слушая Паганини, раскланивается с капельдинершами, беседует с клакерами и аплодирует в театре Нувоте!

«Карикатура», 12 мая 1831 г.

ЗНАКОМСТВО

В воскресенье, не зная, куда девать себя, я машинально направился к театру Монпарнас, месту отдохновения и драматических переживаний всех парижских гризеток.

Я вошел в партер и волей случая оказался рядом с юной обладательницей задорной мордашки, свежего румянца, прекрасных голубых глаз и гибкой стройной фигурки.

Мое любвеобильное сердце никогда не могло устоять при виде черного передника, оттеняющего столько соблазнов...

Сидя вплотную подле моей прелестной соседки, я попытался завязать разговор. Сперва я предложил ей свой бинокль. С этого я начинаю всегда... хорошо уже и то, что мы смотрим на все одними глазами. Моя соседка оказалась молоденькой вышивальщицей, которая за свои шестьдесят сантимов запасалась удовольствием на всю неделю. Чувствительна она была сверх меры и уронила несколько блестящих серебристых слезинок, оплакивая судьбу злосчастной Леони. С ее слезами я смешал свои, и мы образовали весьма трогательный дуэт.

Вскоре мы уже беседовали запросто, как старые знакомые. Я испытал неизъяснимую радость, представив ей почтительнейшее выражение моих чувств в виде апельсина, за который с меня спросили, как за мальтийский. Тут мадмуазель Шоншон (так звали мою красотку) начала то опираться своей прелестной ручкой о мое плечо, то склонять голову ко мне на грудь. Представляете себе, друзья мои, что сталось с моим бедным сердцем. По его

судорожному биению можно было предположить, что оно страдает изрядным аневризмом.

Наконец, когда занавес упал в последний раз, я предложил ей руку, которая была принята не без колебаний, и, не уступая по торжественному виду патрулю национальной гвардии, я препроводил девицу в отчий дом, расположенный на улице Юшетт. Дорогой мне удалось добиться нескольких слов признательности, нескольких неопределенных обещаний, тех опьяняющих слов, что освежают наши чувства, как огненная роса. Вечер был тих, небо усеяно звездами, как грудь русского вельможи; и ни капли дождя, чтобы погасить мои страсти; ни одного пожарного, способного заменить природу... Я вспыхнул!

Превозмогая свою робость, доходящую обычно до сорока градусов ниже нуля, я с учтивостью жандарма схватил руку мадмуазель Шоншон.

— Мадмуазель,— воскликнул я, внешне сдержанный, но внутренне совершенно потрясенный,— мадмуазель, эту нежную ручку, принадлежащую, по-видимому, вам, я верну лишь тогда, когда вы позволите мне увидеть вас снова!!! Уф!

Как я и ожидал, бедняжка была крайне удивлена. Но, очевидно, не столько моим предложением, сколько сопровождавшими его нелепыми жестами, так как в ответ она самым милым образом назначила мне свидание на следующий день в восемь часов вечера у церкви св. Сульпиция. После чего она в веселом расположении вернулась к папе и маме, а я тут же извлек свои часы, чтобы отныне считать время по минутам и по секундам!

На следующий день в семь часов вечера я уже был в бальном костюме. Свидание вызывает во мне те же переживания, что и самый бурный контрданс, вот почему в этих случаях я всегда одеваюсь, как на бал. Явившись на площадь Пале-Руаяль, я заметил там какую-то группу людей; мне нужно было убить целый час, вот я и подошел поближе и дополнил это общество своей особой, обутой в узкие башмаки.

Но едва я хотел обратиться к кому-нибудь с обычным вопросом вновь прибывшего, как на меня обрушилась мощная водяная струя. Решив, что это смерч или еще какое-нибудь чудо природы, я был в высшей степени

польщен тем, что столь необычайное явление выделило из всей толпы именно меня; смотрю на небо, желая убедиться в своей правоте, ищу, вглядываюсь — ничего не видно; я весь облит, промочен, затоплен, пронизан, наводнен; к тому же я остался в одиночестве,— все бежали из этой мокроты. Бегу и я.

Тронутые моим героизмом и долготерпением, все зрители стали наперебой меня обтирать, жалеть, наставлять. Вообще-то пожарный — человек отважный и самоотверженный, он только выполняет волю правительства. Вот он и восстанавливает общественный порядок по два су за ведро! Оторванный от борьбы с ужасной стихией, от борьбы, которая всегда приносит ему уважение — но часто и смерть,— сколько ненависти зажжет он, потушив какую-нибудь пустяковую выходку! Сколько самолюбий утопит! Ибо...

Аб! — би! — ба! — браво! — аба! — здорово! — бубубубу!

— Что это! Нападение драгунов?

— Нет, сударь, нападение обыкновенного человека. Оказывается, какой-то парень купил у водоноса полное ведро, обогнул площадь, подобрался сзади к офицеру, командующему пожарными, могучей рукой нахлобучил ему на голову ведро вместе с водой и удрал. (Исторический факт.) Наглухо закупоренный, промокший офицер, задыхаясь и, вероятно, не испытывая особого удобства, бешено метался и изрыгал проклятия, казалось, исходившие из глубокой бочки, пока какой-то пожарный не бросил свою кишку и не вытащил начальника из ведра на свежий воздух и на всеобщее осмеяние.

Мне эта попытка мести показалась весьма остроумной; но, поскольку она ничуть не помогла мне просушить одежду, я поскорее побежал домой переодеться, опасаясь, как бы и мое свидание не пострадало от этого события.

Прошло не меньше пяти минут после того, как пробило восемь, когда мои дрожащие ноги принесли меня, наконец, на площадь св. Сульпиция, площадь обычно безлюдную и таинственную. Но в этот вечер ни безлюдия, ни таинственности здесь не было. Бурлящая толпа заливала площадь. Не видя нигде пожарных насосов, я решился подойти поближе.

Что же оказалось? Какой-то щеголь, привлеченный прелестным личиком молодой девушки, неуверенно бродившей по площади, попытался самым вежливым образом завязать с ней знакомство. Как вдруг, откуда ни возьмись, на эту пару налетел здоровенный детина, по-видимому сапожник, и ну хлестать их шпандырем; и теперь, вот уже пять минут, оба чемпиона тузят друг друга, соревнуясь в силе и ловкости, к великому восхищению толпы, которая и не думает разнимать их.

Юная девушка была Шоншон; молодой денди — мой друг, которому я признался в своем смелом поступке. Я поблагодарил его за то, что он взял на себя все его неприятные последствия, и отправился домой есть рисовую кашу.

«Карикатура», 19 мая 1831 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

ГАЛУНЫ, ЭПОЛЕТЫ, ПОГОНЫ, БАХРОМА И ПРОЧЕЕ

— Ну что, кончили?

— Еще нет; нужно назначить высший офицерский состав.

— На этот раз он будет сносным?

— Сносным? Скажите, сударь: превосходным! Республика провозглашена, ей остается покрепче держать на голове свой колпак. Все наши офицеры будут принадлежать к золотой середине.

— За это спасибо, бакалейщик.

— Сударь, вы меня оскорбляете: я аптекарь.

— О! Тогда меня не удивляет ваша любовь к гильотинированию правлическому правительству Казимира Помпье.

— Вы анархист.

— Молчите, старый дурак!

— Кровопийца, бонапартист, карлист. Чего доброго, вы стоите и за Генриха Пятого!

— До свидания, клистирная трубка.

— Что за стычка произошла у тебя с этим колпаком?

— Не стычка, а спор по поводу общественного порядка... Да где же твои сержантские нашивки?

— А я имел неосторожность отдать честь генералу Ламарку.

— Ты много чего наскажешь.

— А впрочем, в нашей роте все кончилось полюбовно: ротным назначили владельца роскошной гостиницы; он получил серебряные эполеты, зато в помощники себе

назначил тех, кто помогал ему по кухонным делам: главный повар у него подпоручиком, помощник повара — фельдфебелем, тот, кто мясо поджаривает,— сержантом, поваренок — фурьером, а швейцар — капралом.

— Понимаю, все они удостоены доверия национальных гвардейцев господ лавочников, которые готовы поставлять голоса избирателей при условии, что они же будут поставлять упомянутой гостинице всякого рода товар, который продается и покупается, как голоса на выборах.

— А в твоем квартале как дела?

— Нынче утром предложили сменить командира полка, но были представлены веские возражения против нового кандидата.

«— Возможно ли? — первым делом сказал господин в очках, который всегда стоит за существующий порядок.— Вы хотите назначить командиром генерала М.? Подумали ли вы о том, что этот дьявол в случае войны нас и взаправду мобилизует!

— К тому же он любит поляков!

— Он жалеет итальянцев!

— Он поддерживает бельгийцев!

— Он записался в Ассоциацию!

— Он присутствовал на похоронах Грегуара, а Тибодо жал ему руку.

— Однако, господа, он отличный командир, а это прежде всего...

— Прежде всего нужно держаться подальше от политики, тогда можно стать чем-то в наших глазах.

— Правильно, правильно, браво!

— Подаю голос за него.

— А я против.

— Тем хуже для вас!

— Сударь, позвольте мне сказать вам о том... Нет, я вам не скажу.

— Понимаю вас, сударь... Заказов на сапоги вы больше от меня не получите.

— А вы можете продавать ваши шляпы кому угодно, только не мне.

— Друзья мои, дорогие мои соотечественники, бога ради, помиритесь. Примирение во что бы то ни стало!

Послушайтесь чиновника, честного контролера, который при всех режимах сохранял пост фельдфебеля».

Господин, так выступивший и имевший целью восстановить спокойствие, не дать анархии проникнуть в ряды лавочников, был человек очень опрятный, обычно носивший мундир национальной гвардии; руки у него были белые, лицо также белое, румяное, слегка подкрашенное, а военный мундир так облегал его тело, точно был приколот к нему булавками.

«— Дорогие друзья, дорогие соотечественники,— продолжал он, сделав паузу и взяв понюшку надушенного табаку,— я уважаю все мнения и остерегусь осуждать чью бы то ни было точку зрения, но я надеюсь привести почтенному собранию аргумент, не допускающий никаких возражений, который побудит вас высказаться отрицательно по вопросу, обсуждаемому нами. Нет, по-моему, генерал М. не может командовать нашим полком, и не потому, что он республиканец или, может быть, наполеонист, ведь мы все были немножко — одни поменьше, другие побольше — и республиканцами и наполеонистами... Но у генерала имеется недостаток... это еще слабо сказано!.. порок, нетерпимый в строю!

— Какой же?

— Он курит.

— Может быть, только сигары?

— Отнюдь нет! Он курит трубку, я собственными глазами это видел, собственным носом чуял!

— Голосовать! Голосовать!

— Я полагал бы, господа и уважаемые мои коллеги, что после факта, сообщенного мною, даже и обсуждать нечего.

— В самом деле, оставим прежнего командира».

Всего печальнее то, что все рассказанное здесь — сущая правда.

«Карикатура», 9 июня 1831 г.

БЛЕСТЯЩЕЕ, НО ЛЕГКОЕ РОНДО

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ПОЛИТИКЕ

с сопровождением
обязательных рукоплесканий
и приветственных возгласов,
восторги — *ad libitum* [1]
на излюбленную тему:

То мятеж, мятеж, мятеж
Народ сзывает в хоровод и т. д.,

сочиненное и посвященное любителям золотой середины
г-ном Казимиром Перье,
первым трубачом королевского оркестра,
и впервые исполненное дирижером большого театра
Франции

в субботу
23 июля 1831 года.

Пьеса, о которой долг журналиста велит нам дать отчет [2], принадлежит к старинному виду РОНДО, ибо главная тема «То мятеж, мятеж, мятеж и т. д.» повторяется в ней многократно. Эта форма несколько отдает стилем *рококо*, и мы бы предпочли ей современную каватину в новой свободной форме, с мощными выразительными мелодиями, одним словом, каватину, подобную тем, что создаются в Соединенных Штатах; но поскольку наши вкусы не имеют пока ничего общего со вкусами аме-

[1] По усмотрению *(лат.)*.

[2] Спешим заметить, что в кратком разборе данного произведения мы намерены говорить лишь о творчестве композитора, оставляя в стороне искусство исполнявшего его выдающегося виртуоза *(прим. автора)*.

риканских любителей, то в ожидании лучшего сойдет и готическое *рондо*. Итак, рассмотрим, содержит ли в себе названное произведение все признаки данного жанра.

После бурлескной *интродукции*, которая начинается с пушечного залпа и, к сожалению, напоминает претенциозные формы старой школы, раздается обязательная ритурнель: «Господа пэры, господа депутаты, я счастлив вновь оказаться среди вас».

Как можно заметить, до сих пор нет ничего нового. Затем появляется излюбленная тема «То мятеж, мятеж, мятеж... и т. д.», первую фразу которой нельзя признать удачной: «Я сказал, господа, что отныне Хартия станет истиной: слова эти сбылись».

Очень сожалеем, но мы должны сказать, что пассаж этот невероятно фальшив; он режет даже самый неискушенный слух. Однако продолжим разбор любимой темы: «Пришло время положить конец чересчур затянувшимся волнениям, охватившим тех, кто все еще мечтает о химере республики». Эта излюбленная тема безнадежно банальна: она примелькалась уже на всех афишных столбах; но варьируется она, можете нам поверить, с большим искусством.

Далее следует пассаж дьявольской трудности: «Недавно, господа, я объездил всю Францию и т. д.». Подлинные знатоки нашли, что пассаж этот напоминает, значительно уступая ему в музыкальном отношении, знаменитое рондо Жоконда:

По свету долго ездил я,
И видели меня повсюду.
Любезен был и т. д. [1]

Я согласен с подлинными знатоками и предпочитаю Жоконда из Комической оперы.

Во всяком случае, излюбленная тема разработана в этом пассаже чрезвычайно изобретательно. Речь идет о пожеланиях провинциалов: «Вы поможете мне, господа, осуществить их; порядок будет огражден; всякие мятежные попытки уже пресечены и подавлены». Уловили тему мятежа? Правда, она введена чисто эпизодиче-

[1] Жоконд, если верить историкам театра Фейдо, также был премьер-министром монарха, право, не знаю, какой монархии. Хорош же был и этот король! Правда, в те времена конституционных королей еще не придумали *(прим. автора)*.

ски и как бы только затем, чтобы напомнить, что основная мысль не упускается из виду.

Затем мы попадаем в лабиринт звуков — подлинный трюк в стиле Тартини,— в котором ничего невозможно понять. Он относится к вопросу о наследовании звания пэра. Вместо музыкального сумбура, словно извлеченного из импровизаций старо-юного Линца, публика предпочла бы встретить бóльшую ясность, более искренние интонации, бóльшую непринужденность, вполне допускаемую обстоятельствами, тем более, что пассаж заканчивается тоже маловразумительным хроматическим потоком, затрагивающим муниципальное и департаментское устройство, ответственность министров, свободу образования, и т. д., и т. д.

К счастью, следующее далее жалобное adagio о «тяготах, постигших торговлю, и мужестве, с каким несет она их», нас полностью вознаградило.

Этот отрывок, исполненный пугающей правды, произвел тем большее впечатление, что любимая тема «То мятеж, мятеж, мятеж...» (тема совершенно бурлескная, но тем не менее все ожидали ее именно в этом месте) действительно умудрилась появиться среди образов самых суровых и патетических, но стремительно, словно озорной мальчишка, который, возвращаясь с урока закона божия, заглядывает в окошко темной лавки с криком: «Эй! Привет! Это я! Я здесь!» — и тут же удирает, чтобы завтра появиться вновь. Это очень хорошо. Такая смесь забавного и сурового приводит к весьма живописному эффекту и образует естественный переход к последующему allegro: «Надеюсь, что тяготы эти приходят к концу, и вскоре, с укреплением порядка (мимолетное появление любимой темы), наступит полная безопасность и т. д.». Это allegro, посвященное будущему обращению капиталов, страдает одним только недостатком: слишком ярко выраженным семейным сходством с арией Пьерро из «Говорящей картины»:

Вот гроза уже прошла,
Снова солнышко сияет,
Вся компания весела,
Развлекаться начинает.
Смех и доброе вино, и т. д.

Но и на этот раз «доброе вино» Пьерро мне нравится больше.

Что касается следующего отрывка, точнее, речитатива о государственных финансах «Бюджеты 1831 и 1832 годов будут вам представлены и т. д.», я должен сказать, что, за исключением должностных лиц, все признали его излишне перегруженным; он написан в тяжеловесной манере; он подавляет; тут слишком много меди; композитор поистине забыл о всякой мере. Фраза, идущая далее, также вызвала самую резкую критику: «После июльской революции Франция снова заняла в Европе подобающее ей место». Считают, что фраза эта написана в слишком низком регистре. Ей аплодировали только послы Англии, Пруссии и Австрии.

Но «Блестящее рондо», презрев все нападки, вскоре снова воспрянуло, и после нескольких тактов молчания о «национальной независимости» любимая тема «То мятеж, мятеж, мятеж... и т. д.» развернулась во всем своем блеске и полнозвучии, когда речь зашла о «национальных гвардейцах, которые стоят целых армий и спасли в свое время свободу». Отрывок доставил слушателям тем большее наслаждение, что в нем выражена совершенно новая мысль, о которой никто даже не подозревал. Единственное, о чем все сожалели,— это о том, что не были упомянуты «рабочие — друзья порядка» и экю стоимостью в три франка.

Вслед за этой ослепительной репризой излюбленной темы мощно вступают басы, начинающие тему Австрии: «Как я того и просил, император австрийский вывел свои войска из Папской области». Эта мелодия кажется некоторой, без сомнения, невольной реминисценцией знаменитой мелодии: «Взгляни-ка, Жан, уходят ли они и т. д.». И тут же снова, снова, снова намек на любимую тему при упоминании государства папы римского, «чей покой не будет более нарушаться». Это совершенство!

Затем идет ария, посвященная Бельгии, в сопровождении *английского рожка:* и надо признаться, это не самая блестящая часть «Блестящего рондо». Нет, тысячу раз нет, это отнюдь не французская музыка! Напрасно, стремясь исправить положение, композитор ввел непосредственно вслед за арией фанфары, славящие Португалию; эти усилия, вернее, это жонглирование ловкого контрапунктиста не достигло своей цели — не отвлекло внимания. Все повторяли:

— Ба, ба! Слишком много шуму из ничего.

Но что сказать, о, что сказать нам об andante якобы amoroso в следующем далее гимне с барабанным боем в честь Польши, героической Польши!.. Отвратительно!.. Невыносимо!.. Ужасно!.. Как не обрушились своды Палаты от столь пошлых слов, от такого гнусного стиля!..

К счастью, после помпезного возвращения главной темы, в которой автор радуется своим успехам, любимая тема «То мятеж, мятеж, мятеж!» возвещает нам, что: «Неуклонно проводя и впредь действующую политическую систему, мы достигнем того, что родина вкусит благодеяния революции, и оградим ее от новых потрясений и т. д.». Это заключение, к общему удовольствию предвещающее конец «Блестящего рондо»,— достойно венчает всю пьесу. Как легко увидеть, невозможно проявить большего разнообразия в разработке всегда одной и той же идеи, и настолько одной и той же, что она выглядит уже идеей навязчивой, подлинной мономанией.

В общем и целом, несмотря на отдельные указанные нами красоты, «Блестящее и легкое рондо» не удовлетворило ожиданий подлинных ценителей; хотелось бы услышать нечто более воинственное, более благородное, нагонец, более достойное французского слуха.

После исполнения раздались жидкие аплодисменты, но это был успех у клаки; немногие крики «браво», хотя и непритворные, относились, и то из вежливости, не к произведению, а к исполнявшему его знаменитому виртуозу, чей глухой, монотонный голос, заметим в скобках, не способствовал успеху пьесы.

Мы полагаем, что это «Блестящее рондо» не способно ни завоевать бурный успех, ни привить Франции вкус к благозвучным гармониям, скорее напротив. Народ не станет распевать его хором, он останется верен «Марсельезе» и скажет вместе с нами:

— *О, Рондо, блестящее и легкое Рондо, Рондо для начинающих в политике, чего ты хочешь от меня?*

В заключение сообщаем всем плохим музыкантам, что пьеса эта имеется у автора, улица де Гренель, Сен-Жермен; а также в Сен-Клу, у всех торговцев залежалым товаром. Цена: одно су.

«Карикатура», 28 июля 1831 г.

БАНКИР

Подобен луидору:
Твердый, круглый, тяжелый и плоский.
Рассыльный при кассе.

Острыми серыми глазками
выслеживает барыш.
Вальтер Скотт.

У наших водевилистов и наших романистов, весьма точных в изображении теперешних нравов, все еще фигурирует тип откупщика старых времен, хотя наши откупщики уже лет пятьдесят тому назад изменили свое лицо; но только лицо, ибо по существу они все те же. И вот на сцене финансист изображается как персонаж неповоротливый, грубый, склонный к пышности, скупой с бедными, щедрый с богатыми, жертвующий сто тысяч франков ради животной страсти и отказывающий в трех франках бедняку, который молит его о милостыне. А если он фигурирует на лицевой стороне медали, то изображается неповоротливым и грубоватым нелюдимом-благодетелем, который огорчает людей и тут же старается утешить их деньгами. Между тем наши нынешние нравы сделались до того учтивыми, что я не знаю, существуют ли еще эти нелюдимы.

Нелюдимы — что за гадость! Ничего нет изящнее и по языку и по манерам, чем современный финансист. Вы с изумлением слышите, как из его уст за четверть часа исходят и ученая диссертация о повышении и понижении курса, об экспорте и импорте и вслед за тем изящное

рассуждение, произносимое с той же важностью, с той же значительностью, о бантике галстука или покрое фрака.

Наблюдая подобную фривольность, вы никогда не поверите, что человек, по видимости, столь легкомысленный, способен к серьезным расчетам и к крупной спекуляции; и, однако, та же рука, которая столь грациозно играет лорнетом или тросточкой, так же непринужденно делает бухгалтерскую выпись о дебете и кредите, не забывая ничтожнейшей дроби, например, сотой доли сантима; соблюдая мудрое правило, согласно которому ручейки становятся полноводными реками, финансист никогда не скинет самой малой разницы.

Недавно один из самых богатых и молодых столичных банкиров проиграл в экарте пустячную сумму — сто луидоров, оказавшись должником своего приятеля, молодого повесы, общественное положение которого определяется словами «светский человек». На следующее утро молодой Ротшильд поспешил уплатить священный долг. Как раз в этот же день светскому человеку поручили уладить одно дело с его приятелем-банкиром. Последний временно выполнял тогда и обязанности кассира; он сейчас же подвел итог, сбалансировал его со всею тщательностью, несмотря на шуточки повесы. А когда дело дошло до уплаты, то оказалось, что денди остается в долгу на сумму в двадцать пять сантимов, которые он, посмеиваясь, отказался уплатить. Но финансист всерьез потребовал, чтобы двадцать пять сантимов были ему вручены, и объявил, что в противном случае он не выдаст квитанции. Повеса, уже готовый вспылить, высмеивал, как он выразился, «эту скаредность», и в ответ услышал следующее:

— Дорогой мой, если банкир станет пренебрегать сантимами, то светский человек будет неаккуратно платить карточные долги.

Жизнь фешенебельного банкира можно описать в немногих словах.

В девять часов легонькая коляска везет его к биржевому маклеру, его агенту, чтобы условиться о предстоящих в тот день операциях.

В одиннадцать часов он завтракает в «Парижском кафе».

В полдень он ревизует свои конторы, заглядывает в книги, изводит конторщиков, пишет письма, ссорится с компаньоном, потом неизменно мирится с ним, не по любви, а ради выгоды.

В три часа он мчится на биржу, сокрушается о гибели корабля, оплакивает судьбу собрата — жертвы банкротства, дает приказ о покупке и продаже ренты, выслушивает или распространяет ложные слухи.

В пять часов он присутствует на собрании акционеров.

В шесть часов он за туалетом.

В семь часов он обедает у Вэри или у «Провансальских братьев».

В девять часов он в ложе театра Буфф или Оперы.

В полночь он бросает столбики золота на карточный стол или отваживается на тур вальса с богатой наследницей.

В два часа он в элегантном будуаре наедине с танцовщицей.

В четыре часа он, наконец, в постели, утомленный трудом и наслаждениями, если только можно назвать *наслаждениями* ту развлекательную шумиху, которую привычка сделала для него необходимостью.

«Карикатура», 4 августа 1831 г.

ДВЕ ВСТРЕЧИ В ОДИН ГОД

Это было в день пробуждения после сна, длившегося пятнадцать лет. В Париже пахло порохом, в воздухе свистели пули, народ кричал: «Свобода!»

Сколько отважных подвигов, сколько неведомых несчастий таила эта насыщенная опасностью атмосфера! Настала ночь, и пробил в тишине тот поздний час, в какой все дети давно уж спят подле отца, но многие не отозвались на родительский зов и больше не отзовутся никогда!.. А слезы матерей, а тревоги отцов — узнает ли родина, сколько их было! Сколько бойцов, завоевавших свободу, достойных ее даров, пали смертью храбрых перед самой победой! И ни упрека, ни раскаяния, ни жалобы!..

Потому что каждый защищал общее дело. Когда собравшие жатву пали, живые приступают к дележу,— такова история всех сражений... Но то было дело народа, то был час опасности, и все шли в бой. О народ, как ты прекрасен!

Тут были люди разных общественных рангов, но всех уравняла отвага; трое из них встретились под сводами биржи, превращенной на этот день в госпиталь.

Двадцать четыре часа назад, когда генералы — оробевшие тогда, но осмелевшие позже,— отказывались дать даже свои имена, чтобы поддержать успех национального порыва, первый из троих вышел в генеральском мундире и принес делу народа не только свое высокое звание, но

и свою сильную руку, а может быть, и самую жизнь... Слава Дюбуру!

Второй был рабочий, печатник. Двадцать седьмого июля, едва забрезжил день, его, как всегда, разбудили дети, просившие хлеба.

— Вы получите хлеб лишь тогда, когда Карл Десятый не будет королем,— сказал им храбрец.

И, не съев ни куска, он взялся за свое старое солдатское ружье.

Третий был студент. Еще вчера он, великодушный и беззаветно преданный своей первой любви, хотел убить себя оттого, что та, без которой он не мог жить, отказывалась озарить его существование. Но она, любя его, трепеща за них обоих, вернула его к жизни, к счастью. И среди первых вздохов упоения его настиг призыв свободы... Он бросил все ради нее.

Командующий отрядами — ибо тогда победители еще командовали — генерал Дюбур, посещая раненых, встретил обоих, рабочего и студента. У одного сидела пуля в голове, несколько ударов саблей исполосовало тело другого. Забыв о своих страданиях, думая только о родине, словно они еще недостаточно сделали для нее, оба они обсуждали виды на будущее, опасаясь за исход сражения.

Тогда генерал, видя, что излечить раны героев может только рассказ о победе, поделился с ними своими желаньями и надеждами. Три храбреца обменялись словами утешения, мыслями о грядущей свободе, о славе Франции, о счастье для всех ее сынов. Затем оба раненых спокойно заснули, убаюканные грезами о прекрасном будущем.

. . . . . .

Прошел год.

После бойни — победа; после победы — дележ; и тогда победителей оказывается больше, чем было сражавшихся. Таков обычай всякой войны.

Отпраздновали годовщину, и на празднествах живые пожинали славу павших. Это тоже обычай.

В этот торжественный день три наших храбреца встретились во второй раз. Никто из них не участвовал в торжестве, однако все трое вновь свиделись в этот день...

На этот раз встреча произошла в убежище правонарушителей и злоумышленников — под тюремными сводами, за оградой Сент-Пелажи.

И тут в едином движении души, как три друга, уважающие страдания каждого в общей беде, эти три человека обменялись одинаковым приветственным взглядом; это мрачное безмолвное признание выразило историю целой эпохи одним словом: «Измена!»

«Карикатура», 11 августа 1831 г.

ВЕЛИКИЕ АКРОБАТЫ

Что такое конституционное правительство?

Большой балаган, в котором небольшое количество привилегированных особ борется за то, чтобы плясать, прыгать и кувыркаться на канате власти, с балансиром монетного двора в руках.

Канат иногда перетирается, он даже и вовсе рвется, если по нему ступают слишком тяжело, и тогда можно наблюдать весьма забавное зрелище: важные особы летят кувырком и разбивают себе носы. Но сейчас не об этом речь.

Этот акробатический спектакль устраивается, конечно, за счет народа. Когда народ недоволен теми фокусами, которые ему показывают, а главное, теми, которые от него скрывают, он может свистеть, это — его право. Но когда он свистит, считается, что он нарушает порядок, и его выставляют за дверь; это называется свободой печати.

Впрочем, труппа не брезгует никакими средствами, чтобы привлечь народ и повысить налог на доверчивость публики. Прежде всего у входа в балаган устанавливаются подмостки, на которых газеты министерства разыгрывают фарсы и музыкальные пьесы, зазывая толпу. Оркестр состоит из «Деба», «Журналь де Пари», неизбежного «Мессаже» и «Ревю де Пари». Что касается «Монитера», то он с самого основания играет на большом барабане. «Конститюсьонель» — некогда артист весьма выдающийся, а теперь бедный бродячий музыкант — предоставляет иногда оркестру в качестве любителя остатки

своего былого таланта. «Тан» при новом режиме не входит больше в состав труппы: этот виртуоз ныне лишился места. Но зато к труппе присоединился «Стенограф» — молодой кларнет, имеющий претензию играть верно и не пропуская ни одной ноты.

«Вывод войск из Италии», «Вступление французской армии в Бельгию», «Химера Республики» и особенно «Мятеж» в пяти картинах — вот пустячки, исполняемые у входа.

Кроме того, фасад балагана украшен большой картиной, изображающей Хартию. Объяснения дает г-н Казимир Перье, помощник директора труппы канатных плясунов:

— Вот, господа, перед вами Хартия, *Хартия — Истина,* Хартия 1830 года. Картина несколько грязновата, я согласен; краски выцвели, да и полотно кое-где прорвано. Хорошо, если еще хоть что-нибудь можно разобрать; но чего же вы хотите! Все это служит нам с 1814 года, не мудрено, что оно поизносилось. Вы, разумеется, скажете, что вместо того, чтобы подмалевывать старую картину, мы могли бы в июле 1830 года предложить вашему вниманию картину совершенно новую; но, как вам известно, революция не была революцией: то было лишь происшествие, простое происшествие; а это полностью меняет дело. Заходите же, господа и дамы, заходите, заходите! Самое время, самый момент! Посмотрите знаменитую труппу акробатов, единственную в своем роде из разъезжающих по Европе. Вы увидите, как несравненный Фориосо вскочит на канат власти, разопьет с любым из зрителей бутылку вина и будет поддерживать равновесие, шагая по золотой середине и не прибегая к балансиру популярности: в руках у него будет только зонтик, простой зонтик! Вы увидите множество трюков, никогда до того не исполнявшихся в этой великолепной столице, они завоюют голоса всех, кто только почтит нас своим доверием. Заходите же, господа и дамы, заходите! Самое время, самый момент! Плата только за вход. Недовольным деньги не возвращаются, напротив, на них налагается штраф. Везде и всюду, особенно в Америке, такие спектакли показывают почти даром. Мы сами до сих пор не запрашивали больше миллиарда; но, желая, чтобы наши места были доступны всем,

и принимая во внимание, что мир сто́ит дорого, особенно, если его покупают, мы просим у вас.. сколько, господа?.. Не смею и сказать! «Сколько же вы просите у нас?..» Сколько, господа? Сущую безделицу... полтора миллиарда; да, господа, полтора миллиарда. Неужели не стоит выложить полтора миллиарда, чтобы получить такое удовольствие? Заходите же, господа и дамы, заходите! Сегодня, быть может, последнее представление, совершенно последнее, без возобновления.

Он закончил речь, и оркестр грянул:

Где может быть лучше, чем с этой семейкой?

Вы, конечно, почувствовали, что ни один бакалейщик, ни один торговец нитяными колпаками или национальный гвардеец не мог бы устоять перед столь соблазнительным приглашением: «Заходите, господа, следуйте за публикой!» Я трижды зевака и потому попался как глупец; я последовал за публикой, то есть за самим собой.

Это было недавно, в день открытия. Народ, привычный к галерке, чувствовал себя стесненным в этом правительственном балагане. Тут не удастся подтолкнуть соседа локтем: едва мизинцем пошевелишь; но, впрочем, и здесь можно устроиться недурно.

Труппа состоит всего из трех артистов:

1) Палата депутатов, юная дебютантка, чьи первые шаги по канату еще очень неуверенны. Она опирается то на левую ногу, то на правую, то не опирается ни на одну ногу и тогда впадает в золотую середину. Ее несогласованные движения весьма непривлекательны. Мы советуем ей склоняться только влево: такая поза более грациозна, более пристойна и во время дальнейших представлений может снискать ей заслуженные аплодисменты; а хлопки грубых, мозолистых рук — это лучшее одобрение.

2) Министерство, иначе говоря, несравненный Фориосо. У него своя система, он не продвигается вперед. Его танец состоит из маленьких попятных прыжков. Он очень тяжеловесен, и из-за этого канат уже наполовину порван. Это великий прыгун, великий акробат труппы. Особенно блестящ он в опасных прыжках. Вот почему мы полагаем, что раньше или позже он сломает себе шею. И чем раньше, тем лучше.

3) Палата пэров, старый шут с перебитым позвоночником, желтым лицом и ввалившимися глазами. Бедняга долго не протянет, тем более что его роль невыносимо скучна. Это паяц труппы: с незапамятных времен в его обязанности входит повторять все повороты, жесты и скачки министерства. Если Фориосо сделал *антраша*, паяц тоже делает *антраша;* один — *курбет* или *стойку*, другой — *стойку* или *курбет;* один — прыжок в сторону и другой — прыжок в сторону, но все это в гротескной манере, как подобает паяцу! Жалкое ремесло, если не иметь в виду жалованье. Публика, не знаю почему, не выносит паяца. Стоит ему появиться, как поднимается свист, крик и улюлюканье, просто смотреть жалко. Если выступление затягивается, в паяца летят печеные яблоки. Но, в самом деле, угодливость его невообразима Например,— это было недавно, как я сказал уже, в день открытия,— несравненный Фориосо, ступив на канат, начинает прыгать. Едва он кончил, как паяц, в свою очередь, влез на канат и принялся, кривляясь, как обезьяна, передразнивать все его скачки. Поскольку прыжки описать невозможно, я постараюсь и образец и копию этих правительственных курбетов почти точно перевести на обычный язык,— это облегчит понимание:

1-й прыжок, Фориосо. Господа, я жду от вас полного и чистосердечного сотрудничества, которое придаст моему правительству столь необходимую ему силу.

1-е кривлянье, Паяц. Спешу предложить вам полное и чистосердечное сотрудничество, которое придаст вашему правительству столь необходимую ему силу.

2-й прыжок, Фориосо. Настало время положить конец преступным надеждам тех, кто мечтает о возвращении свергнутой династии или тешит себя химерой республики.

2-е кривлянье, Паяц. Настало время положить конец и т. д. (смотри прыжок Фориосо).

3-й прыжок. Фориосо. Их попытки будут пресечены или наказаны.

3-е кривлянье, Паяц. Их попытки будут пресечены или наказаны.

4-й прыжок, Фориосо. Я объездил весь свет.

4-е кривлянье, Паяц. Вы объездили весь свет.

5-й прыжок, Фориосо. Я подготовил проекты законов.

5-е кривлянье, Паяц. Вы подготовили проекты законов.

6-й прыжок, Фориосо. Состояние наших финансов внушает уверенность.

6-е кривлянье, Паяц. Состояние наших финансов внушает уверенность.

7-й прыжок, Фориосо. Бюджеты 1831 и 1832 годов *нам* будут представлены.

7-е кривлянье, Паяц. Бюджеты 1831 и 1832 годов вам будут представлены.

8-й прыжок, Фориосо. Я могу только радоваться дружественному отношению со стороны иностранных правительств.

8-е кривлянье, Паяц. Вы можете только радоваться дружественному отношению со стороны иностранных правительств.

9-й прыжок, Фориосо. По нашей просьбе войска императора австрийского отозваны из Папской области.

9-е кривлянье, Паяц. По вашей просьбе войска императора австрийского отозваны из Папской области.

10-й прыжок, Фориосо. Королевство Нидерландское прекратило свое существование.

10-е кривлянье, Паяц. Королевство Нидерландское прекратило свое существование.

11-й прыжок, Фориосо. Крепости, возведенные, чтобы угрожать Франции, будут разрушены.

11-е кривлянье, Паяц. Крепости, возведенные, чтобы угрожать Франции, будут разрушены.

12-й прыжок, Фориосо. В Польше продолжается кровавая ожесточенная борьба. Я хотел остановить кровопролитие, оградить юг Европы от бича заразы, а главное, обеспечить Польше свободное развитие ее национальности, которая устояла против всех превратностей времени.

12-е кривлянье, Паяц. В Польше продолжается кровавая ожесточенная борьба и т. д. (смотри прыжок Фориосо).

13-й прыжок, Фориосо. Неуклонно придерживаясь ныне действующей политической системы, мы добьемся того, что наша родина вкусит благодеяния революции.

13-е кривлянье, Паяц. Неуклонно придерживаясь ныне действующей политической системы, вы добьетесь того, что наша родина вкусит благодеяния революции.

И это или нечто подобное называют *ловкостью*! Немного требуется ловкости, чтобы поднять ногу, когда поднял ногу министр, и изогнуть спину, потому что изогнул спину Фориосо! Плохо! Плохо! Деньги назад! Отдавайте деньги! Если я зевака, это не значит, что меня нужно грабить. А! Вы не хотите? Ко мне, все продавцы свистков! Фьюи... Фьюи... Фьюи... Долой Паяца! Долой фигляра! Долой шута! Фью-и! Фьюи-и! Ф-ф-фью-и-и-и!!!

«Карикатура», 18 августа 1831 г.

КЛАКЕР

В его руках я видел судьбы мира...

Клакер, этот пария театральной профессии, является для драматического искусства истинным детищем Гельвеции; он продает свои руки и голос всякой державе, только бы она платила ему, и всегда готов силою навязать другим убеждения, чуждые ему самому.

Речь здесь идет, само собою разумеется, лишь о клакере-наемнике, который за плату способствует чужому успеху, а отнюдь не о тех благородных энтузиастах, добровольных поборниках какого-нибудь направления, которым чувство восхищения каждый раз стòит пряди волос, основательной ссадины или повреждения легких. Будем уважать чужие симпатии! Выразим сожаление этим людям!

Пыжась от сознания важности порученного ему дела, клакер требует, чтобы его уважали не меньше, чем его доверителей. У них талант, у него — наглость, каждому свое. Клакера пускают в ход при помощи небольших четырехугольных, штемпелеванных клочков бумаги, в просторечии именуемых контрамарками и выдаваемых автором, актером, либо администрацией. Вот из-за этой монеты он и торгуется, как мы торгуемся, покупая лошадь или мебель; стоя нос к носу с водевилистом, сотрудником которого он считается, клакер уверяет последнего, что он не в состоянии *сделать* (то есть встретить аплодисментами) заключительный куплет или развязку, если ему не выдадут дополнительно столько-то билетов или столько-то купонов; ведь подобно тому, как старые слуги припи-

сывают себе деяния хозяев, так и клакер присваивает себе на словах произведения, которым оказывает поддержку, со всеми подробностями, которые отсюда вытекают. Так, рассказывая об успехе, которого он добился накануне с опасностью для собственной жизни, клакер станет хвастать, что эта победа досталась ему ценою подбитого глаза, вывернутой руки и вывихнутой ноги. Если вы изумитесь и, видя его целым и невредимым, выразите недоверие, то узнаете, что клакер олицетворяет собою нечто целое и под словом *я* разумеет толпу своих помощников: у одного из них подбит глаз, у другого вывернута рука, а у третьего вывихнута нога; он олицетворяет собою все, начиная с люстры и кончая будкой суфлера.

Когда у клакера все карманы сюртука набиты билетами, он выходит из театра, подняв голову, важно шагая и поглощая как можно больше воздуха, во благо своим легким, которых не придется ему щадить вечером, на спектакле.

Он спешит отыскать всех преданных ему наемников, которые монополизированы им, и, хотя каждому чего-нибудь да не хватает (одним — по части обуви, другим — по части костюма), они все же вполне достойны судить надлежащим образом о стиле произведения благодаря размерам своих ладоней, мощных, как валек прачки, хотя руки их не всегда чисты в строгом смысле слова. Не думайте, к огорчению своему, что главному клакеру придется в интересах искусства подниматься на восьмые этажи и в мансарды. Нет, в полуподвалах или под открытым небом, во время прогулки в живописных пределах парижских бульваров и площадей, клакер соберет разбредшихся солдат своего батальона: кто продает ключи и цепочки для часов, кто — непристойные гравюры, кто — запонки для сорочек, кто — зубочистки, кто — воротнички, кто — жилеты и штаны, со скидкой. Вот на каких столпах покоится участь произведения, созданного, как говорят, для публики.

Распределив драматические патроны, указав пароль, расписание караульных постов и время сбора, на две сотых облегчив бремя собственной ответственности, клакер обильно обедает за два франка с персоны, выпивает маленькую чашечку кофе и стаканчик вина, а осталь-

ное время употребляет попеременно то на чтение газеты, то на обследование своей зубочистки. Бывало так, что театральный занавес взвивался много позже, чем значилось на афише, ибо одного человека еще не было в театре — и не то чтобы ждали какую-нибудь высокопоставленную особу, просто еще не прибыл глава клакеров.

Наконец, настает час, и глава шествует к театру, бросая взгляд, проницательный и как бы полный высокой мысли; предназначенное ему место охраняется благоговейно, ни один профан не отважится узурпировать его. Это место находится прямо под люстрой, если театр освещается газом, или несколько поодаль, если классическое масло циркулирует в скромных кенкетах. Для зрителя, пресыщенного сценическими иллюзиями, для наблюдателя, который ищет чего-нибудь интересного не только в программе,— это место является кульминационным пунктом, целью его взглядов, центром его исследований. Что за зрелище — неказистые автоматы, сдающие напрокат свои руки, свои ладони, свои голоса тому, кто заплатит дороже, они хлопают, кричат, смеются, зевают, плачут или свистят весь вечер, в зависимости от расходов, какие понесла антреприза; все это молодцы с засученными рукавами, с широкими ладонями, с вызывающим видом, готовые образумить (кулаком по носу) любого беспристрастного зрителя, который отважится на малейший жест неодобрения среди шумных волн энтузиазма.

И все же среди этого нравственного падения мелькают искорки стыда: какой-нибудь несчастный клакер, еще не привыкший к своему циничному ремеслу, зааплодирует, опустив голову и спрятав ладони в шляпу, сочетая стыд и страх с профессиональными обязанностями; другой не выполнит своей обязанности в тот момент, когда вполне справедливые свистки берут верх, и начнет сморкаться, чтобы не обнаружить исполняемой им роли, и сморкается до тех пор, пока пинок или же иное *увещание* в том же роде не заставит его прийти в себя. Когда наблюдаешь все эти жесты, лишенные убежденности, этот беспричинный гнев, рутинные, отнюдь не страстные оскорбления, то думаешь: вот бездушное тело, колеблемое гальваническим током. Но бывают нередко эпизоды, восхищающие публику звонкостью пощечины или на минуту приковывающие внимание публики к очаровательь-

ному воздушному полету зрителя, подброшенного из партера на балкон.

— Браво! Браво! — Бис! Бис! — Долой всю эту шайку! Вон этого смутьяна! — Автора! Автора!

Только из этих слов состоит театральный словарь клакера в день первого представления, ибо урегулирование непредвиденных инцидентов предоставляется его личной изворотливости. Из-за этого недавно и произошел следующий случай: шутник ввел в заблуждение главного клакера в театре Нувоте, и в тот вечер не удалось создать восторженное настроение.

Вот как было дело.

Идет первое представление двухактной пьески «Ночь Марион Делорм», которой не хватает только одного — развязки. Вторично падает занавес, глава клакеров встает, испуская крики, которым должно откликнуться послушное эхо:

— Автора! Автора!

— Погодите,— сказал, останавливая его восторженный порыв, один лукавый человек, сидевший сзади,— остается еще одно действие.

— Вы уверены?

— Конечно. Где же развязка?

— Н-да! Это правда. Да и то сказать, *кто* рискнет делать *купюры*, не предупредив меня: ведь можно ввести меня в заблуждение. Так поступать не полагается.

Когда же клакер вновь уселся и его подчиненные умолкли, а из прочей публики никто не поинтересовался познакомиться с авторами пьесы, случилась вещь неслыханная — авторы не были вызваны.

Через четверть часа клакер, которому открыли глаза, искал мистификатора, конечно, для того, чтобы в рукопашной схватке вознаградить себя за убытки.

Но шутка была сыграна, и, понятно, я не остался сидеть позади клакера.

«Карикатура», 8 сентября 1831 г.

СУПРЕФЕКТ

Он — главное лицо в городке, в делах административных — оракул для всей округи; при нем четыре чиновника, он получает пять тысяч франков жалованья.

Он — представитель золотой середины, преисполнен благонамеренности и яростно защищает существующий строй; он носит расшитый серебром синий фрак и шпагу.

Когда «Монитер» публикует имя избранника, то вы и представить себе не можете, до чего провинциалы ломают себе голову: «Старый ли он, или молодой? Женат ли он?» Готовят всякого рода петиции и прошения; мне даже приходилось видеть, что в честь его пишут стишки. Если он холост, значит, местные барышни, не переставая, шушукаются, у дам прибавляются туалеты, подновляются чары, кипят надежды и проекты.

Наконец, супрефект приезжает в кабриолете или в дорожном экипаже. Прежде всего ему нужно выбрать квартиру, и не думайте, пожалуйста, что это — пустячное дело... Нет ничего маловажного для городка, где мировоззрения и выгоды группируются по кварталам. О нем спорят, его вырывают друг у друга из рук, осыпают один другого мелкой клеветой и огромным злословием. Среди всей этой суматохи действует на все руки мастер (в каждом городке имеется свой на все руки мастер), человек злой, но слывущий за человека очаровательного, его ненавидят, но ищут его расположения, он вносит в семьи раздоры, он устраивает празднества, он оплевывает, травит, рвет на части и водит за нос весь город; он завладевает супрефектом и дает ему необходимые статистические

сведения: столько-то праведников, столько-то грешников, столько-то сомнительных; он ласкает собачку супрефекта, смеется остротам, которых тот не произносил, и слывет за умного человека у дураков, которые его опасаются.

На следующий день супрефект принимает должностных лиц, судей, помощников мэра, полевых сторожей, лесных сторожей, церемонно снимающих шляпу при его появлении; все они, руководствуясь Лафатером, изучают его лицо и подсчитывают, сколько можно будет прикарманить из сумм, отпускаемых на перья, чернила и бумагу.

Наконец, он собирается выйти на улицу, дело важное, предопределяющее его репутацию,— ведь что могут подумать о супрефекте, раз он шагает, как все прочие, раз в осанке его нет ничего административного, а в походке никакого превосходства! И вот, когда супрефект выходит, весь город устремляется к окнам. Вечером о нем выносят суждение, и если он недостаточно величественно отвечал на поклоны, если он просто-напросто вышел прогуляться, не упоминайте тогда его имени, он погиб, жалкий человек! Я предпочел бы перейти через Сену по натянутому канату, чем совершить двухчасовую прогулку под взглядами людей, вверенных моему попечению, если б таковые существовали...

Потом появляются советчики — совершенно особая категория людей, какие-то живые аксиомы, считающие себя обязанными высказывать суждения; они сменяются в супрефектурах, как кресла, они пьют и высказывают суждение, едят и высказывают суждение, идут, высказывая суждение, засыпают, высказывая суждение; они подобны недвижимости, обладающей даром речи, они потеряли румянец, охраняя законность, они раздулись от сознания своей значительности, они изрекают сентенции и улыбаются самым административным образом.

Если супрефект женат, все дамы наперебой ухаживают за его женой, превозносят ее, восхваляют; потом, собравшись небольшой компанией, рвут ее на части, поливают грязью все то, что раньше хвалили в ней; за ней следят, шпионят, ее в чем-то подозревают, на нее клевещут.

В дни торжеств супрефект появляется в парадном

мундире — повод для разговоров в течение целой недели.

Ежели он что-нибудь скажет, двадцатикратное эхо повторяет его фразу; если он молчит, то пространно рассуждают о его молчании: молчаливый супрефект — это нечто, нарушающее законы природы, поэтому все собираются в аптеке, на углу, и строят разные предположения.

Именно про супрефекта можно сказать, что он живет в стеклянном доме; все говорят о нем, о его жене, если таковая имеется, о его возлюбленных, если он холост. Он всегда живет на глазах у публики, и, когда в одно прекрасное утро его превосходительство переводит супрефекта в другой город, он уезжает, не оставляя после себя никаких сожалений; еще за два часа до своего отбытия он уже предан забвению; даже «мастер на все руки» покидает его, а уличные мальчишки бегут за его экипажем и орут.

Но у него пять тысяч франков годового жалованья, у него шпага и расшитый серебром синий фрак.

«Карикатура», 6 октября 1831 г.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ

И
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИХ ОСТАНКОВ
В
ПОДЗЕМЕЛЬЯ ПАНТЕОНА

Все унижающие себя будут прославлены в день страшного суда.

Евангелие от Луки.

Если власть заинтересована в том, чтобы развратить народ, она достигнет желаемого, поощряя предателей, вместо того, чтобы наказывать их.

Макьявелли.

Нации подобны отдельным людям: получив удар по щеке, они должны поскорее подставить другую. И тогда будут они благоразумны и войдут в царствие небесное, за неимением такового на земле.

Святой Себастиан (Послание к парижанам).

И восстал тут огромный зверь, весь покрытый власами, и имя ему Курций-Иуда-Туриаф; и принес этот зверь величайшие беды народам.

Апокалипсис.

Ту-у-бу-у.

Одибер.

ПЕТИЦИЯ К ДВУМСТАМ ДВАДЦАТИ ОДНОМУ

Господа!

Оппозиция, будучи глупа, как гусыня, вменила министерству в вину то, что оно предало Италию Австрии, Бельгию Англии, а Польшу России и таким образом изолировало Францию ото всех, словно зачумленную. Одна-

ко вы решили, что, действуя так, как оно действовало, министерство оказало важную услугу отечеству, и что, пользуясь выражением великого человека, оно было весьма благоразумно. Это решение, принятое голосованием, делает вам честь, господа, но его недостаточно. Что такое двести двадцать один шар? Это не может утолить нашу жажду справедливости. Вы должны, следовательно, привести награду в соответствие с огромностью высокого деяния. Вот почему мы умоляем вас обратить в проект закона нижеследующее предложение:

Статья первая

Нация, состоящая из тридцати трех миллионов человек, через посредство двухсот двадцати одного голоса присуждает почести Пантеона министрам, которые дали погибнуть Италии, Бельгии и Польше — своим естественным и неизменным союзникам.

Надпись на фронтоне: *Великим людям — признательная отчизна* — будет заменена следующей: *Людишкам — двести двадцать один реставратор.*

Для этого особого случая, в силу чрезвычайной важности оказанных услуг и снедающего нацию пыла признательности, будет нарушен закон, гласящий, что великие граждане могут быть приняты в храм славы лишь не ранее, чем через десять лет после их кончины. Современные министры будут приняты туда живыми и немедленно.

Статья вторая

Устанавливается следующий порядок церемонии и маршрут шествия:

От восхода и до захода солнца каждые четверть часа не будет произведено ни единого пушечного залпа ввиду отвращения министров ко всему, что напоминает войну.

После чего процессия двинется от Бурбонского дворца и направится к Пантеону, следуя точно по нижеуказанным улицам: улицы Большого ревуна, Бойни, Болтунов, Каменных тумб, Марионеток, Четырех ветров, Спасителя и Сутенеров.

Она пройдет через Шарантонскую заставу, вернется через заставу Трона и последует далее по улицам Дере-

вянной шпаги, Святого Филиппа, Воришек и Славных ребят.

Процессия сделает остановку на площади Конференции и далее пойдет по улице Мира, по боковым путям и по улице Картонного плясуна; затем закончит свой путь, если возможно, по Гентскому бульвару, по бывшим улицам Дофина, Ангулемской, Беррийской, по улице Мадмуазель, герцога де Бордо, Карла X, и т. д., и т. д.

Самым тщательным образом следует избегать улиц 27, 28 и 29 июля, а также улиц Сражения, Общественного договора, Лафайета и Вашингтона, равно как площади Победы, а особенно улицы Мостовой и улицы Малой Польши.

Впереди названной процессии будет выступать рота национальных гвардейцев, именно тех, что ворвались галопом в переулок Веро-Дода, чтобы установить там порядок, и рубили саблями спрятавшихся в лавках нарушителей спокойствия, кричавших «Да здравствует Польша!». Национальные гвардейцы, разумеется, наденут свои «чапки», единственное, что есть у них польского.

Замыкать шествие будет батальон, который отличился во время восстания в галереях Пале-Рояля, бросившись в штыковую атаку на толпу детей, нянюшек и стариков. Эти воины постараются и на сей раз довести свое чувство преданности до полного опьянения.

Министры будут восседать в колеснице, влекомой английскими и казачьими лошадьми и французскими мулами. Головы мулов будут украшены павлиньими перьями, дабы явить одновременно двойной символ: бессилия и самонадеянности. Колесница — с той целью, чтобы возможно более походить на античную колесницу,— будет взята у подрядчика, ведающего очисткой города.

Процессия должна состоять:

1) Из двухсот двадцати одного одетых в белые одежды и пешком следующих за министрами. Они обязаны придерживаться золотой середины улицы, если хотят быть верными своей системе.

2) Из шпиков и полицейских. От этой повинности освобождаются лишь те, кто был убит во время последнего восстания.

3) Из итальянцев, бельгийцев и поляков, находящихся в настоящий момент в Париже. Они примут участие в шествии, с обнаженными головами, со связанными за спиной руками и выражая самый бурный восторг. В противном случае они будут лишены серого хлеба и права убежища и высланы из Франции, дабы могли они вкусить, каждый на своей родине, все услады амнистии.

4) И больше никого; поскольку народу запрещается принимать участие во всенародном торжестве. Однако при условии, что это не нанесет ущерба будущему, на сей раз его не будут рубить саблями, если он обещает сидеть дома и вести себя благоразумно.

Освещение Пантеона будет обеспечено г-ном Ганнероном, владельцем свечной фабрики, наиболее просвещенным из двухсот двадцати одного.

Как только процессия вступит в Пантеон, оркестр из «Кафе слепых» исполнит симфонию в тоне фа, посвященную г-ну Себастиани, и кантату, сочиненную г-ном Вьенне на мотив арии из «Парижанки», которая заканчивается следующим рефреном:

Скоро русские придут,
Нам все кости перебьют,
Нас убьют и мир дадут.
Это сбудется все, право.
Министерству честь и слава!

Поэзия тут не очень богата, но глубоко правдива: она основана на исторических документах, заранее подготовленных г-ном Гизо. Вы хорошо понимаете, что г-н Гизо не может вам в угоду переделать свою заранее написанную историю Июльской революции.

Затем послы Пруссии, России, Австрии и Англии произнесут речи в честь министерства. Затем папский нунций даст министрам отпущение грехов, в котором они крайне нуждаются, и от имени его святейшества разрешит им поцеловать свою туфлю.

Вслед за этим министры, заживо набальзамированные, будут опущены в склепы храма. В случае, ежели скромность их воспротивится оказанию таких почестей, они будут водворены туда силой. Для этой цели воспользуются услугами июльских молодцов. На их усердие можно положиться.

Однако не все министры без различия будут погребены в славных катакомбах. Только гг. Сульт, Казимир-Перье и Себастиани будут удостоены этой чести, как лица, по самому своему положению наиболее ответственные за славный разгром Болоньи, Брюсселя и Варшавы. Остальные, а именно гг. Аргу, Монталиве, Барт и аббат Луи, будут попросту упакованы, увязаны, запечатаны и замурованы в нишах, подобно древним мумиям. Они будут выставлены перед вратами Пантеона. Большего они не стоят. И, наконец, когда станет точно известно, что за свои выдающиеся заслуги министры безвозвратно погребены в Пантеоне, во всем Париже вспыхнет иллюминация и народ сможет свободно кричать: «Да здравствует свобода!»

Примите, господа, дань нашего искреннего восхищения вашими патриотическими доблестями.

Альфред Кудре.

Примечание.— Вышеуказанная петиция вывешена в переулке Веро-Дода, в конторе газеты. С каждой минутой под ней появляется все большее количество подписей. Среди них мы видим подписи наиболее уважаемых людей нашего времени, а именно гг. Обера, Гранвиля, Филипона, Одибера, Декана и Дервиля, издателей, художников и редакторов «Карикатуры». Мы не сомневаемся, что все добропорядочные граждане поспешат к ним присоединиться. Патриоты провинции могут легко сделать это по почте. Смотри в конце стоимость подписки.

«Карикатура», 6 октября 1831 г.

КИТАЙСКИЙ СПОСОБ ВЫСМЕИВАТЬ СБОРЩИКОВ ПОДАТЕЙ

Это происходило в Китае, вскоре после нашествия татар. Я называю татарами то полчище разбойников с плоскими носами, которое во главе со своим вождем перескочило в один прекрасный день через великую стену (о! это был поистине прекрасный день!) и ринулось на империю Конфуция, чтобы разодрать ее в клочки; поскольку эти скоты страшно изголодались, обычные ресурсы не могли их удовлетворить. Были введены новые налоги, и введены они были на все решительно. Китаец не мог шагу ступить, слова сказать, даже воды напиться, чтобы не заплатить какую-нибудь подать. Он платил за то, что у него есть голова, глаза, легкие; другими словами, его обложили данью за каждую дверь, за каждое окно. Воздух достиг цены непомерной. Еще один сантим, и только богачи могли бы позволить себе прихоть дышать; воздух стал бы предметом роскоши. Но уже и тогда человек из народа, который едва зарабатывал на пропитание, жилье и одежду, рабочий, обремененный многочисленным семейством, не мог себе этого позволить; у него не хватало денег на то, чтобы дышали его жена и дети. У него был неочищенный рис — это было доступно,— вода и солома; но этого было недостаточно: он нуждался в солнце, он нуждался в воздухе, а солнце и воздух так вздорожали, что он вынужден был обходиться без них.

Что же сделал тогда китаец? Китаец изобретателен: в цивилизации он далеко опередил нас; он знал порох

еще в те времена, когда мы убивали друг друга дубиной; он умел печатать, когда мы еще не умели читать. Что же он сделал? Революцию? Увы! Революцию не сделаешь в любой день. Он проявил изобретательность, не выходя из рамок законного порядка. Закон требовал такую-то сумму за каждое окно: он забил окна. Закон занялся табачной торговлей: отныне в семье выкуривали не больше одной трубки; дым передавался изо рта в рот. Закон требовал подати с двери: китаец забил двери и выходил из дому только через трубу. Закон, наконец, взимал налог с человеческой головы, как раньше с головы скота: китайцы стали заживо хоронить себя. Нуждающаяся семья, состоявшая, например, из восьми членов, сокращалась до одного, двух, трех, четырех человек, в зависимости от ее возможностей; остальные прятались под мебелью, в больших чанах, в бочках; а не то приказывали замуровать себя в стену, чтобы стать недвижимыми и избежать таким образом подушной подати. Когда налоговые агенты являлись, чтобы произвести перепись, они бывали вынуждены менять все расчеты и сводить их почти к нулю. К тому же им еще приходилось пролезать через трубу. Это их оскорбляло.

Таким образом, китаец перестал платить налоги, но по-прежнему уважал законный порядок и оставался хорошим гражданином и хорошим китайцем.

А к чему привела невозможность взимать налоги?

Этого я не знаю. Дальше мои изыскания не пошли; когда я найду ответ, я немедленно вам сообщу. А пока согласимся в том, что все мы много счастливее китайцев. Ничего подобного мы во Франции не видим. Не правда ли?

«Карикатура», 8 декабря 1831 г.

ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

Господин Бенжамен из Амбигю-Комик был настолько любезен, что предоставил в наше распоряжение нравственную мерку, которой он недавно пользовался, сопоставляя относительные размеры преступления и добродетели. Спешим опубликовать первые наши наблюдения:

Первая степень преступления

Просидеть при свергнутом режиме несколько лет в тюрьме за участие в заговоре или мятеже либо за недозволенное выступление в печати.

Первая степень добродетели

Принести присягу Республике, Консульству, Империи, первой Реставрации, второй Империи, второй Реставрации и Луи-Филиппу и сохранить в себе запасы верности еще десятку различных правительств.

Вторая степень преступления

Сражаться во время трех дней. *Отягчающее обстоятельство:* совершить это во имя республики или Наполеона II, а отнюдь не затем, чтобы создать общественное положение г-ну Орлеанскому, герцогу де Нейи.

Вторая степень добродетели

Прятаться во время трех дней в своем погребе. *Равнозначащее обстоятельство:* стараться поладить с Карлом X, а после победы народа вступить в переговоры с Генрихом V и отказаться подписать акт о лишении престола.

Третья степень преступления

Осмеливаться утверждать после революции, что произошла революция, и требовать соответствующих выводов.

Третья степень добродетели

Покупать ружья в Англии или пользоваться известиями, переданными по телеграфу, для игры на бирже.

Четвертая степень преступления

Не являться чиновником, носить серую шляпу, быть избитым рабочими, «дающими уроки порядка», как выражается «Монитер»... по три франка за урок.

Четвертая степень добродетели

Схватить, избить или ранить какого-нибудь беззащитного патриота любого пола.— Nota: возраст патриота ad libitum; во всяком случае, добродетель только выиграет, если патриот будет очень молод или очень стар.

Пятая степень преступления

Опубликовать карикатуру, изображающую правительство в виде папаши Гаше, замазывающего известкой следы июльских пуль.

Пятая степень добродетели

Замазать известкой вышеупомянутые следы, писать в «Мессаже», говорить глупости с трибуны, испрашивать для короля цивильный лист в сумме восемнадцати миллионов и называть его сына «радугой», другими словами — утверждать, что радуга въехала на коне в город Лион.

Шестая степень преступления

Умирать с голоду из-за отсутствия работы; если же при этом человек имеет наглость домогаться хлеба или работы, а особенно если он не способен платить налоги, он впадает в гнуснейшее состояние. Низшей степени нет.

Шестая степень добродетели

Иметь выгодную синекуру или же быть шуаном и поджаривателем. В подобном случае добродетель рано или поздно восторжествует, получит должность полицейского и будет удостоена июльского креста.

«Карикатура», 15 декабря 1831 г.

КАК СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ШПОРЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО КОМИССАРА МЕШАЮТ ТОРГОВЛЕ

Странная вещь страх; он изменяет характер людей и течение дел. Храбреца он делает трусом, а самым нерешительным придает отвагу. Под его влиянием люди в двадцатиградусную жару спускаются в погреб, рискуя схватить насморк, а карлисты терпеливо дожидаются, пока вся Франция начнет призывать Генриха V. Проявления страха поразительно разнообразны; г-н Жоффруа Сент-Илер отметил как особую ненормальность страх Croupionisa, проявляющийся в результате больших политических потрясений у представителей наций, которые до того времени говорили во весь голос и шагали с высоко поднятой головой.

Что касается меня, то по мне уж лучше страх г-на Мушине, владельца лавки, в которой я покупаю табак. Страх его откровенен и чист, как табак «макуба», точен, как его весы. обоснован, как монета в пять су.

Впрочем, судите сами.

Это было 19 числа сего месяца, когда император Николай при официальном содействии г-на Жиске преследовал уцелевших польских повстанцев даже в городке Бержер.

Господин Мушине вышел из дому несколько минут назад вместе со своим соседом-бакалейщиком. Уходил он с таким самодовольным видом, словно сказал удачный каламбур. Вдруг он прибегает обратно; взор его блуждает, костюм в беспорядке, шляпа съехала набок, рукоят-

ка зонтика обращена к земле. А когда зонтик г-на Мушине опущен рукояткой вниз, это значит, что его владелец испытывает душевное потрясение необычайной силы.

— Жена,— закричал он прерывающимся голосом,— жена, нам грозит ужасное несчастье!

— Что случилось, котик? — спрашивает растерянная г-жа Мушине.— Боже мой! Можно ли так пугать невинную мать пятерых младенцев? Банкир, которому мы доверили свои двадцать тысяч франков, обанкротился?..

— Нет, нет.

— Уж не собирается ли господин Дюшателье открыть магазин нюхательного табака рядом с нашей табачной лавкой?

— Да нет же.

— С нашей малюткой, которую мы отправили к кормилице, приключился родимчик?

— И того хуже. Тащи скорей мериленд, гаванские сигары и турецкий табак и все прячь в ту дыру, что мы проделали в стенке погреба. Снеси туда же серебро и *ценные вещи*. Погоди-ка, вот мои часы и брелоки!.. Теперь я выложу табак попроще, и клади на прилавок второй сорт: пять ящиков дешевого табаку; это их, может быть, смягчит, этих кровопийц!

— Господи! Республиканцы хотят разграбить нашу лавку! Элеонора, неси в погреб пенковые трубки и ящик с табакерками!

Тут в лавку входит молодой человек с козлиной бородкой и в кожаной шляпе.

Молодой человек. Четвертку мерилендского табаку, пожалуйста.

Господин Мушине. Сейчас такого нет: остался только обыкновенный табак, сударь...

Молодой человек уходит.

— Боже мой! Видишь, жена, он хотел меня прощупать, этот негодяй! Но я тоже здорово провел его!

— Да скажи, наконец, Мушине, в каком квартале бунтуют?

— Бунт еще не начался, женушка. Но все-таки приготовь мой мундир, а то, дай им только волю, они, чего доброго, назначат на вечер собрания выборщиков и провозгласят республику при свете факелов!

— Как, Мушине, ты связался с этими безнравственными поджигателями?..

— Э, душечка, я всего лишь торговец табаком, но сегодня утром я был у полицейского комиссара, чтобы получить патент для бакалейщика из угловой лавки, и...

— А! Комиссар сказал, что ожидаются беспорядки?

— Нет.

— Он составлял правила общественного порядка для рабочих?

— Да нет же.

— Так что же тогда? Говори, я вся иссохла от страха!

— Так вот, женушка... на сапогах полицейского комиссара были шпоры!

«Карикатура», 29 декабря 1831 г.

ДВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ, ИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ВЫЙТИ В ЛЮДИ

Речь идет о судьбе двух проходимцев, Рипопетта и Маклу.

Эти два проходимца были контрабандистами в те времена, когда Карл X был законным королем; и надо отдать им справедливость, никто так ловко не *ссаживал* таможенных стражников, как они.

Князь Полиньяк нередко получал через них кружева; а я очень любил их табак. Другого я и не курил. Позвольте прервать мой рассказ и затянуться еще разок. Вот и готово.

Однажды, вместо того чтобы угощать выстрелами таможенников, они угодили под выстрелы сами. По крайней мере Рипопетт, который получил законную пулю в левую ягодицу, после чего стал волочить левую ногу.

Что касается Маклу, то ему достался удар тесаком поперек лица, и теперь он дергается и гримасничает, как одержимый.

Это, натурально, отбило у них вкус к ремеслу. Они прибыли в Париж, имея в запасе две раны, и стали просителями. Тогда это было модно. Они явились к министру, один волоча ногу, другой отчаянно гримасничая. Оба заявили, что были ранены на баррикадах. К несчастью для Маклу, который был ранен в лицо, ему поверили на слово,— и, разумеется, не дали ничего.

Больше того, его выставили за дверь.

Рипопетту, который был ранен сзади, как трус,— не поверили: и тогда ему дали какое-то пособие.

Они проели его вместе. Когда все было съедено, они начали голодать. Они захотели работать честно. Работы нет.

Они захотели работать бесчестно. Работы сколько угодно.

Они, однако, не взялись за торговлю английскими ружьями, это им было не по плечу; но они нанялись изображать по торжественным дням общественный энтузиазм, шныряя в толпе и выкрикивая, как бешеные: «Да здравствует такой-то!» Так это делалось всегда, даже при Бонапарте.

Настало 14 июля, великий день для убийц. Рипопетт и Маклу присоединились к другим приверженцам общественного порядка и королевской власти, установленной в июле. С тринадцатого числа они сидели у Суше, наполняя желудки вином и грюйерским сыром в честь короля. Им пообещали по три франка и великолепное место. Они уж поверили, что настал конец их злоключениям; в счастливых снах перед ними витали все услады, связанные с хорошим жалованьем и чистой совестью.

И они убивали.

К несчастью, по окончательному счету ими были убиты всего пятьдесят два республиканца, из них двадцать пять женщин, тринадцать детей и двенадцать стариков. Суше и Арман действовали получше. Они показали в три раза больше преданности существующему порядку. За это им предоставили место, но не дали трех франков.

Единственная выгода, извлеченная Рипопеттом и Маклу из их патриотизма, заключалась в серой шляпе и сюртуке, которые были отняты у вечных врагов общественного спокойствия и частной собственности и позволили обоим героям *выфрантиться* вовсю.

Между тем порядок был восстановлен, и Рипопетт и Маклу, упустив возможность стать полицейскими, занялись по вечерам кражей носовых платков, а по утрам выкрикивали заголовки из «Монитера». К несчастью, опять же, никто не покупал их «Монитер», а цена носовых платков упала так низко, что на заработок от двух профессий нельзя было и воды напиться.

Вот почему в один прекрасный день они бросились в

Сену и утопились вдвоем, что по крайней мере послужило им некоторым утешением.

— Но,— спросите вы,— что же они делали после того, как утопились?

Сейчас узнаете.

Дело в том, что они утопились не до конца; один утонул наполовину, другой — на три четверти. Жизнь в них только замерла. Их выудили. А выудив, им поставили клистиры из табачного дыма, чтобы очистить внутренности; налепили банок по всему телу; исчерпали все средства науки, сделали все, чтобы вернуть их к жизни. Для самого Луи-Филиппа не сделали бы больше. Когда они были возвращены к жизни, у них спросили, есть ли им на что жить, а так как они ответили: «Нет»,— их судили и приговорили, в наказание за то, что они живут, одного к двум месяцам тюрьмы, другого к двум с половиной. Почему такая разница? Не могу сказать. Игра случая.

— Но стоило ли,— скажете вы,— ставить им клистиры из табачного дыма?

Я согласен с вами. Возможно, что и не стоило, но так уж водится у цивилизованных народов. Людям не дают броситься в воду; требуют, чтобы они жили, хотят они того или нет; да еще, чтобы жили хорошо,— и все только из человеколюбия. В случае надобности им трижды прикажут жить, после чего в них будут стрелять, чтобы принудить их жить,— тоже из человеколюбия.

Однако вернемся к нашему рассказу.

В указанные сроки Рипопетт и Маклу вышли из тюрьмы. Так как человеколюбие принесло им не много прибыли, да к тому же началась зима и вода была слишком холодной, а топиться приятно только летом, то им пришлось изобретать другие способы жизни или смерти. Хотя они находились еще врозь, но оба пришли к одной и той же идее — идее, как увидите, весьма хитроумной.

Однажды на склоне дня, среди густого тумана, Рипопетт увидел на Вандейской дороге какого-то человека, и Маклу тоже увидел какого-то человека.

— Стой! Давай кошелек и кричи: «Да здравствует Генрих Пятый!» — сказали они и прицелились.

Увы, добычей Маклу оказался Рипопетт, а добычей Рипопетта — Маклу.

— Как! Это ты!
— Это ты!
— Что ты теперь делаешь?
— Занялся защитой трона и алтаря.
— Я тоже. Я стал шуаном.
— У кого ты?
— У Дио. А ты?
— От себя работаю.
— Давай поцелуемся.

И действительно, они стали шуанами. В наше время это — отличное положение. Можно сказать, не хуже королевского, лу́чшего я не знаю. Однако недостаточно быть просто королем или просто шуаном. Нужно быть хорошим королем, нужно быть хорошим шуаном... нужно блистать на своем поприще. Но опять же, к несчастью, у Маклу не было призвания к своему делу; он убивал встречных и поперечных без толку и смысла; он убил даже многих, но так, как это сделал бы заурядный разбойник. Это было не то. И что же произошло? Его схватили и казнили по закону, несмотря на могущественную протекцию Рипопетта. Он кончил прозаически. Что же касается Рипопетта, о, это совсем другое дело. Рипопетту мало было убивать путников, чтобы присваивать их деньги и внушать им любовь к законной династии. Рипопетт пошел дальше, он нападал на дилижансы, поджигал, насиловал, *поджаривал*. Рипопетт всегда был честолюбив. Его имя наводило ужас не меньше, чем имя самого Дио; и наконец, чтобы избавиться от него, власть, которая не в силах была его схватить, завлекла его, обласкала, амнистировала и щедро наградила.

Вот и имей после этого, если хочешь выбиться в люди, неприхотливый вкус, кроткий нрав и бескорыстное сердце, как у несчастного Маклу!

Теперь Рипопетт счастлив; он занимает хорошее место, не знаю, какое именно, и хлопочет об ордене Почетного легиона.

Почем знать?

Ведь так начинался и славный род Монморанси.

«Карикатура», 26 января 1832 г.

ФИЛИПОТЕН

I

ФИЛИПОТЕН

Филипотен ни мал, ни велик ростом, ни толст, ни тонок; ясно только одно: он принадлежит к мужскому полу. У него есть голова, поскольку она есть у всех; но ни одна яркая черта не отличает ни эту голову, ни другие составные части его личности; он даже не совсем был бы уверен, что они принадлежат именно ему, если бы кому-нибудь вздумалось это оспаривать.

Одаренный такими приятными личными качествами, Филипотен постарался занять свое место в обществе по той простой причине, что свое место есть у каждого: он стал бакалейщиком. Это было в 1815 году. После того как он приобрел вывеску, надо было подумать и о приобретении политических взглядов. Филипотен знал многих бонапартистов: однажды один из них назвал его *либералом;* перепуганный Филипотен бросился к себе в спальню, зарывшись в тюфяки, закричал: «Да здравствует император!» — и на другой же день подписался на три месяца на газету «Конституционель».

Потом Франция потеряла Людовика XVIII, а Филипотен — дядюшку; Франция взяла себе Карла X, а Филипотен — жену; потом Франция прогнала Карла X, а Филипотен прогнал кухарку. В этом совпадении событий заключалась единственная связь Филипотена с вероломным правительством.

Наступило 27 июля. Филипотен не знал, что ему де-

лать, так как «Конституционель» не вышел; посему он воздержался от действий. 28 июля он обошел свои погреба, чтобы проверить сохранность сыров и масла. К вечеру 29 июля его негодование разразилось в полную силу; он рвался на приступ Лувра, и его удалось остановить только сообщением, что патриоты захватили Лувр еще утром.

Именно с этого дня и началась политическая жизнь Филипотена. Однажды он отправился к одному несостоятельному покупателю, чтобы взыскать с него долг по просроченному счету. Он спросил деньги — ему предложили кресло; он предъявил счет — ему вручили грамоту; он пришел простым бакалейщиком без всяких отличий, а вернулся удостоенным июльской награды. Тут он подписался на «Конституционель» на полгода.

Патриотические посулы, которые он читал в газете на каждой полосе, приводили его в восхищение, потому что ими восхищались все; но случилось так, что Филипотена охватило также особое, лично ему принадлежащее восхищение, когда королевская рука пожала его гражданскую руку. Две недели нельзя было уговорить его вымыть эту историческую часть тела; в тот день, когда он, наконец, подчинился, с его уст сорвалось знаменательное восклицание:

— Ах! Вот подлинный король лавочников. «Конституционель» этого еще не сказал, но это так!

С этого момента для Филипотена существовали только мечты об общественном порядке; жизнь его превратилась в сплошные смотры, караулы, строевые занятия, аресты и патрулирование. Бескозырка сменила меховой картуз, военные брюки он носил, не снимая. Как-то он даже скомандовал «На кра-ул!» покупателю, спросившему у него шоколаду.

Но однажды произошел случай, несколько охладивший пыл Филипотена. Его рота блестящим образом атаковала нескольких беззащитных граждан, одного из них он собственноручно проткнул штыком и опрокинул на мостовую.

«Как! — подумал Филипотен.— Я, самый мирный человек на земле, убил человека, а ведь у меня никогда не хватило бы смелости даже оцарапать казака!»

И он отправился к своему старому клиенту рассказать о терзавших его угрызениях.

Тот выслушал его и спокойно ответил:

— Прежде всего пришлите мне завтра три сахарные головы и десять фунтов свечей.

Затем он объяснил, что убитый был не человек, а нарушитель порядка, враг трона и прилавка, и хорошо, что Филипотен избавил от него отечество, каковое не преминет по этому случаю пожаловать ему, Филипотену, домашний Пантеон, то есть орден Почетного легиона.

А так как Филипотена, казалось, по-прежнему терзали сомнения и он высказывал мысли, которые никак не мог почерпнуть в «Конституционеле», клиент заверил его, что постарался бы приобщить его вместе с супругой к придворным развлечениям и балам и ввел бы его во дворец, где, несомненно, уже стали известны его заслуги и преданность, если бы, к несчастью, одежда четы Филипотен не была насквозь пропитана запахом имбиря и корицы, ненавистным для французской аристократии.

Видя уже себя при дворе, Филипотен в восторге упал перед своим клиентом на колени и поклялся завтра же продать все свои бакалейные запасы; но когда вместе с дыханием к нему вернулся здравый смысл, он спросил, а что же он станет потом делать, он, рожденный быть бакалейщиком и Филипотеном? Тогда ему дали понять, что его, несомненно, устроят соответственно его высоким заслугам и патриотизму и он вступит в ряды многочисленных должностных лиц, которые обязательно понадобятся, когда у короля-гражданина будет *настоящий дом*. Через неделю у Филипотена дома уже не было.

Он ждал, полный надежд. И вот, когда цивильный лист был проголосован и утвержден, Филипотен, считая, что все королевские замки и дворцы могут уже составить *неплохой дом*, решил, что его дело в шляпе, и побежал к своему клиенту. Беседа с ним пополнила политическое образование Филипотена, научив его, что неторопливость и зрелое размышление являются правилом поведения всякого сильного правительства и что нельзя делать все сразу.

Вынужденный подчиниться доводам, которые он и сам повторял каждый день, Филипотен отправился домой и стал ждать с достоинством благонамеренного подданного.

Заняв новое положение и не зная куда девать время, Филипотен сделал рвение своей профессией. Он не пропускал ни одного официального бала, ни одной караульной службы. Кроме того, он поносил республику, произносил речи против «сына великого человека», разил сарказмами сторонников герцога Ангулемского и кричал: «Да здравствует золотая середина!» Так он заранее стал беззаветным защитником системы, которой сам не понимал, но считал своей в силу связанных с нею надежд.

Филипотен начал тратить вторую четверть своего капитала и подписался на «Конститюсьонель» на весь год.

II

ДОМАШНИЙ ОЧАГ ФИЛИПОТЕНА

Все в доме Филипотена овеяно одушевляющими его чувствами. По стенам столовой тянется длинная вереница портретов. Можно подумать, это портреты предков, но ничуть не бывало,— это портреты монарха и его многочисленной августейшей семьи.

Гостиную украшают две большие картины: знаменитые битвы при Жеммапе и Вальми. Их окружают другие полотна, поменьше, на коих воспроизведены различные сцены, посвященные политической и научной деятельности, а также путешествиям его высочества герцога Орлеанского. Филипотен берет вас за руку и объясняет вам одну картину за другой; если в пылу повествования ему изменяет память, — достаточно перевернуть картину; содержание ее написано на изнанке во всю длину полотна.

Обстановка в доме Филипотена также отмечена хорошим вкусом, свойственным всем его склонностям. Обои в гостиной составлены из узеньких красных, белых и синих полосок, что придает этой комнате сходство с полотняным навесом над террасой кафе. Мебель ему тоже удалось обить трехцветной материей; можно подумать, что

на диванные подушки и кресла Филипотена пошла обивка со всех его матрасов.

Вначале одним из самых больших волнений в жизни Филипотена был выбор костюма — такого костюма, который весь целиком и в каждой своей части служил бы ему защитой от всяческих подозрений и заблуждений на его счет, а главное, оберегал бы от неприятности быть убитым в качестве врага трона и прилавка. Когда в моде на фасоны шляп и панталон случались кризисы, он каждые три часа посылал в верное место узнавать, какая именно одежда является признаком благонамеренности. Таким образом он сохранил себе жизнь, а также уважение своего бывшего клиента.

Теперь принципы Филипотена стали более устойчивыми, ибо он начал понимать самое основное. Так, например, из туалетов его жены были навсегда изгнаны белый и зеленый цвета, что придавало платьям этой дамы несколько странный и непривычный вид. Цифра V произносилась в доме Филипотена крайне редко и всегда шепотом. Наконец, кухарке было запрещено подавать к столу груши под страхом наказания по всей строгости закона.

Оставалось облачить в патриотические цвета Пулотена.

Пулотен — это сын Филипотена, шестилетний крепыш, который не столько употребляет, сколько теряет носовые платки, но все же подает большие надежды, если принять во внимание, что когда маршал Лобо позволяет ему сопровождать отца на смотр, он кричит: «Да здравствует король-гражданин!» — до тех пор, пока он сам и все его маленькие товарищи не осипнут окончательно.

Одеть его национальным гвардейцем — идея заурядная, по одному этому она должна была прийти на ум Филипотену. Но идея разрослась, расширилась и привела к весьма примечательному проекту, осуществить который и поторопился Филипотен. Он решил соединить все роды оружия доблестной национальной гвардии в лице Пулотена, прямого и единственного наследника всех его настоящих и будущих надежд. И вот он заказал ему семь мундиров. В понедельник Пулотен был гренадером; во вторник — артиллеристом; в среду — стрелком; в четверг — охотником; в пятницу — гвардейцем

предместья; в субботу — пожарным, а в воскресенье, весь сверкая галунами, он изображал спешившегося конного гвардейца.

В первые дни этой национальной роскоши Пулотен по праву мог считаться самым нарядным солдатом-гражданином in partibus [1] в своем квартале. Но с каждым днем появлялись все новые пятна или дыры на панталонах, куртке или мундире какой-нибудь военной одежды, а так как ее никогда не удавалось вовремя привести в порядок, то в конце концов это привело к полному смешению родов оружия. И теперь Пулотен объединяет в своем лице все эмблемы почтенной национальной гвардии вперемежку, перестав уже распределять их по дням недели. Он был бы сурово наказан за такую сборную форму, если бы, подобно своему отцу, имел честь стоять на часах перед будкой привратника Тюильрийского дворца.

III

ЗЛОСЧАСТНЫЙ КОНЕЦ ФИЛИПОТЕНА

Это случилось не далее как вчера.

— О! Какая сладостная, восхитительная ночь! — сказал Филипотен, потягиваясь и тараща глаза.— Я видел во сне красное, видел во сне синее, видел трехцветное, я видел даже целую радугу!.. Да, это предвещает счастье всем патриотам!

Филипотен зевнул, протянул руку, чтобы взять газету «Конститюсьонель», и нащупал какое-то письмо; он взял его, вскрыл; это было письмо от бывшего клиента; прочтя его, он едва не лишился чувств от счастья. Покровитель приказывал Филипотену явиться к нему сегодня же в полдень, намереваясь представить его важной особе, которая, наконец, вручит ему назначение на долгожданный высокий пост.

В тот же миг умиленное состояние духа сменилось у Филипотена приступом буйного помешательства. Он прыгал, он кувыркался в одной рубашке и ночном колпаке, поражая своим невиданным и неприличным поведением жену, сына и кухарку.

---

[1] Находящимся *(лат.)*.

Но внезапно, подумав о всей значительности человека, который, несомненно, будет представлен министру, Филипотен обрел спокойствие, приличие и способность оценить требования момента.

— Скорее завтрак! Карету! Казимировые панталоны! Желтые перчатки! Парикмахера! Надушенный платок! Лакированные башмаки! Шпагу! Нет, не шпагу — мешочек с камфарой против холеры!

Пробило полдень, когда Филипотен уселся в карету. Он подгоняет кучера, кучер подгоняет лошадей. Поехали.

И вдруг — остановка.

— Что случилось? — кричит Филипотен в нетерпении.

— Да это, сударь, король отправляется инкогнито в Венсен, и кто-то из свиты, расчищая дорогу, поранил мою лошадь; но ничего, сейчас поедем...

— Эй, кучер, ты что, решил останавливаться на каждом шагу?

— Я пропустил экипаж королевы, сударь, она едет в Нельи...

— Кучер, кучер, будь ты проклят! Что же ты не едешь?

— Прошу прощения, извините, хозяин, но вон едут герцоги Орлеанский и Немурский, они спешат на Марсово поле на военное учение. Я уж лучше пропущу их, а то как бы не ранили и вторую лошадь.

В конце концов Филипотен прибыл к своему покровителю, но на целый час позже назначенного срока. И потому был принят, как принимает провинившегося подчиненного начальник, желающий показать свою власть. Филипотен рассыпался в извинениях; ему удалось умилостивить клиента. Тот сообщил, что желанное назначение у него, и вручил бумагу новому должностному лицу...

Вне себя от счастья, Филипотен развернул ее,— в глазах у него замелькало: префектура! отделение! управление!.. Потом он прочел внимательнее... О! Какой обман!.. Его назначили... привратником Страсбургского замка!

— Такого человека, как я!

Не в силах совладать с этим административным разочарованием, Филипотен разразился обвинениями про-

тив отечества, которое дает такое ничтожное вознаграждение гражданину, пожертвовавшему ради него всеми богатствами своей бакалейной лавки, всем богатством своих убеждений и чуть ли не всеми богатствами, какие только у него были! Тщетно клиент убеждал его, что хороший гражданин украшает любую должность своим патриотизмом,— Филипотен ничего не слушал. Он вышел с блуждающим взором, бросился бегом по улице, забыв о своей карете, ворвался в шляпный магазин и купил себе красную шапку. Через час он попал в арестный дом. Три часа спустя он лежал на больничной койке в жестокой горячке. Вечером несчастного Филипотена не стало!

Nota. Лиц, не получивших извещения о похоронах, просят собраться завтра в редакции «Карикатуры».

«Карикатура», 22, 29 марта, 5 апреля 1832 г.

БАКАЛЕЙЩИК

(2-й вариант)

Люди неблагодарные беспечно проходят мимо священнейшей лавки бакалейщика. Боже вас упаси!

Как бы ни был противен, засален приказчик, какой бы скверный картуз он ни носил, как бы ни был свеж и весел сам хозяин, я гляжу на них с нежностью и говорю с ними почтительно, подобно газете «Конституционнель». Я встречаю похоронные дроги, встречаю епископа, короля и не обращаю на них внимания, но я не могу равнодушно видеть бакалейщика. В моих глазах бакалейщик, всемогущество которого возникло лишь век тому назад, наилучшим образом выражает современное общество. Разве он не столь же возвышен в своей покорности, сколь примечателен своею полезностью, он — неиссякаемый источник сладости, света и благодетельных съестных припасов? Разве он уже не посланник африканский, не поверенный в делах Индии и Америки? Конечно, он — все это вместе и тем более является совершенством, что сам о том не подозревает. Разве обелиск сознает свою монументальность?

Гнусные зубоскалы, где найдете вы такого бакалейщика, который не улыбнется любезно, не снимет картуза при вашем появлении, хотя бы вы даже не притронулись к своей шляпе? Мясник неотесан, булочник бледен и ворчлив, а бакалейщик всегда готов к услугам, и во всех парижских кварталах лицо его сияет любезностью. К какому бы классу ни принадлежал прохожий, очутив-

шийся в трудном положении, он не обратится ни к угрюмой учености часовщика, ни к прилавку, на котором, как бастионы, возвышаются кровавые груды мяса и где царит цветущая супруга мясника, ни к недоверчивому окошечку булочника; среди всех открывших свои ставни торговых заведений он выискивает и выбирает лавку бакалейщика, чтобы разменять пятифранковую монету или узнать дорогу; он уверен в этом человеке, наилучшем христианине среди всех коммерсантов, всегда готовом услужить, хотя он занят больше всех и сам у себя крадет то время, которое дарит вам. И если вы войдете к нему, даже намереваясь обеспокоить его, обложить его налогом, он и тогда, несомненно, поклонится вам; он будет беседовать с вами, даже если разговор перейдет за границы обычного опроса, и потребует откровенных признаний. Легче встретить нескладную женщину, чем нелюбезного бакалейщика. Запомните эту аксиому и повторяйте ее в противовес всем наветам на бакалейщика.

С высоты своего мнимого величия, своего неподкупного разума или своей художественно подстриженной бороды некоторые люди произносили по адресу бакалейщика слово «Рака!». Для них бакалейщик — имя нарицательное, мировоззрение, целая система, фигура европейская и энциклопедическая, не менее заметная, чем его лавочка. Раздаются крики: «Эх вы, бакалейщики!» — и в этом крике оскорблениям несть числа. Пора покончить с Диоклетианами бакалейного дела. За что хулят бакалейщика? За его штаны коричневатого, красноватого, зеленоватого или шоколадного цвета? За мягкие туфли и синие чулки, за картуз из поддельной выдры, украшенный то позеленевшим серебряным галуном, то потускневшим золотым позументом, за фартук, треугольный нагрудник которого прикрывает ему диафрагму? Почтенный символ труда казните в нем вы, подлое общество, лишенное аристократии и трудящееся, подобно муравьям? Или полагаете вы, что бакалейщик не способен глубоко размышлять, менее всех сведущ в искусствах, литературе и политике? А кто же тогда поглотил столько изданий Вольтера и Руссо? Кто приобрел «Воспоминания и Сожаления» Дюбюфа? Благодаря кому совсем истерлись гравировальные доски «Солдата-землепашца», «Похорон бедняка» и «Атаки на заставу Клиши»? Кто пла-

чет, слушая мелодраму? Кто всерьез уважает орден Почетного легиона? Кто становится акционером каких-то немыслимых предприятий? Кого вы видите на балконе Комической оперы, когда там играют «Адольфа и Клару» или «Свидание мещан»? Кто, конфузясь, сморкается, когда во Французском театре поют «Чаттертона»? Кто читает Поль де Кока? Кто восторженно осматривает Версальский музей? Кому обязан успехом «Почтальон из Лонжюмо»? Кто покупает часы с изображением мамелюка, проливающего слезы о своем коне? Кто назовет имена опаснейших депутатов-оппозиционеров и кто оказывает поддержку энергичным мероприятиям правительства против нарушителей порядка? Бакалейщик, бакалейщик, всегда бакалейщик! Во всеоружии идет он навстречу потребностям, самым противоположным, во всеоружии стоит он на пороге своей лавки, не всегда понимая, что происходит, но всему оказывая поддержку своим молчанием, своим трудом, своею неподвижностью, своими деньгами! Если мы не стали еще дикарями, испанцами или сен-симонистами, возблагодарим великую армию бакалейщиков. Она поддерживала все. Она поддержит и то, и другое, и республику, и империю, и легитимистов, и новую династию, поддержит несомненно. Поддерживать — ее девиз. Если она не будет стоять за какой бы то ни было социальный порядок, кому же она будет продавать? Бакалейщик — это «дело решенное», в дни переворотов он отступает или наступает, говорит или молчит. Разве вас не восхищает его вера во все те пустяки, которые становятся общепризнанными? Помешайте-ка бакалейщикам толпиться перед картиной «Джэн Грей», жертвовать деньги в пользу детей генерала Фуа, участвовать в подписке на приют, устремляться на улицу, требуя перенесения праха Наполеона, одевать своего сына, в зависимости от обстоятельств, то польским уланом, то артиллеристом национальной гвардии. Твои попытки будут напрасны, фанфарон-журналист, ведь ты сам первый предоставляешь ему свое перо и свой печатный станок, улыбаешься ему и расставляешь ему силки, предлагая подписаться на твою газету!

Но достаточно ли изучена важность этого внутреннего органа, который необходим для общественной жизни и который, вероятно, был бы обожествлен древними?

Если вы делец, то создаете целый квартал или даже поселок, вы построили большее или меньшее количество домов, вы настолько осмелели, что воздвигаете церковь, вы находите кое-какое население, где-то подбираете педагога, вы создаете нечто напоминающее собой цивилизацию, вы ее состряпали, как паштет (берутся грибы, ножка цыпленка, раки и фрикадельки): тут дом священника, заместителя мэра, полевой сторож и люди, опекаемые властями! Все разрушится, все рассыплется, если вы не свяжете этот микрокосм самой крепкой из социальных связей, каковой является бакалейщик. Если вы замедлите поселить бакалейщика на углу главной улицы, подобно тому как вы водрузили крест на колокольне, то все у вас разбегутся. Хлеб, мясо, портных, башмаки, священников, правительство, балку можно получить по почте, гужевым транспортом или при помощи дорожной кареты; а бакалейщик остается и должен оставаться на месте, вставать первым, ложиться последним, в любой час открывать лавку для покупателей, сплетен и поставщиков. Без него не появилось бы ни одно из излишеств, отличающих современное общество от общества древнего, которому не было известно потребление водки, табака, чая, сахара. Из его лавки проистекает тройственная продукция, отвечающая любой потребности: чай, кофе, шоколад — финал всех настоящих завтраков; сальная свеча — источник всяческого света; соль, перец, мускатный орех — составные части кухонной риторики; рис, турецкие бобы и макароны — необходимые элементы рационального питания; сахар, сиропы и варенье, без которых жизнь стала бы слишком горькой; сыр, чернослив, сухой фруктовый и ореховый набор, который придает десерту завершенность, как уверял Брийа-Саварен.

Но описывать подробно треугольные единства, объемлемые бакалейной торговлей, не значит ли изобразить все наши потребности? И сам бакалейщик являет собой трилогию: он избиратель, солдат национальной гвардии и присяжный заседатель. Не знаю, сердце или камень помещается у насмешников в левой стороне груди, но я лично не в силах вышучивать бакалейщика, ибо вижу в его лавке агатовые шарики в деревянных плошках и вспоминаю, какую роль играл он для меня в мои детские годы. Ах! Какое место занимает он в сердце

мальчишек, которым он продает бумагу для петушков, бечевку для воздушного змея, вертящиеся «солнышки» и засахаренный миндаль! Этот человек, который в своей витрине держит свечи для наших похорон и всегда готов слезой почтить нашу память, постоянно соприкасается с нашей жизнью; он продает перо и чернила поэту, краски — художнику, клей—кому угодно. Игрок проигрался и хочет покончить с собой — бакалейщик продаст ему пули и порох или мышьяк; плут надеется отыграться — бакалейщик продаст ему карты. Вас навещает ваша любовница — без вмешательства бакалейщика вам не удастся предложить ей завтрак; если она посадит пятно на платье, ей не удастся поправить дело без крахмала, мыла и поташа. Если в бессонную ночь вы будете кричать, чтобы вам подали свет, бакалейщик предложит вам красную трубочку изумительного, знаменитого Фюмада, которого не свергнут ни немецкие зажигалки, ни роскошные машинки с клапанами. Даже отправляясь на бал, вы не обойдетесь без услуг бакалейщика. Словом, он продает священнику облатки для причастия, ряженым в дни карнавала — маску, одеколон — прекрасной половине рода человеческого. Тебе, инвалид, он продаст неизменного табаку, который ты пересыпаешь из платка в табакерку, из табакерки в свой нос, из носа в платок,— нос, табак и платок инвалида не являют ли собою образа бесконечности, подобно змее, жалящей собственный хвост? Он продает такие снадобья, от которых умирают, и такие, которые оживляют; он сам себя продал публике, как продают душу сатане. Он — альфа и омега нашего общественного строя. Вы не пройдете ни одной мили, не сделаете ни единого шага, вам не удастся ни преступление, ни доброе дело, ни художественное произведение, ни кутеж, вам не иметь ни любовницы, ни друга, если вы не прибегнете к всемогуществу бакалейщика. Этот человек — цивилизация в лавочке, общество в бумажном фунтике, потребность, вооруженная с ног до головы, это — энциклопедия в действии, жизнь, распределенная по выдвинутым ящикам, бутылкам, мешочкам. Нам приходилось слышать, что иные предпочитали покровительство бакалейщика покровительству короля: одно вас убивает, другое дает вам жизнь. Если вы покинуты всеми, даже дьяволом и собственной матерью, но бакалейщик

останется вам другом, вы заживете, как крыса в головке сыра.

— Нами все держится,— говорят вам с чувством законной гордости бакалейщики.

Добавьте к этому: «Мы за все держимся».

По какой роковой случайности приняли за образец глупости этот стержень общества, это спокойное существо, этого философа-практика, эту промышленность, неизменно активную? Каких добродетелей не хватает ему? У него есть все. Для облика Парижа большое значение имеет в высшей степени благородная натура бакалейщика. Взволнованный какой-нибудь катастрофой или праздничеством, не появляется ли он почти ежедневно во всем блеске своего мундира, после того как в штатском платье присоединялся к оппозиции? Движутся шеренги бакалейщиков, мягкими синими линиями колышутся их бескозырки на похоронах прославленных покойников или на торжественном шествии живых, любезно выстраиваются они цветущими шпалерами при въезде какой-нибудь новобрачной из королевской семьи. Постоянство бакалейщика баснословно. Только он имеет смелость каждодневно гильотинировать самого себя туго накрахмаленным воротничком сорочки. С какой неиссякаемой щедростью развлекает он покупателей одними и теми же шуточками! С какими отеческими утешениями берет он два су у бедняка, у вдовы, у сирот! С каким чувством скромности входит он к покупателям, занимающим важный пост! Вы скажете, что бакалейщик ничего не умеет создавать? Кенкет был бакалейщиком, однако после изобретения Кенкета его имя сделалось нарицательным, он положил начало ремеслу ламповщика.

Ах! Если бы бакалейщики не захотели быть поставщиками пэров Франции и депутатов, если бы они отказались продавать плошки для иллюминаций, провожать пешеходов, сбившихся с дороги, подавать милостыню прохожим и стаканчик вина женщине, упавшей в обморок возле тумбы на улице, не спрашивая при том, кто она такая; если бы кенкеты у бакалейщика не конкурировали с газом, их соперником, гаснущим в одиннадцать часов, если бы бакалейщик перестал подписываться на газету «Конститюсьонель», если бы он стал прогрессистом, если бы он поносил премию Монтиона, если бы он от-

казался командовать своей ротой и презирал бы крест Почетного легиона, если бы ему вздумалось читать книги, которые идут у него «на завертку» разрозненными листками, если б он слушал симфонии Берлиоза в консерватории, восхищался в свое время картинами Жерико, перелистывал Кузена, понимал Баланша, то он был бы человеком погибшим, достойным того, чтобы из него сделали куклу, которую то бросают вниз, то поднимают кверху и вечно принаряжают — по прихоти голодающего живописца, неблагодарного писателя или сенсимониста, впавшего в отчаяние. Сограждане, всмотритесь же в него! Что вы видите? Вообще говоря, человека низенького, толстощекого, с животиком, хорошего отца, хорошего супруга, хорошего хозяина. Этим все сказано.

Кто представлял себе счастье иначе, как в образе молоденького румяного приказчика бакалейной лавки, который в синем фартуке стоит на пороге, игриво поглядывает на женщин и восхищается своей мещаночкой; он беден, с покупателями смешлив, довольствуется билетом в театр, считает своего хозяина ловкачом и страстно ожидает того дня, когда он сам, подобно хозяину, будет бриться перед круглым зеркальцем, пока жена готовит ему сорочку, галстук и панталоны. Вот подлинная Аркадия! Быть пастушком во вкусе Пуссена — это уже не в наших нравах. Но если вы станете бакалейщиком, если притом ваша жена не заведет шашней с каким-нибудь греком, который отравит вас вашим же мышьяком, вы добьетесь счастливейшей доли человеческой.

Художники и фельетонисты, жестокие насмешники, оскорбляющие талант так же часто, как бакалейщика! Допустим, что круглое брюшко должно побуждать ваши карандаши к злым карикатурам. Да, к сожалению, некоторые бакалейщики, беря в строю на караул, выставляют рабле зианское брюхо, которое на смотру нежданно нарушает достигнутое равнение рядов национальной гвардии, и мы слыхали, как страдающие одышкой полковники горько жаловались на это. Но кто может представить себе худого и бледного бакалейщика? Он был бы опозорен, он пошел бы по следам страстных натур. Что греха таить, у бакалейщика выпирает животик. Живот был и у Наполеона и у Людовика XVIII — без него не обойдется и палата. Два знаменитых примера! Но если вы

подумаете о том, что он более доверчиво относится к задатку, чем наши друзья к собственному кошельку, то вы станете восхищаться этим человеком и простите ему очень многое. Не будь он подвержен банкротству, он был бы прообразом добра, красоты и пользы. С точки зрения людей разборчивых, его пороки сводятся лишь к тому, что он не налюбуется на свою дачку, в четырех лье от Парижа, своим садиком, величиной с носовой платок, что он украшает кровать и окна в спальне желтыми ситцевыми занавесками с рисунком из красных розанов, что у него мебель обита дешевым плюшем и украшена пестрыми кистями; он — неизменный почитатель этих скверных материй. Обычно смеются над брильянтом в его сорочке, над обручальным кольцом у него на пальце; но первый означает, что он — человек солидный, второе возвещает, что он — человек женатый, а ведь никто не в состоянии вообразить бакалейщика без жены. Жена бакалейщика разделила его участь даже в аду французской насмешливости. И почему ее собираются отдать на заклание, делая ее таким образом жертвою вдвойне? Она будто бы желала получить доступ ко двору. А какая женщина, посаженная за конторку, не испытывает потребности выйти в свет, и куда же идти добродетели, как не к подножию трона? Ведь она добродетельна: неверность редко парит над головой бакалейщика; и не в том дело, что его жене будто бы недостает прелести, присущей ее полу, нет, ей недостает удобного случая. Как доказано примерами, жена бакалейщика может найти выход своей страсти только путем преступления, так хорошо ее стерегут. Теснота помещения и обилие товара, который поднимается со ступеньки на ступеньку (здесь — свечи, там — головы сахара) вплоть до порога супружеской спальни — вот стражи ее добродетели, всегда доступной взорам посетителей. Итак, вынужденная оставаться добродетельной, она настолько привязывается к мужу, что даже худеет, как большинство жен бакалейщиков. Наймите кабриолет по часам, объездите Париж, посмотрите на жен бакалейщиков: все они худые, бледные, желтые, осунувшиеся. Спросите гигиениста, он скажет о миазмах, испаряемых колониальными товарами; посоветуйтесь с патологом, он кое-что расскажет вам про то, что значит сидеть, не вставая, за конторкой, постоянно напрягать

голос и руки, сохранять неусыпное внимание; он расскажет и про холод, который входит в вечно открытую дверь и окрашивает нос в красный цвет. Быть может, наука, бросая в лицо любопытным эти доводы, не осмеливается признаться в том, что супружеская верность является для бакалейщиц чем-то роковым; быть может, наука боится огорчить бакалейщиков, наглядно объясняя им неудобства, претерпеваемые добродетелью. Как бы то ни было, именно в тех самых семьях, которые у вас на виду едят и пьют за стеклом той огромной банки, которая иначе именуется комнатой при лавке, оживают и процветают сакраментальные нравы, делающие честь узам Гименея. В каком квартале ни производили бы вы опыт, никогда бакалейщик не произнесет легкомысленно: «моя жена», но скажет: «моя супруга». В словах «моя жена» подразумеваются нелепые, странные, низкопробные идеи, подменяющие божественное создание вещью. У дикарей — жены, а у цивилизованных народов — супруги, то есть девушки, явившиеся в мэрию между одиннадцатью и двенадцатью часами дня в сопровождении бесчисленных родственников и знакомых, в венке из флердоранжа, который на веки вечные будет спрятан под стеклянный колпак каминных часов, чтобы мамелюк оплакивал не только коня.

А когда бакалейщик, все еще гордясь победой, ведет свою жену по городу, его чванливость привлекает внимание карикатуриста. Он до такой степени счастлив, что оставил свою лавку, его супруга так редко наряжается, ее платье так пышно, что бакалейщик вместе с супругою занимает больше места на улице, чем всякая другая чета. Избавившись от картуза из меха выдры, от закругленного жилета, он был бы вполне сходен со всяким другим гражданином, если бы не называл свою супругу «мой дружок» всякий раз, когда ему приходится указывать ей на перемены, происшедшие в Париже и неизвестные ей потому, что ее обычный мир ограничивается прилавком. А если иной раз он отважится в воскресенье предпринять загородную прогулку, то усаживается в самой пыльной части Роменвильского, Венсенского или Отельского леса и приходит в восторг от чистоты воздуха. И как он ни переодевайся, вы его всюду узнаете по манере говорить, по воззрениям, которые он высказывает.

Вы едете в мальпосте в Мо, Мелен или Орлеан; против вас сидит закутанный человек, недоверчиво поглядывающий на вас; вы теряетесь в догадках, кто же этот молчаливый гражданин. Присяжный стряпчий? Или новый пэр Франции? Или государственный чиновник? Дама болезненного вида рассказывает, что она недавно оправилась от холеры. Завязывается разговор. Незнакомец вмешивается:

— Мосье...

Этим все сказано, бакалейщик выдал себя. Бакалейщик никогда не произносит ни «месье», что кажется деланным, ни «мсье», что кажется бесконечно презрительным; он обрел свое победоносное «мосье», которое заключает в себе нечто среднее между почтительностью и покровительством, передает его соображения и сообщает всей его особе сочную колоритность.

— Мосье,— скажет он вам,— в холерный год трое самых что ни на есть важнейших докторов, Дюпюитрен, Бруссе и мосье Мажанди, лечили больных каждый по-своему, и все померли, без малого все. А что такое холера, им неизвестно, холера же — болезнь, и от нее мрут. Кого я только ни видал, все находились при смерти. Холерный год доставил много убытков коммерции!

Вы пытаетесь разузнать его политические взгляды. Его политика сводится к следующему:

— Мосье, на мой взгляд, министры сами не понимают, что делают! Сколько их ни меняй, все одно и то же. Зато у императора они по струнке ходили. Вот это был человек! Потеряв его, Франция потеряла очень много. И подумать только, никто его не поддержал!

Вслед за этим вы обнаруживаете у бакалейщика некие благоговейные чувства, весьма заслуживающие порицания. Песенки Беранже — его евангелие. Да, эти противные припевы, приправленные политикой, принесли зло, которое еще долго будет ощущаться в бакалейном деле. Быть может, только лет через сто парижский бакалейщик (провинциальные бакалейщики несколько меньше заражены песней) получит доступ в рай. Быть может, желание ощущать себя французом завело его слишком далеко. Бог ему судья.

Если поездка длится недолго и бакалейщик не заговорит, что редко случается, тогда вы его узнаете по осо-

бой манере сморкаться. Он зажимает губами уголок платка, приподнимает его центральную часть, отводя ее, как доску качелей, затем мастерски охватывает ею нос и трубит так, что ему позавидует корнет-а-пистон.

Некоторые, одержимые манией заглядывать вперед, заранее объявляют, что бакалейщика ждет печальное будущее. «Он удалится от дел,— говорят они.— Какая же тогда будет от него польза? Чем он займется? Что с ним станет? Никакого интереса он не представляет, лица собственного он не имеет». Защитники же этого уважаемого разряда граждан отвечают, что обычно сын бакалейщика становится нотариусом или стряпчим, но не журналистом, не художником, и это позволяет бакалейщику гордо заявлять:

— Я уплатил свой долг отечеству.

Ежели у бакалейщика нет сына, он интересуется своим преемником, ободряет его, проверяет дневную выручку, сравнивает ее с выручкой прошедших дней, ссужает его деньгами: ниточкой дисконта он еще связан с бакалейным делом. Кто же не знает трогательного анекдота о том, как тоскует по прилавку бывший бакалейщик?

Бакалейщик старого закала лет тридцать вдыхал бесчисленные запахи своей лавки, спускался по реке жизни вместе с мириадами селедок, путешествовал бок о бок с косяками трески, изо дня в день выметал мусор после сотни утренних покупателей, держал в своих руках монеты, скользкие от грязи, и, наконец, разбогател больше, чем ожидал; потом он продал свое торговое заведение, похоронил супругу на крохотном клочке земли, арендованном навеки, и, как полагается, спрятал квитанцию в папку семейных документов. Первые дни он в качестве обыкновенного буржуа прогуливался по Парижу, смотрел на играющих в домино и даже посещал театр. Но, по его словам, он не находил себе покоя. Он останавливался перед бакалейными лавками, принюхивался, прислушивался, как толкут что-то в ступке. При виде бакалейщика, вышедшего на порог взглянуть, какова погода, невольно в ушах у него звучало: «И ты таким же был!» Покорившись магнетическому воздействию пряностей, он навещал своего преемника. Бакалейная лавка процветала. Тяжело становилось на сердце у нашего бакалейщика. «Со мной что-то неладно»,—говорил он доктору Брус-

се, советуясь с ним насчет своей болезни. Бруссе прописал путешествие, не указав, куда именно, в Швейцарию или в Италию. После нескольких отдаленных экскурсий в Сен-Жермен, Монморанси, Венсен, не принесших никакого улучшения, бедный бакалейщик все чахнул и, наконец, не стерпел: он вернулся в свою лавочку, как голубь Лафонтена вернулся в свое гнездо, и произнес великие слова, сделавшиеся пословицей:

Я точно плющ: где вьюсь, там и умру!

Как милости добился он от своего преемника разрешения свертывать фунтики в уголке, добился счастья заменять его за прилавком. Глаза его, ставшие тусклыми, как у вареной рыбы, зажглись огоньками наслаждения. Вечерком в соседнем кафе он бранит бакалейщиков, увлекающихся шарлатанскими объявлениями, и спрашивает, зачем выставлять напоказ сверкающие машины, которые растирают какао в порошок.

Некоторые бакалейщики, из тех, что поумнее, делаются мэрами в каких-нибудь сельских общинах и вносят в деревню блеск парижской цивилизации. Они впервые открывают давно приобретенного Вольтера или Руссо, но смерть застает их на семнадцатой странице предисловия. Всегда желая принести пользу родному краю, они чинят водопойную колоду; убавив жалованье приходскому священнику, сдерживают захватнические устремления духовенства. Иные из них поднимаются до того, что сообщают о своей точке зрения газете «Конститюсьонель», тщетно ожидая от нее ответа; другие подстрекают к составлению петиций об отмене рабства негров и об отмене смертной казни.

В одном только я упрекну бакалейщиков: их слишком много. Конечно, и самим им придется с этим согласиться; бакалейщик — явление повсеместное. Некоторые моралисты, наблюдавшие за ним под парижскими широтами, утверждают, что свойственные ему достоинства превращаются в недостатки, как только он становится домовладельцем. Тогда он начинает свирепствовать, подает на своих жильцов в суд, требует квартирной платы и теряет значительную долю своей приятности. Не стану опровергать этих обвинений, вероятно основывающихся на периоде, критическом для бакалейщика. Но взгляните

на другие разновидности человеческой породы, изучите их причудливость и спросите себя, бывает ли что-нибудь без пятен в сей юдоли слез. Будем снисходительны к бакалейщикам! А кроме того, что бы мы стали делать, если бы они достигли совершенства? Мы принуждены были бы преклоняться перед ними, вверив им бразды правления, в колесницу коего они мужественно впряглись. Пощадите их, вы, насмешники, к которым адресована эта докладная записка, оставьте их в покое, не мучайте чрезмерно этих любопытных двуногих; разве вам недостаточно правительства, новых книг и водевилей?

Альманах «Французы, изображенные ими самими», т. I, 1840 г.

НОТАРИУС

Перед вами низенький, толстый, упитанный человек, одетый в черное, самоуверенный, почти всегда чопорный, наставительный и прежде всего важничающий. Лицемерная простоватость, первоначально служившая ему маскою, стала в конце концов его плотью и кровью, она похожа на невозмутимость дипломата, но лишена лукавства, сейчас вы узнаете почему. Вы особенно изумляетесь его лысине цвета свежего сливочного масла, которая свидетельствует о долгих трудах, о скуке, о внутренних разногласиях, о бурях молодости и полном отсутствии страстей. «Этот господин,— говорите вы,— чрезвычайно похож на нотариуса». Долговязый и сухощавый нотариус является исключением. В физиологическом отношении бывают темпераменты, совершенно не подходящие для нотариальной профессии. Не без оснований сказал Стерн, великий и тонкий наблюдатель: *низенький нотариус!* Раздражительный и нервный характер годился бы еще для адвоката, но был бы гибелен для нотариуса, которому необходимо быть сверх меры терпеливым, а не всякий человек способен стушевываться и покорно слушать нескончаемые излияния клиентов, воображающих, что их дело — единственное; клиенты адвоката — люди страстные, они пытаются вступить в борьбу, готовы защищаться. Адвокат в судебном деле — тот же крестный отец, а нотариус—страдательное лицо в тысячах корыстных комбинаций, он всегда на виду. О! Что претерпевает нотариус — это можно объяснить только сравнением с тем, что приходится переносить женщинам и белой

бумаге — они все терпят, им совсем не свойственно сопротивление; иное дело — нотариус: у него сопротивляемость огромна, но постепенно стираются все углы. Глядя на это стершееся лицо, вы слышите заученные, механические фразы и, добавим, изрядное количество общих мест! Художник отступает в ужасе. Всякий говорит с уверенностью: «Это, конечно, нотариус», ибо нотариус выработал себе типичную внешность, которая неотделима от него и вошла в поговорку. И тот, кто внушил подозрение такого рода,— конченый человек. Так вот, этот человек — невинная жертва. Тучный и тяжеловесный, он был когда-то резвым, легкомысленным, может быть, очень умным, и даже, вероятно, был влюблен. Непостижимая тайна, подлинный мученик, но мученик по доброй воле! О нотариус, существо, достойное жалости и в том случае, если ты любишь свою профессию, и в том, если ты ее ненавидишь, я объясню всем, кто ты такой,— ради тебя я должен это сделать! Человек добрый и лукавый, ты одновременно и Сфинкс и Эдип, твоя речь так же темна, как у первого, ты проницателен, как второй. Во многом ты непонятен,— и все же тебе можно дать определение. Но определить тебя — это значит выдать немало таких тайн, в которых, по словам Бридуазона, признаешься только самому себе.

Нотариус служит странным примером трех превращений насекомого, но в обратном порядке: сначала он был блистательной бабочкой, а в конце стал личинкою, окутанною коконом и, к несчастью, обладающей памятью. Веселого, плутоватого, хитрого, смышленого, остроумного и насмешливого писца общество постепенно превращает в нотариуса и умышленно или непредумышленно делает нотариуса таким, каким вы его знаете. Да, его стершаяся физиономия типична для массы обывателей: нотариусы не представляют ли собою нечто среднее, ту почтенную посредственность, которую возвел на трон 1830 год? Все, что они слышат, все, что они видят, что они принуждены думать, принимать, помимо гонораров, все эти комедии, трагедии, разыгрываемые для них одних, должны были бы сделать их остроумными, насмешливыми, недоверчивыми, но им одним воспрещается смеяться, шутить и обнаруживать остроумие: насмешливость отпугнула бы клиента. Нотариус остается немым,

когда говорит, пугает, когда молчит, и принужден скрывать свои мысли и свое остроумие, как скрывают дурную болезнь. Если нотариус не будет педантичен, как старая дева, и придирчив, как помощник столоначальника, если он будет откровенно хитер и лукаво проницателен, он растеряет клиентуру. Клиентура в его жизни — это все. Нотариус постоянно носит маску и не всегда снимает ее даже на лоне семейных радостей, ему приходится всегда играть роль, хранить на лице важность, разговаривая с клиентами и с писцами; немало у него оснований хранить ее и перед собственной женой. Он должен не знать того, что отлично понял, и понимать то, что другие не желают ему подробно объяснить. По отношению к сердцам он выполняет обязанности акушера. И когда он способствует появлению на свет таких уродов, которых великий Жоффруа Сент-Илер не мог бы посадить в банку со спиртом, он принужден бывает воскликнуть:

— Нет, сударь, вы не составите подобный акт, это было бы недостойно вас. Вы злоупотребляете распространительным толкованием своих прав (фраза вполне вежливая, но по существу означающая: «Вы мошенник!»). Вы не понимаете подлинного смысла закона, что, *конечно, случается и с честнейшим человеком в мире*, но, сударь... и тому подобное.

Или еще:

— Нет, сударыня, одобряя одушевляющее вас чувство, вполне естественное и до некоторой степени почтенное, я не могу допустить, чтобы вы приняли подобное решение. Сохраните репутацию честной женщины даже и после своей смерти!

Когда перечень всех добродетелей и препятствий исчерпан, когда клиент или клиентка начинает колебаться, нотариус добавляет:

— Нет, вы так не поступите, да и я откажу вам в своем содействии!

Вот самое большее, на что отважится это должностное лицо судебного ведомства.

А нотариусы и в самом деле являются должностными лицами не в меньшей степени, чем офицеры: жизнь нотариусов — разве это не сражение, затянувшееся надолго? Они принуждены прятать под напускной важно-

стью очень озорные мысли, которые, конечно, у них бывают! Прятать свой скептицизм, а они во всем сомневаются, свою доброту, иначе клиенты ею злоупотребят! Они принуждены иметь огорченный вид, разговаривая с наследниками, которые нередко помирают со смеху, оставшись наедине, усовещивать вдов, которые с ума сходят от радости, говорить о детях и о смерти с девицами-хохотушками, утешать сыновей общими итогами описи наследства, повторять одни и те же слова и доводы людям разного возраста и разных сословий, все видеть не глядя, смотреть и ничего не видеть, притворно предаваться гневу, смеяться без оснований и основательно рассуждать без смеха, изготовляя нравоучительные изречения, как повара готовят соус; в результате нотариусы обалдевают по той же причине, по которой артиллерист глохнет. Дураков больше, чем умников, иначе дурак стал бы редкостью, и вот нотариус, принужденный спускаться до уровня своего клиента, постоянно находится на десять градусов ниже нуля, и при известной всем силе привычки такая роль становится у нотариуса второй натурой. Он низводит дух к материи—увы!—не одухотворяя тела. Не имея никакого характера, помимо характера своей профессии, он становится скучным, потому что все ему докучают. У себя в кабинете он привык выражаться общими фразами и, завязнув в них по уши, переносит их с собой и в светский салон. Интересуясь всем, не интересуется ничем; в итоге всех своих услуг встречая неблагодарность, он доходит до полнейшего безразличия и в конце концов становится существом, полным всяческих противоречий, скрытых под слоем жира и под видимым благополучием, становится кругленьким человечком, мягким, но резонерствующим, фразером, порою говорящим сжато, скептиком и легковерным, пессимистом и оптимистом, добряком и бессердечным, порочным или развращенным, но обязательно лицемером; есть в нем что-то и от священника и от судьи, от чиновника и адвоката, и будь жив сам Лабрюйер, даже ему не удалось бы с точностью проанализировать его характер. Нотариусу присуще величие, однако то, что делает его великим, делает его маленьким: будучи свидетелем окружающей развращенности, не зрителем, а руководителем деловых драм, он должен оставаться честным; он видит, как копают то

Мертвое море, которое поглотит все богатства, но не может ловить в нем рыбку; он набрасывает договор для коммандитного товарищества и должен относиться к делу, как купец, торгующий капканами, но не интересующийся ни добычей, ни охотником. Сколько различных перевоплощений! Что за работа! Еще ни одну ось так не выковывали, так не испытывали нагрузкой. Полюбуйтесь, как переходит он от одной мысли к другой, и спросите себя: природа, которая употребляет столько времени и усилий на создание какой-нибудь удивительной раковины, не превзойдена ли она в этом случае цивилизацией, создавшей ракообразное существо, именуемое нотариусом?

Всякий нотариус дважды побывал писцом, более или менее долгое время изучал судопроизводство; чтобы научиться предупреждать судебную тяжбу, не следует ли знать, как они зарождаются? Кто послужит года два писцом у стряпчего и притом не разочаруется в человеке, тот, наверно, не сделается ни судейским, ни нотариусом, ни стряпчим; он становится акционером. Из конторы стряпчего писец бросается в контору нотариуса. Понаблюдав, как играют договорами, он изучит, как их составляют. А если будущий нотариус идет иным путем, то, значит, он с самого начала определил свою профессию и пошел в младшие писцы, как идут в солдаты, чтобы впоследствии стать генералом; многие парижские нотариусы первоначально служили рассыльными при конторе. Отбыв пятилетний испытательный срок в одной или нескольких нотариальных конторах, вам трудно будет остаться честным молодым человеком; вы уже видели, каков смазанный маслом механизм любого богатства, как гнусно спорят наследники над не остывшим еще трупом. Словом, вы видели поединок сердца человеческого с гражданским кодексом. Клиенты нотариальной конторы ужасно, притом на деле, не на словах, развращают писцов.

Здесь сын приносит жалобу на отца, дочь на родителей. Контора — это исповедальня, где страсти высыпают из мешка свои преступные замыслы и где советуются насчет сомнительных дел, ища способов привести их в исполнение. Что другое действует так разлагающе, как опись имущества, оставшегося после покойника? Умирает мать, окруженная уважением и любовью всей семьи. Когда же закрывают ей глаза, когда фарс сыгран и занавес

опущен, нотариус вместе с писцом находят доказательства того, что ее интимная жизнь была ужасающей, и сжигают их; потом они выслушивают трогательнейшее похвальное слово памяти *святой женщины*, погребенной несколько дней тому назад; они принуждены не разочаровывать семью, из деликатности прибегая к умолчанию, но какими насмешками, улыбками и взглядами обмениваются между собой нотариус и писец, выходя на улицу! Величайший политик, обманувший всю Европу, оказывается, был обманут женщиной, как ребенок: его доверчивость была смешна, как доверчивость «мнимого больного» к Белине. Они разбирают деловые бумаги человека, как говорят, добродетельного и филантропа, на могиле которого курили фимиамы, в честь которого палили целыми залпами соболезнования, но это должностное лицо, этот почтенный старец оказался развратником. Писец уносит с собою его непристойные книги и раздает их своим сослуживцам. В силу обычая, установившегося с незапамятных времен, писцы завладевают всем, что может оскорбить общественную или религиозную нравственность и обесчестить покойника. Все непристойное нумеруется ими литерой М. Известно, что нотариусы нумеруют буквами алфавита бумаги, акты и документы. Литерой М (мне) обозначается все то, что берут себе писцы.

— А есть литера М? — разносится по конторе крик, когда второй писец возвращается после составления описи.

Когда раздел произведен, то можно услышать внушенные самим дьяволом комментарии, пока третий писец закусывает печеной грушей, второй — сыром, а делопроизводитель пьет шоколад. Вы думаете, что семь-восемь веселых молодых людей в расцвете сил и ума, наскучив корпеть целый день за конторками над перепиской бумаг и изучением актов о ликвидации, станут обмениваться афоризмами Фенелона или Массильона, оставшись одни, без нотариуса, и желая немножко отдохнуть? Французский дух, сдавленный пыльными папками нотариальных подлинников, тогда так и брызжет остротами, выходящими за пределы просто забавного. Это скорее язык Рабле, чем Флориана. Они строят догадки о намерениях клиентов, комментируют их жульничества и высмеивают

их самих. Если бы писцы не высмеивали клиентов, то это были бы уроды, скороспелые нотариусы. Эти первые шаги мысли на хладном жизненном пути расчета и разврата заканчиваются великим изречением старшего делопроизводителя:

— Ну, господа, вы только болтаете!

Что правда, то правда. Писец много болтает, все понимает, но остается добродетельным, как туз пик, ибо у него нет денег. Любимая шутка нотариальных контор состоит в том, чтобы перед новичками изображать все так, будто здесь действительно царят самые неправдоподобные и чудовищные нравы, и если новичок верит всему, значит, фокус удался. Все хохочут.

Эти шутки разыгрываются перед десяти—двенадцатилетним мальчиком, надеждою семейства, перед клерком-мальцом с черными или белокурыми волосами и бойким взглядом, перед вожаком парижских уличных мальчишек, который исполняет партию флейты в этом оркестре, где поют желания и намерения, где все говорится и ничего не делается. Глубокомысленные изречения сыплются из ротика, в котором зубы подобны жемчугу, срываются с уст, алых, как розы, которые так скоро увядают. Ученик поспорит в развращенности с писцами, сам не понимая значения произносимых им слов. Одно наблюдение объяснит вам, что представляет собою этот мальчик. Каждое утро в той канцелярии, где заверяются подписи нотариусов, собирается целая толпа учеников, снующих здесь, как золотые рыбки в стеклянном шаре, и приводящих в ярость старого, озабоченного чиновника, которому поручено заверять подписи, ибо даже за своей решеткой он не чувствует себя защищенным от этих тигрят. Чиновнику (он едва не сошел с ума) понадобилось бы поставить в канцелярии полицейского или даже двух. Собирались уже их прислать. Но префект испугался за полицейских. От рассказов этих юнцов волосы встанут дыбом у маститого полицейского, а их выходки огорчат самого сатану. Они смеются над всем, знают и говорят решительно обо всем, но пока не делают еще ничего. Они все связаны друг с другом каким-то особым телеграфом, который мгновенно передает по всем конторам все нотариальные новости. Наденет ли жена нотариуса чулок наизнанку, закашляется ли она ночью, рассорится ли она

с мужем, все, что находится снизу, сверху, посередке, становится известно сотне учеников парижских нотариусов, а в здании судебных установлений мальчишки эти встречаются с сотней учеников из контор присяжных стряпчих. Пока юноши, избравшие поприще нотариуса, не дослужатся до должности третьего писца, они еще похожи на юношей. Третьему писцу уже лет двадцать; он уже утратил румянец, составляя бесконечные договоры о продаже, он занят изучением ликвидаций, он корпит над изучением юриспруденции, если не напрактиковался у присяжного стряпчего; ему поручают передавать в регистратуру крупные суммы, он собирает подписи видных особ под брачными контрактами; скромность и честность он считает существенным признаком своей должности. Молодой человек уже привыкает не болтать зря, он теряет ту привлекательную непринужденность движений и речи, из-за которой писатель, художник, ученый, сохранившие ее, нередко заслуживают упрек: «Вы настоящий младенец!» Проявить нескромность, нечестность для третьего писца — значит отказаться от карьеры нотариуса. Странное дело. Две высшие профессиональные добродетели уже предсуществуют в атмосфере нотариальных контор. Мало кто из писцов дважды получал выговоры за уклонение от этих добродетелей. При повторении такого проступка писец был бы уволен за неспособность к делу. Ответственность начинается с должности второго писца. Он в конторе является кассиром, ведет реестр, хранит печать, дает бумаги на подпись и в определенные часы регистрирует или сличает акты. Третий писец уже меньше смеется, чем другие, второй — совсем не смеется: большую или меньшую дозу веселости он влагает в выговоры младшим писцам, он более или менее язвителен; но на плечах своих он уже чувствует судейскую тогу. Однако иной из вторых писцов еще не чурается младших писцов, еще предпринимает вместе с ними загородные прогулки и рискует посещать летний сад «Шомьер»; но это лишь в том случае, если ему не исполнилось двадцати пяти лет, а достигнув этого возраста, второй писец уже подумывает, как ему устроиться где-нибудь в провинции. Он испуган высокой стоимостью нотариальных контор в Париже, он устал от парижской жизни, готов довольствоваться скромной

долей и спешит, согласно шутке, вошедшей в поговорку, стать самому себе хозяином и жениться.

У трудолюбивых членов братства писцов есть особое развлечение, именуемое заседанием. Суть его в том, чтобы, собравшись вместе, потолковать о спорных вопросах юриспруденции, но эти заседания заканчиваются праздничным завтраком, за который платят те, кто навлек на себя штраф. Здесь много говорят, каждый настойчиво защищает собственное мнение, совсем как в палате депутатов, но обходятся без голосования.

Этим завершается первое превращение. Молодой человек понемножку сформировался, познав в жизни мало утех (семьи, породившие писцов, существуют в большей или меньшей степени своим трудом), с детских лет постоянно слышит назидание: «Постарайся разбогатеть!» С утра до вечера они работают, не выходя из конторы. Писцы не могут предаваться страстям, их страсти полируют асфальт парижских бульваров, их страсти должны иметь завязку, столь же быструю, как и развязка; всякий честолюбивый писец остерегается терять время на романические приключения, фантастические замыслы он похоронил под описями, свои желания он изобразил на подкладном листе бумаги в виде причудливых фигур; он не знает, что значит ухаживать, он считает вопросом чести усвоить те не поддающиеся определению манеры, которые отзываются и бойкостью торгаша и суровостью солдата,— манеры, которые деловые люди подчеркивают, чтобы придать себе цену или поставить своего рода рогатки, защищающие их от притязаний клиентов и друзей.

Словом, все эти писцы, смешливые, плутоватые, остроумные, глубокомысленные и проницательные, дослужившись до места делопроизводителя, становятся наполовину нотариусами. Главная забота этого старшего писца — внушить мысль, что, не будь его, патрон проштрафился бы глупейшим образом. Бывает и так, что он тиранит своего патрона, входит в кабинет, представляет ему свои замечания и выходит оттуда недовольным. По отношению ко многим актам он имеет право жизни и смерти, но есть и такие дела, которые только патрон может вести и решать; вообще же его еще не допускают к особо важным делам. Во многих конторах в кабинет патрона можно попасть только через кабинет старшего писца.

В таком случае первые писцы стоят еще ступенью выше. Старшие писцы, подписывающиеся «За нотариуса», именуют друг друга «дорогой мэтр», все они меж собой знакомы, они встречаются, они кутят, не приглашая прочих писцов. Наступает такой момент, когда старший писец помышляет только о собственной конторе; он шныряет всюду, где можно заподозрить существование приданого. Он ведет скромный образ жизни, обедает за два франка, если патрон не приглашает его к своему столу; он напускает на себя солидность, рассудительность. Он заимствует изящные манеры и надевает очки, чтобы придать себе больше важности; он частенько ходит в гости и, посещая какое-нибудь состоятельное семейство, изъясняется таким образом:

— Шурин вашего уважаемого зятя сообщил мне, что ваша уважаемая дочь оправилась от недомогания.

Старший писец в курсе всех родственных связей в буржуазных кругах, подобно тому как французский посланник при дворе немецкого князька знает о связях всех князьков. Такого рода старшие писцы придерживаются консервативных убеждений и являют вид людей высоконравственных; они, конечно, воздерживаются играть в карты на людях, но за это воздержание вознаграждают себя, когда соберутся одни; сборища старших писцов заканчиваются такими ужинами, которые не уступят даже пирам золотой молодежи и эпилог которых решительно препятствует им сделать какую бы то ни было сентиментальную глупость; влюбившийся старший писец — это больше чем урод, это просто никчемный человек. За последние двенадцать лет из ста старших писцов человек тридцать были увлечены желанием сделать карьеру, они покинули контору, сделались председателями коммандитных товариществ, директорами страховых обществ, поверенными в делах; другие нашли должность, не связанную с финансами, и благодаря этому сохранили свое настоящее лицо, то есть остались почти такими, какими создала их природа.

После семи-восьми лет работы, достигнув тридцати двух, тридцати шести лет, старший писец на несколько дней теряет спокойствие: в самое сердце поражает его получение высшего звания. Ни в какой иной области — ни среди духовных особ, ни среди военных, ни при дворе,

ни в театре — не наблюдается такой перемены, которая происходит с этим человеком в единый день, в единый миг. Как только его утвердили нотариусом, его лицо становится деревянным, а он сам еще более нотариусом, чем того требует надеваемая им тога. Он как нельзя более торжественно и величественно обращается к старшим писцам, своим друзьям, которые тотчас же перестают быть для него друзьями. Он совершенно не похож на того, кем был накануне; феномен третьего энтомологического превращения осуществился: он стал нотариусом.

Стесненные невыгодностью своего положения в столице, которая полна всяческих утех, всех прикрывает своей мантией, а иногда и приподнимает ее весьма соблазнительно на подмостках Оперы, нотариусы, впав в отчаяние оттого, что в своем высоконравственном облачении они, подобно бутылкам замороженного шампанского, искрятся, но холодны, играют, но закупорены,— основали во времена Империи (о чем обиняками поговаривали в конторах) общество богатых нотариусов, сыгравшее для нотариата ту же роль, какую клапан выполняет в паровой машине. Тайными были собрания, тайными были игравшиеся здесь интермедии, до чрезвычайности потешно было название общества, где председателем избирали наслаждение, где острова Парос, Кифера и даже Лесбос являлись членами дисциплинарного совета и где изобиловали деньги, главный нерв этой таинственной и веселой ассоциации. Чего только не рассказывала история! Будто бы там пожирали детей, завтракали девочками, ужинали матерями, не обращали внимания ни на возраст, ни на пол, ни на то, каков цвет лица у бабушек к утру, после отчаянной игры в бульот. Гелиогабал и прочие римские императоры просто мальчишки по сравнению с великими и важными нотариусами Империи, из числа которых даже самый робкий являлся наутро в контору величественным и холодным, как будто оргия только приснилась ему. Благодаря этому обществу и возможности дать выход всем внушениям злого духа, среди парижских нотариусов было тогда меньше банкротств, чем в годы Реставрации. Эта история, возможно, басня. Теперь парижские нотариусы уже не настолько связаны между собой, как в былые годы, меньше знают друг друга, дух солидарности у них ослабел, ибо конторы слишком часто перехо-

дят из рук в руки. Прежде нотариус сидел на своем месте лет тридцать, а теперь в среднем не больше десяти лет. Он только о том и думает, как бы удалиться от дел: он уже не судья, разрешающий противоречия различных интересов, не семейный советник,— он слишком смахивает на спекулянта.

Перед нотариусом открыты два пути: ожидать дел или их искать. Нотариус ожидающий — это нотариус женатый, почтенный, он терпелив, он выслушивает, оспаривает и стремится просветить клиента. Он чувствителен к упадку своей конторы, у него три разных поклона: перед знатным барином он гнется в дугу, богатому клиенту отвешивает низкий поклон, клиентам, состояние которых расстроено, он только кивает головой, а пролетариям просто открывает дверь, не кланяясь. Нотариус, ищущий дел, еще холост, худ, он ходит по балам и праздникам, бывает в свете; он искателен, вотрется куда угодно, переводит свою контору в новые кварталы, не соблюдает оттенков в поклонах и готов кланяться колонне на Вандомской площади. О нем отзываются плохо, но он мстит за себя успехами. Старый нотариус, услужливый и суровый,— тип, почти исчезнувший. Нотарус, мэр своего округа, председатель совета нотариусов, кавалер какого-нибудь ордена, чтимый всеми нотариусами, кабинеты которых были украшены его портретами, нотариус, от которого веяло духом дореволюционных парламентских советников,— это феникс, какого теперь не сыщешь.

Нотариус мог бы найти отдохновение от дел в супружеской любви, но для него брак еще более тягостен, чем для всякого другого человека. В этом он сходен с королями: он женится не ради самого себя, а ради положения. Равным образом и тесть видит в нем не столько человека, сколько положение. Он женится на ком угодно — на синем чулке, если дадут ему приданое, на девушке, взращенной благодаря прибылям с горчицы, целебных пилюль, ваксы или зажигалок, и даже на светской даме. Если сами нотариусы оригиналы, то оригиналки и их жены. Они строго судят друг друга, боятся, и не без основания, встречаться одна с другой хотя бы с глазу на глаз, они избегают друг друга или совсем не заводят знакомств. Из какой лавочки ни вела бы своего происхождения жена нотариуса, она желает стать светской дамой и

живет в роскоши: у некоторых имеются собственные экипажи, тогда они ездят в Комическую оперу. А если они являются в Итальянскую оперу, то производят там сенсацию, и все высшее общество спрашивает:

— Кто такая эта дама?

Обычно лишенные ума, очень редко наделенные страстным характером, зная, что на них женились из-за денег, и будучи уверены, что, выйдя замуж, они обрели драгоценное спокойствие, эти особы в силу занятости мужа обставляют свое существование эгоистически, но завидным образом; и вот все они жиреют так, что турок пришел бы в восторг. Впрочем, и среди жен нотариусов попадаются очаровательные женщины. В Париже случайность превосходит самое себя: здесь и талантливым людям удается иногда пообедать, здесь по вечерам не все прохожие гибнут под колесами экипажей, и, наконец, наблюдатель, встретивший светскую даму, вдруг узнает, что это жена нотариуса. Полная отчужденность жены нотариуса от конторы теперь наблюдается сплошь и рядом. Нередко они хвалятся тем, что не знают писцов своего мужа ни по имени, ни в лицо. Прошли те патриархальные времена, когда нотариус, его жена, дети и писцы обедали вместе. Теперь эти старинные обычаи вытеснены новыми идеями, занесенными с Альп, объятых революцией: теперь только один старший писец в большинстве случаев живет под кровом нотариальной конторы, но живет особняком — так удобнее патрону.

Если нотариус не обладает застывшим, приятно округлым лицом, которое уже известно вам, если он не дает обществу огромной гарантии в том, что являет собой посредственность, если он не колесико механизма, стальное, отполированное, каковым ему надлежит быть, если в его сердце сохранилось нечто от художника, от причуды, страсти, любви, то он пропал: рано или поздно он сходит с рельсов, кончает банкротством и удирает в Бельгию, похоронив свое бытие нотариуса. И тогда он увозит с собою сожаление немногих друзей и деньги клиентов, предоставив жене полную свободу.

Альманах «Французы, изображенные ими самими», т. II, 1840 г.

МОНОГРАФИЯ О РАНТЬЕ

Рантье по Линнею [1] — существо человекообразное, по Кювье — млекопитающее, отряд парижан, семейство акционеров, племя тупиц, по античной классификации Civis inarmis [2], открыт аббатом Терре, наблюдался «Силуэтом», поддержан Тюрго и Неккером, внесен в книги государственных долгов за счет «производителей» Сен-Симона.

Таковы отличительные признаки этого замечательного племени, в чем согласны с нами выдающиеся микрографы Франции и прочих стран.

Ростом рантье от пяти до шести футов, движения его по преимуществу медлительны, но природа в заботе о сохранении этих хилых существ снабдила их омнибусами, при помощи которых они передвигаются в пределах парижской атмосферы от одного пункта до другого; вне этой атмосферы они не живут. Будучи пересажен за городскую черту, рантье чахнет и умирает. Его широкие ступни защищены башмаками с завязками, ноги его снабжены штанами, коричневыми или красноватыми, он носит клетчатые жилеты, из недорогих, дома его увенчивает эонтикообразный картуз, вне дома он носит двенадцатифранковую шляпу. Галстук белый, муслиновый. Почти все особи этой породы вооружены тростью и табакеркой, из которой они извлекают черный порошок и начиняют

---

[1] Мы придерживаемся классификации Линнея, а не Кювье; термин человекообразное — гениален и в высшей степени применим к тысяче человеческих разновидностей *(прим. автора)*.

[2] Невооруженный гражданин *(лат.)*.

им собственный нос,— обычай, послуживший на пользу французскому фиску. Подобно всем особям из рода «человек» (млекопитающих), он имеет семь лицевых клапанов и, по-видимому, обладает полной костной системой, включая позвоночник, подъязычную кость, ключовидный отросток и скуловую дугу. Все части тела суставные, смазаны синовиальной жидкостью, соединены сухожилиями; без сомнения, рантье имеет вены и артерии, сердце и легкие. Он питается овощами, печеными злаками, различными колбасными изделиями, фальсифицированным молоком, животными, облагаемыми городской ввозной пошлиной, но, невзирая на высокую цену этих питательных продуктов, потребляемых в Париже, кровь его обращается медленнее, чем у других разновидностей человекообразных. Таким образом, он обнаруживает заметные отличия, вынудившие французских наблюдателей признать его представителем особой разновидности. Его лицо бледно и часто имеет форму луковицы, лишено характерности, что и является его характерным признаком. Глаза у рантье безжизненные и тусклые, как у рыбы, которая уже не плавает, а лежит среди зелени петрушки на прилавке магазина Шеве. Волосы редки, тело рыхло, все органы вялы. Рантье обладает снотворными свойствами, чрезвычайно драгоценными для правительства, которое за последние двадцать пять лет всячески старается размножить эту разновидность; в самом деле, неукротимому племени художников, объявившему войну племени рантье, трудно бывает не уснуть, слушая рантье, ибо поразительная медлительность его речи, тупой вид и высказывания, лишенные всякого смысла, действуют одуряюще. Науке следовало бы отыскать причины этого его свойства.

Хотя у рантье черепная коробка наполнена тем же беловатым мягким, губчатым веществом, которому подлинные люди в среде человекообразных обязаны славным титулом царя животных, что, по-видимому, оправдывается тем, как они злоупотребляют божьим даром; однако ни Воклен, ни Дарсе, ни Тенар, ни Флуранс, ни Дютроше, ни Распайль, ни прочие индивиды из племени исследователей, сколько ни бились, не могли открыть у рантье зачатков мысли. У всех рантье, до сего времени подвергшихся дистилляции, это вещество при анализе

дало 0,001 ума, 0,001 рассудка, 0,001 вкуса, 0,069 добродушия, остальную часть составляет желание прожить хоть как-нибудь. Френологи, тщательно изучив костную оболочку их умственного аппарата, нашли подтверждение экспериментам химиков: оболочка оказалась совершенно круглой, без каких бы то ни было шишек.

Один знаменитый писатель готовит специальный трактат, где все особенности рантье будут подробно описаны, и мы не хотим больше ничего заимствовать из этого прекрасного трактата. Наука с нетерпением ожидает опубликования этого труда, тем более что рантье является завоеванием именно современной цивилизации. Римлянам, грекам, египтянам и персам совершенно было неизвестно то великое национальное установление, которое именуется кредитом, они никогда не желали *поверить* (а слово кредит и означает доверие) в то, что клочок папируса может заменить собою имение. В пластах гипса, сохранивших для нас столько допотопных животных, Кювье не нашел никакого следа этого зоологического вида, если не признать за него окаменелости, найденной в песчаниковой каменоломне и принятой некоторыми любознательными людьми за образец вида «рантье»; но сколько же встанет важных вопросов, если согласиться с этим мнением. Не значит ли это, что книги государственных долгов и биржевые маклеры существовали еще до потопа? Существование рантье не восходит дальше эпохи Людовика XIV; его появление датируется выпуском процентных бумаг, обеспеченных городскою ратушей. Шотландец Лоу много способствовал умножению этого скорбного племени. Существование рантье зависит, как и существование шелковичного червя, от наличия листка и, подобно яичку бабочки, его, по всей вероятности, откладывают на листок бумаги. Невзирая на усилия суровых логиков, которым мы обязаны знаменитыми трудами Комитета общественного спасения, стало невозможным отрицать существование этого вида после основания биржи, после займов и после того, что написали Уврар, де Бриконь, Лафит, Виллель и прочие особи племени хищников и министров, специально занятые тем, как бы помучить рантье. Да, мягкий и слабый рантье имеет врагов, против которых социальная природа не вооружила его. Па-

лата депутатов не без сожаления посвящает им каждый год специальную статью бюджета.

Замечания наши, совершенно бесспорные, являются осуждением тех безуспешных попыток производителей, экономистов (племен, созданных Сен-Симоном и Фурье), которые клонились лишь к упразднению зоологического вида — рантье, признаваемого ими паразитическим. Подобные классификаторы зашли слишком далеко. Они не принимали во внимание предшествующей работы рантье. Имеются некоторые представители этого вида, немало потрудившиеся, особенно из числа тех, которые принадлежат к разновидностям — «пенсионеры» и «военные». Неверно, будто бы рантье, подобно осьминогу, найденному в ракушке моллюска «аргонавт», пользуется чужою социальной раковиной. Все, стремящиеся упразднить рантье — а многие экономисты, к сожалению, продолжают настаивать на этом тезисе,— начинают с того, что по-своему перестраивают науку и сметают все дочиста, уничтожая политическую зоологию. Если бы эти безрассудные новаторы добились успеха, то Париж вскоре заметил бы, что никаких рантье не существует. Рантье, представляющий собою изумительную переходную ступень от опасного семейства пролетариев к любопытному семейству промышленников и собственников, есть не что иное, как социальный моллюск, существо не руководящее, но руководимое. Он посредственность, совершенно верно. Да, индивиды данного класса инстинктивно стремятся к тому, чтобы пользоваться всем, не расходуя ничего; но они отдали всю свою энергию капля за каплей, они отстояли свое время на караульном посту, служа в национальной гвардии. Отрицать их полезность — это значит оказаться просто-напросто неблагодарным к провидению: в Париже рантье является как бы ватою, проложенной между другими, более подвижными разновидностями и предохраняющей их от сокрушительного столкновения.

Удалите рантье — и вы уничтожите тень в социальной картине. Париж потеряет свои характерные особенности. Наблюдатель (разновидность племени бумагомарателей), бродя по бульварам, не увидит более этих человекоподобных ископаемых, которые идут не двигаясь, глядят не видя, сами с собой разговаривают, беззвучно

шевеля губами, и тратят минуты три на то, чтобы открыть и закрыть крышку своей табакерки,— наблюдатель не увидит более эти причудливые силуэты, которые вполне оправдывают восхитительные шаржи всех Калло, Монье, Гофманов, Гаварни и Гранвилей. Царственная красавица Сена потеряла бы своих поклонников: разве рантье не спешит взглянуть на нее, когда по ней идет лед или когда она стала, когда поднимается выше отметины на устоях Королевского моста и когда становится ручейком, теряющимся в песках неподалеку от Городской больницы? Во всякое время года у рантье найдутся основания для того, чтобы пойти полюбоваться на Сену. Столь же охотно останавливается рантье перед домами, которые разрушает племя предпринимателей. Подобно своим собратьям, бесстрашно утвердившись на ногах и подняв нос кверху, он присутствует при падении камня, который только что раскачал наверху стены рычаг каменщика; рантье с места не сойдет, пока не свалится камень, он заключает с камнем тайный договор, и, когда падение совершилось, он уходит в высшей степени счастливый, подобно академику, дождавшемуся провала романтической драмы, ибо рантье свойственны многие человеческие чувства. Он безобиден и непричастен к иным разрушениям. Рантье достоин изумления, ибо он выполняет роль античного хора. Будучи лишь статистом великой общественной комедии, он плачет, когда плачут другие; смеется, когда смеются другие, он вторит песням, воспевающим общественные горести и радости. Он торжествует, когда, сидя где-нибудь в уголке театра, является свидетелем побед в Алжире, под Константиной, под Лиссабоном или на реке Улоа; он оплакивает и кончину Наполеона, и ту катастрофу, которая постигла корсиканца Фиески, и ту, которая произошла у монастыря Сен-Мерри или на улице Транснонен. Он сожалеет о знаменитостях, хотя бы и неизвестных ему, он переводит на свой собственный рантьерский язык высокопарные хвалебные статьи газет, он читает газеты, проспекты, афиши, которые, не будь его, никому бы не были нужны.

Не для него ли изобретены слова, которые ничего не говорят и чему угодно соответствуют: прогресс, пар, асфальт, национальная гвардия, демократический элемент, дух согласия, законность, застращивание, партия

движения, партия сопротивления? Если идет дождь, каучук предохраняет от простуды. Если вы чувствуете, что ужасающей медлительностью нашей администрации тормозится французская предприимчивость, если вы до крайности раздражены, то рантье смотрит на вас, покачивая головой, улыбается и произносит:

— А! Законность!

Плохо идет торговля:

— Вот плоды демократического режима.

По всякому поводу он прибегает к этим священным словам, употребляемым за последние десять лет так часто, что сотни будущих историков ужаснутся, если со временем кто-нибудь пожелает истолковать эти слова. Рантье в высшей степени точно знает, когда можно употреблять новое модное словечко, изобретенное особями из семейства «политиков» для развлечения семейства «управляющих». Знает он и когда следует уже отказаться от его употребления. В этом отношении он является барометром, определяющим парижскую погоду, подобно зеленым лягушкам в банке или капуцинам, снимающим и надевающим шляпу по воле атмосферы. Когда во Франции появляется новое словечко — а во Франции оно появляется всегда вместе с новым предметом (в Париже слово и предмет не то же ли самое, что конь и всадник),— тотчас же рантье вмешивается в бурное вихревращение, вызванное новым предметом. В своем маленьком мирке рантье приветствует его появление аплодисментами, он поощряет эту парижскую скачку: ничего нет прекраснее асфальта, он пригоден для всего, рантье украшает асфальтом дома, при помощи его оздоровляет погреба, восторгается его пригодностью для мостовой и готов носить башмаки из асфальта, нельзя ли и бифштекс приготовить из асфальта? Париж должен стать асфальтовым озером. И вдруг оказывается, что хотя асфальт — материал более стойкий, чем песок, и сохраняет отпечаток шагов, однако крошится *под колесами бесчисленных экипажей, бороздящих Париж во всех направлениях.*

— От асфальта придется отказаться! — говорит рантье, свергая с трона асфальт, как он свергнул депутата Манюэля и старшую ветвь Бурбонов, жесть, отливающую всеми цветами, и национальную гвардию, жирафа

и коммандитные товарищества и так далее. Если бы огонь охватил Париж, то бульвары растеклись бы ручьями асфальта!

Он мечет гром и молнии, возмущаясь асфальтом. Через несколько дней он начинает подозревать, что прогресс движется назад, и теперь рантье, оказывавший поддержку демократическому режиму, уже требует усиления власти, вплоть до того, что начинает всерьез считаться с Луи-Филиппом.

— А разве,— спрашивает он тогда,— наш король не великий человек? Признайтесь, мосье, буржуазия плохого выбора не сделает.

Политика рантье резюмируется в немногих словах. Во всех случаях он отвечает ссылкой на северного гиганта или на английское коварство. Он свободен от недоверия к честолюбивой Пруссии и к вероломной Австрии; вместе с газетой «Конститюсьонель» он обрушивается на английское коварство и на огромный снежный ком, который катится по северу, но растает на юге. Впрочем, для рантье так же, как и для газеты «Конститюсьонель», Англия — это двоедушная кумушка, чрезвычайно любезная; она оказывается то коварным Альбионом, то образцовой страной: коварным Альбионом,— когда речь идет об оскорбленной Франции, ущемленной в своих интересах, и о Наполеоне; а иной раз именуется образцовой страной,— когда полезно ее противопоставить министрам.

Ученые пожелали вычеркнуть рантье из длинного перечня разумных существ, ссылаясь на его отвращение к труду: он любит покой, нужно сознаться. Столь глубокую антипатию питает он ко всему сколько-нибудь напоминающему о хлопотах, что ради него создали особую профессию доверенного лица по получению ежегодных доходов рантье. Его облигации или договоры, его пенсионная книжка хранятся у одного из тех лиц, которые, не имея достаточного капитала на приобретение конторы присяжного стряпчего, судебного исполнителя, оценщика, адвоката по коммерческим делам или нотариуса, открывают кабинет «ходатая по делам». Рантье не ходит за получением денег в казначейство, а получает их у себя на дому. Казначейство не живое существо, оно не любит болтать, оно платит, не говоря ни слова, тогда

как приказчик этого доверенного или сам доверенный четыре раза в году болтают с рантье по нескольку часов. Хотя эти визиты обходятся рантье в один процент с его ренты, они необходимы рантье, который, вполне полагаясь на своего доверенного, черпает у него кое-какие сведения насчет положения дел и насчет видов правительства. Рантье любит своего доверенного в силу преувеличенной чувствительности, присущей рантьерскому племени, он интересуется всем решительно: мебелью доверенного, кварталом его, служанкой, швейцаром, мэрией, а если доверенный состоит в национальной гвардии, то также и его ротой. Превыше всего рантье обожает Париж, любовь к королю входит у него в систему, а принцессу Орлеанскую он торжественно именует «Мадам». Всю свою ненависть он направляет на республиканцев. Если он допускает в газете или в беседе выражение «демократический элемент», то не смешивает этот элемент с республиканским духом.

— Постойте, постойте, это ведь совсем не одно и то же.

И тут он углубляется в рассуждения, которые приводят его к 1793 году, к террору; при этом он доходит до снижения ренты, то есть до Варфоломеевской ночи финансистов. Известно, что республика питает по отношению к рантье злые умыслы, только республика имеет право объявить себя банкротом, «ибо,— говорит он,— только *все* имеют право не платить никому». Он запомнил эту фразу и держит ее в своем арсенале для того, чтобы нанести в политических спорах решительный удар противнику. Вступив в беседу с рантье, вы тотчас же начинаете ощущать, до чего присущи наркотические свойства почти всем индивидам этого вида. Если вы позволите рантье ухватиться за пуговицу вашего сюртука, если вы взглянете прямо ему в глаза, сонные и неподвижные, вы оцепенеете, онемеете; если вы станете его слушать, он сообщит вашим челюстям зевательное движение, так часто он будет вам повторять общие места. Вы узнаете удивительные вещи.

— Революция началась в 1789 году,— сообщает он вам,— и займы Людовика XIV ее подготовили. Людовик XV, эгоист, впрочем, не лишенный ума, развратный король, много тому способствовал (вы, конечно, знаете

о его Оленьем парке)! Господин Неккер, злонамеренный женевец, пустил маятник в ход. Всегда иностранцы губили Францию. Образовались очереди за хлебом. Предельные цены, установленные Конвентом, много ущерба нанесли революции. Впрочем, Буонапарте стал расстреливать парижан, и эта дерзость ему удалась. А знаете, почему Наполеон великий человек? Он в одну минуту вынимал пять понюшек табаку из жилетных карманов, в которых нарочно для этого была подшита кожаная подкладка; он урезывал поставщиков, дружил с Тальма. Тальма обучил его жестикулировать, и тем не менее он постоянно отказывался украсить грудь Тальма орденом. Во время первой итальянской кампании император сам встал на место солдата, уснувшего на часах, не желая подводить его под расстрел.

Рантье знает, кто кормил последнего коня Наполеона, и даже водит своих приятелей взглянуть на этого интересного коня, но с 1813 по 1821 год водил тайком, а после 5 мая 1821 года — открыто, ведь теперь Бурбонам нечего опасаться Наполеона. Ну, а Людовик XVIII, обладавший, кстати сказать, обширными познаниями, был несправедлив к Наполеону, именуя его «господин де Буонапарте».

Тем не менее рантье обладает драгоценными качествами: он человек благодушный, у него нет скрытой низости, злобного властолюбия крестьянина, который дробит землю на мелкие участки. Нравственные принципы сводятся у рантье к тому, что не следует ни с кем вступать в пререкания; в деловых отношениях он зависит от домовладельца и от швейцара, но он хорошо устроен, он так привык к двору, к лестнице, к швейцарской, к дому: домовладелец и швейцар отлично знают, что он останется в своей скромной квартирке до тех пор, пока не выйдет из нее, по его собственным словам, ногами вперед, поэтому обе эти особы питают к нему лестное уважение. Налог он вносит аккуратнейшим образом. Словом, во всех отношениях он за правительство. Если на улице сражаются, он имеет мужество высказывать собственное мнение и швейцару и соседям; он выражает сожаление правительству, но безжалостен к префекту полиции, он не допускает полицейских махинаций: полиция

никогда не знает того, чему ее учили; на его взгляд, полиция — это чудовищное уродство, он хотел бы, чтоб ее вычеркнули из государственного бюджета. А если его задерживают на улице во время восстания, он показывает свой зонт, его пропускают, и он высказывается так: *милые мальчики, сбившиеся с пути из-за неправильных действий полиции.* Перед восстанием и во время восстания он стоит за правительство, а едва начинается политический процесс, он на стороне обвиняемых. В живописи он одобряет Виньерона, автора «Похорон бедняка». Что же касается литературы, он следит за нею по объявлениям, расклеенным на стенах; впрочем, он подписывается на песни Беранже. В настоящий момент он опирается на трость и спрашивает у дамского угодника (разновидность рантье) как человек, до некоторой степени понимающий в литературе:

— Вот что! Скажите окончательно, кто он, этот Жорж Санд (он произносит Занг), о котором так много говорят? Женщина это или мужчина?

Рантье не лишен оригинальности. Вы ошиблись бы, признав его за фигуру бесцветную. Париж — очаг, пылающий так ярко, Париж сияет с такой вулканической силой, что его отсветами окрашивается все, даже фигуры на заднем плане. Рантье тратит на свою квартиру десятую часть своего дохода согласно предписанию какого-то неведомого кодекса, которым он пользуется по любому поводу. Поэтому вы услышите от него следующие аксиомы: «Нужно есть горошек, когда едят его богачи, а вишни, когда едят их бедняки. Не следует есть устрицы в те месяцы, в названии которых нет буквы «р», и т. д. Его квартирная плата никогда не превышает ста экю. И вот рантье процветает в квартале Марэ, в Сен-Жерменском предместье, на покинутых порядочными людьми улицах Руа-Доре, Сен-Франсуа, Сен-Клод, неподалеку от Королевской площади или Люксембургского дворца и в некоторых пригородах; он избегает новых кварталов. После тридцатилетнего прозябания каждая особь рантье окончательно сооружает раковину, в которой и прячется, подбирая предмет за предметом подходящую обстановку: часы в виде лиры или солнца для крохотной уютной гостиной, где стены окрашены масляной краской, а пол натерт до зеркального блеска; чучела канареек под

стеклянным колпаком, крестики, искусно сделанные из бумаги, соломенный коврик перед каждым креслом и старый ломберный стол. В столовой — барометр, рыжие занавески, стулья в античном стиле. Когда накрывают на стол, каждая салфетка вложена в особое кольцо с инициалами, сделанными из голубого бисера терпеливою дружеской рукой. Опрятность в кухне замечательная. Комната для прислуги мало беспокоит рантье, зато он крайне озабочен погребом; он долго сражался за собственный сарай для дров и погреб для вина, и, когда его спрашивают об этой частности, он отвечает не без высокопарности:

— У меня есть и винный погреб и сарай для дров. Много понадобилось времени, чтобы убедить домовладельца, но в конце концов он пошел на уступки.

Рантье запасается дровами уже в июле, у него работают всегда одни и те же пильщики, он сам наблюдает за тем, как на складе обмеривают дрова. Он любит все измерять методически точно. Он ждет не дождется, чтобы с переменой времени года появились соответствующие сезону продукты. Он решил, например, откушать макрели, поднимается спор, сколько придется за нее платить, он велит принести рыбу к нему на дом, он шутит с торговкой. Дыня остается для него лакомством аристократическим, и он всегда сам выбирает дыню и сам приносит ее. Словом, он по-настоящему и всерьез занят столом, еда для него великое дело, он пробует молоко для утреннего кофе, которое пьет из серебряной чашки, имеющей форму дароносицы.

Утром рантье встает всегда в один и тот же час независимо от времени года; он бреется, одевается и завтракает. Между завтраком и обедом у него немало дел. Не смейтесь! Здесь начинается великолепное и поэтическое существование, неведомое тем, кто смеется над этими бесхитростными существами. Рантье подобен золотых дел мастеру, он расплющивает самые крохотные частицы своих переживаний, растягивает их и обменивает на события, огромные по своему размеру; он распространяет свою деятельность на весь Париж и позлащает кратчайшее мгновение своего бытия счастьем, иногда бескорыстным, продолжительным и лишенным глубины. Рантье весь ушел в глаза, и постоянное пользо-

вание этим органом является причиной отупелости его взгляда. Любопытством рантье объясняется и его жизнь: вне Парижа обитать он не может, здесь он пользуется всем. Трудно было бы представить себе поэму более прекрасную, но она принадлежит к школе Делиля и носит характер чисто дидактический. Рантье присутствует на всех отпеваниях и бракосочетаниях, он бегает по знаменитым судебным процессам, а если не получит доступа в зал, то по крайней мере увидит протискивающуюся туда толпу. Он спешит посмотреть, как мостят площадь Людовика XV, в каком положении находятся предназначенные для нее статуи и фонтаны; он восторгается скульптурами, которых литераторы добились от предпринимателей для украшения домов в новых кварталах. Наконец, он отправляется к изобретателям, помещающим объявления на четвертой странице газет, он заставляет их показать ему изобретенные ими усовершенствования и улучшения, он поздравляет их с достигнутыми результатами и уходит, довольный своим отечеством, пообещав прислать клиентов. Его восторг не знает устали. На другой день после пожара он идет взглянуть на сгоревшее здание. Выпадают на его долю торжественные дни; он присутствует на заседании палаты депутатов. Трибуны еще пусты, он думает, что пришел слишком рано, что люди еще соберутся, но вскоре оч забывает об отсутствующей публике, увлеченный одним из тех безвестных ораторов, чьи речи длятся два часа и занимают в газете две строки. Вечером, столкнувшись с другим рантье, он превозносит депутата Герена (из Эврского департамента) или королевского комиссара, отвечавшего на запрос Герена. Эти знаменитые незнакомцы приводят ему на память генерала Фуа, этого святого от либерализма, заброшенного, как старый лафет. В течение нескольких лет он будет говорить о Герене (от Эврского департамента) и будет удивляться, что только он один говорит о нем. Время от времени он спрашивает:

— А что стало с мосье Гереном из Эврского департамента?

— С врачом?

— Нет, оратором, депутатом.

— Не знаю такого.

— Между тем он заслуживает доверия, удивляюсь, почему король еще не сделал его министром.

В дни фейерверка рантье около девяти часов утра плотно завтракает, одевается поплоше, засовывает платок в боковой карман сюртука, оставляет дома все золотые и серебряные предметы и в полдень, без трости, направляется к парку Тюильри. Вы имеете тогда возможность наблюдать, как между часом и двумя пополудни он и его жена мирно восседают на стульях посередине террасы, где остаются до девяти часов вечера, как и подобает терпеливым рантье. Ради двадцати тысяч буржуа подобного темперамента город Париж или Франция истратили сто тысяч франков на фейерверк. Фейерверк всегда стоил сто тысяч франков. Рантье перевидал на своем веку все фейерверки, их историю он рассказывает соседям, ссылаясь на жену; он описывает фейерверк 1815 года при возвращении императора:

— Мосье, этот фейерверк обошелся в мильон. Были человеческие жертвы, но тогда, мосье, об *этом* ни капельки не заботились,— говорит он, сухо постукивая по крышке табакерки.— Стояли артиллерийские батареи, барабанщики всего гарнизона. Вот там (он показывает на набережную) стоял корабль в натуральную величину, а здесь (он показывает на колоннаду) — скала. В одно мгновение все зажглось: Наполеон, изображенный очень похоже, отплывал с острова Эльба во Францию! Да, этот человек умело тратил деньги. Мосье, я видел его в начале революции; и то сказать, я уже не молод... и т. д.

Для рантье даются грандиозные концерты, для него поют «Тебе, бога хвалим». Хотя к вопросам религии он относится с безразличием, все же пасхальную мессу он неизменно выстаивает в соборе Парижской богоматери. Жираф, новинки Зоологического музея, выставка картин или промышленных изделий — все для него праздник, предмет, достойный исследования и изучения. Прославившиеся своей роскошью кафе созданы для его неутомимых взоров. Он прожил несравненный, радостный день, когда открылось движение по железной дороге,— в этот день он четыре раза проехал с одного конца до другого. Бывает и так, что рантье умирает, не повидав того, что является предметом его заветнейших желаний: заседания Французской академии!

Вообще говоря, рантье редко ходит в театр; он тратит на это наличные денежки и поэтому ожидает такой пьесы, успех которой привлек бы весь Париж,— а тогда он стоит в очереди и жертвует своими сбережениями. Рантье никогда не платит сантимов, стоящих в итоге счета, и пунктуально откладывает эту мелочь в деревянную чашечку, таким образом за три месяца накопляется франков пятнадцать — двадцать, украденных им у самого себя. Эта его страстишка известна поставщикам, которые накидывают на счет несколько сантимов, чтобы доставить ему удовольствие урезать счет. Отсюда аксиома: «Надо всегда урезать счета». Торговец, противящийся такой урезке, становится для него человеком подозрительным.

Вечером к услугам рантье общество разного рода; можно пойти в кафе и посмотреть, как играют в домино; но торжеством рантье является бильярд: рантье очень силен в игре на бильярде, хотя кия и в руки не берет,— он силен, как галерка, он знает все правила, и внимательность его граничит с экстазом. В знаменитых бильярдных вы можете видеть рантье, которые следят за шарами, так же двигая головой, как собаки, наблюдающие за каждым жестом хозяина; рантье наклоняются, чтобы убедиться, имел ли место карамболь, их берут в свидетели, они считаются авторитетом; но бывает и так, что они засыпают на скамейках, оказав наркотическое действие друг на друга. Рантье так страстно стремится на улицу, его так властно затягивает движение толпы, что он редко посещает излюбленное его женой общество, где играют в бостон, в пикет или в империал; он провожает ее к знакомым и потом приходит за ней. В течение двадцати лет каждый раз, заслышав его шаги, вся компания восклицает:

— Вот и господин Митуфле!

В жаркие дни рантье выходит на прогулку вместе с женой, и, желая доставить мужу приятный сюрприз, она преподносит ему бутылку пива. В тот день, когда их единственная служанка отпрашивается в город, чета обедает в ресторане, наслаждается омлетом-суфле и блюдами, *готовить которые умеют только в ресторанах*. Рантье и его жена почтительно разговаривают с лакеем, проверяют счет по меню, подсчитывают общую сумму, за-

пасаются зубочистками, держатся серьезно и с чувством собственного достоинства: они на людях.

Жена рантье принадлежит к числу тех мещанок, которых можно поместить между женщиной из простонародья и претенциозной буржуазкой. Она обезоруживает насмешника, не собирается никого затмевать, и всякий догадывается, что она желает оставаться сама собой; пряжки ее пояса из поддельного золота, и она хранит их очень бережно; она гордится своей дородностью и больше не признает корсета; когда-то у нее было свеженькое личико, теперь она носит чепчик, но иногда надевает и шляпку, которая идет к ней, как к тряпичнице. Ее приятельницы уверяют, что милая мадам Митуфле никогда не отличалась вкусом. Для подобных женщин текстильные фабрики Руана, Мюлуза, Лилля, Гарара, Лиона, Сент-Этьена хранят образцы материй с дикими, варварскими узорами, где безобразно перемешаны все краски, где пестреют невообразимые букеты и прихотливо разбросаны горошины среди узеньких перекрещенных полосок.

Если у рантье нет сына, который занимает должность младшего писца и надеется стать чиновником, судебным приставом, секретарем суда или приказчиком, то имеются племянники, служащие в армии или в таможне; но будь то сыновья, племянники или зятья, они редко посещают его. Всякому известно, что состояние рантье ограничивается пожизненной рентой, и наследства от него ждать нечего. А посему чувства в этом племени лишены лицемерия и сводятся к тому, чем они и должны быть в обществе. Не редкость встретить в этом кругу родителей, которые оказывают поддержку сыну или племяннику, и племянников или сыновей, оказывающих поддержку своим родным. Дни рождения празднуются здесь традиционно, патриархально, за десертом поют песни. Какой-нибудь предмет обстановки, приобретенный ценою долгих лишений, вызывает простодушную радость всей семьи. Рантье благоговейно чтит заповеди: ни в чем не быть обязанным другому, никогда не должать. По его мнению, люди, увязшие в долгах, способны на все, даже на преступление. Иные развратившиеся рантье собирают коллекции, заводят библиотеки, одни любят гравюры, другие вытачивают на станке подставки для яиц из дерева

причудливых цветов или удят рыбу с лодок возле моста Берси или с плотов, где грузчики иногда застают их объятыми сном и выпустившими из рук удилище. Не станем говорить о вечерних тайнах их личной жизни, которые бросили бы на них своеобразный свет и которые частенько дают их снисходительной половине право говорить с добродушием, поистине женским:

— Мой муженек не проведет меня своими свиданиями с приятелями в «Турецком кафе».

Чем больше с ним знакомишься, тем более открываешь в нем прекрасных качеств. Он сам себе воздает должное, он прежде всего человек тихий, спокойный, мирный. Если вы будете смотреть на него слишком пристально, он взволнуется, начнет озираться, отыскивать причину такого инквизиторского взгляда. Вы никогда не поймаете его на каком-нибудь промахе, он вежлив, он с уважением относится ко всему, чего не понимает, и в таких случаях никого не вышучивает, не в пример особям, принадлежащим к виду «умниц»; встретив похоронные дроги, он снимает шляпу и никогда не пройдет мимо двери, затянутой крепом, без того чтобы не брызнуть святой водой на гроб, без того чтобы не спросить об имени того человека, которому он отдает последний долг; а ежели представится возможность, то он расспросит про то, как жил покойник, и удалится, *пролив слезу* в память о нем. Он уважает женщин, не ввязывается с ними в разговор, никогда с ними не заигрывает,— словом, его единственный недостаток заключается в том, что у него нет недостатков. Найдите, пожалуйста, жизнь, более достойную зависти, чем жизнь этого гражданина! Каждый день дает ему хлеб насущный и новые занимательные предметы. Смиренный и простой, как трава луговая, он столь же необходим общественному строю, как зелень — пейзажу. Но особенно интересным его делает глубокое самоотречение: он ни с кем не борется, он восхищается художниками, министрами, аристократией, королевской властью, военными, энергией республиканцев, нравственной доблестью ученых, национальными героями и пауками-меломанами, которых изобрел «Конституционель», непостоянством «Журналь де Деба» и умом министерских приверженцев; всех, кто стоит выше его, он принимает, не оспаривая, он горд своим отечеством. Он вос-

хищается ради восхищения. Не угодно ли вам узнать тайну этой любопытной жизни? Рантье невежествен, как рыба карп. Он читал песенки Пирона. Его жена берет в кабинете для чтения романы Поль де Кока и два месяца читает четыре томика малого формата; дойдя до последнего тома, она всегда забывает, что случилось в первом; в виде отдыха от чтения она занимается воспитанием канареек и беседою с кошкой. У нее есть кошка, и вообще отличительной ее чертой является неумеренная любовь к животным. Когда рантье заболевает, он становится предметом неусыпных забот. Его друзья, его жена, разные святоши направляют его на путь истины, и обычно он примиряется с церковью: он умирает по-христиански, хотя всю жизнь ненавидел попов, каковым мировоззрением он обязан его величеству, королю либерализма — покойному «Конституционелю первому». Когда рантье опущен на шесть футов в землю, он приобретает известность, не меньшую, чем двадцать две тысячи знаменитостей «Универсальной биографии», из которых человек пятьсот действительно пользуются популярностью. Легко ступал он по земле,— вероятно, и праху его будет легка земля. Науке неизвестна какая-нибудь особая эпизоотия, поражающая рантье, смерть поступает с ним так же, как фермер с люцерной: в положенное время косит его.

От терпеливого микрографа, готовящего специальный и великолепный трактат «О природе узколобия», мы не без труда добыли описание разновидностей рантье; в конце концов он понял, сколь необходимы они для нашей монографии, и представил рисунки, сделанные карандашом вышеназванного рисовальщика. Автор трактата признает, что существует двенадцать нижеследующих разновидностей рантье:

I. Холостяк. Прекрасная разновидность, отличающаяся пестротою костюма, всегда многоцветного; отваживается жить в центре Парижа. Поверх жилета виднеются брелоки, которые были в моде во времена Империи: самородки, мозаичные пейзажи на ключике от часов, игральные кости из ляпис-лазури. Рантье этой разновидности охотно посещает Пале-Руаяль и отдает дань пороку, раскланиваясь с женщиной, которая дает стулья напрокат. Зимой холостяк устремляется на публичные

лекции. Обедает он в ресторане низшего разряда, живет на пятом этаже дома, в который ведет со двора крытый проход и где на антресолях помещается каморка швейцара. Прислуга у нашего рантье приходящая. Некоторые особи этой разновидности рантье носят в ушах сережки, другие любят припудривать волосы, в таком случае они носят фраки василькового цвета. Обычно они брюнеты, в ушах и на пальцах у них произрастают фантастические пучки волос, говорят они глубоким басом, чем и гордятся. А если они не прибегают к пудре, то красят волосы черной краской. Прюдом, которого открыл Анри Монье, один из ученейших наших натуралистов, великолепно консервировавший его в спирту, обрамивший его замечательными рисунками и демонстрирующий его чрезвычайно любезно,— Прюдом принадлежит к этой разновидности. Подобные рантье говорят на странном языке. Когда их спрашивают: «Как вы поживаете»,— они отвечают: «Свирепствую в своем уважении к вам». Если вы заметите им, что глагол «свирепствовать» значит совсем не то же самое, что «свидетельствовать свое уважение», они вам ответят почти насмешливо: «Уже тридцать лет я многим говорю «свирепствую в своем уважении», и никто меня не поправлял. Да в моем возрасте привычек не меняют». Этот рантье не способен ни к какой привязанности, никакой религии для него не существует, никакая партия не может его увлечь; большую часть дня он проводит в кабинетах для чтения, вечером, если идет дождь, находит себе приют в кафе и смотрит на входящих и выходящих завсегдатаев. Мы не имеем возможности следить за ним, когда он медленно совершает ночные прогулки в хорошую погоду. *Плоды войны* губят немало их каждую зиму. Не спутайте эту разновидность с «дамским угодником»: «холостяк» жениться не собирается, а «дамский угодник» рассчитывает на женитьбу.

II. Неудачник. Эта разновидность создала ротозея. Рантье-неудачник вспыльчив, но быстро успокаивается. На его худощавом лице преобладают желтые и зеленоватые тона. Он, единственный из всех рантье, предается честолюбивым замыслам, которые ничем не завершаются, только выводят его из благодушного настроения и озлобляют. Этот рантье отказывает себе во всем: ведет трезвый образ жизни, носит потертую одежду; он взби-

рается еще выше, чем вышеописанный рантье, он готов лицом к лицу встретиться с суровостью мансарды, по утрам питается маленькими хлебцами и молоком, обедает за двенадцать су у Мизере или за двадцать су у Фликото, он на пять су истреплет башмаков, чтобы дойти до такого места, где, по его мнению, можно сэкономить три су. Горемыка носит побелевшие на швах линялые сюртуки, жилеты его лоснятся. Волосы у него топорщатся, как мех у шиншиллы, но он гладко зачесывает свою шевелюру. Телом он сух, глаза у него, как у сороки, щеки и живот ввалились. Этот глупый калькулятор откладывает грош за грошем, составляя себе капитал, чтобы еще более увеличить свое будущее благополучие; порядочному человеку он не даст взаймы тысячу франков, зато держит деньги наготове для самого воровского из всех предприятий. Он хватается за все, что кажется ему выгодным, и очень легко попадает в ловушку спекулянта, своего врага. Комиссионеры акционерных обществ узнают его по птичьей голове, насаженной на вихляющий корпус. Он чаще прочих рантье разговаривает сам с собою во время прогулок.

III. Женатый. Этот рантье делит свой доход на равные месячные доли. Из каждой доли он старается кое-что сэкономить, в чем ему помогает супруга. О том, что он состоит в браке, свидетельствуют белизна белья, жилеты светло-желтого цвета, плиссированные жабо, шелковые перчатки, которые он умудряется носить не меньше года. Он неразговорчив, он только слушает и изобрел средство заменять первый вопрос понюшкой табаку, которую он предлагает. Отличаясь крайней кротостью, женатый рантье старательно занимается домашними делами: выполняет хозяйственные поручения, выводит женину собаку погулять, ходит за сластями и, решаясь перейти улицу, минут пять стоит на тротуаре, выжидая, когда проедет экипаж. К рабочему он обращается со словами: «Мой друг!» Этот человекообразный индивид негодует и собирает вокруг себя толпу, когда ломовой бьет лошадь; он спрашивает, зачем так нагружать телегу, он рассуждает о необходимости закона, охраняющего животных и уже существующего в Англии, колыбели конституционного правительства. Но если ломовой поднимает бунт против зрителей, то женатый рантье, будучи отцом семей-

ства, спешит улизнуть. Ему в большой части присущи те же черты, которые характерны для рантье в собственном смысле слова. Недостаток его заключается в том, что он тайком от жены подписывается на издания, печатающиеся выпусками. Некоторые из женатых особей посещают Атеней, другие становятся членами подозрительных певческих кружков, незаконных детей «Погребка», попросту именуемых попойками.

IV. Молчальник. Вы видите мрачного, как будто задумавшегося человека, который идет, засунув руку за борт жилета, а в другой руке держит трость с набалдашником из белой слоновой кости. Он как будто имитирует само Время, каждый день шагая так же размеренно, и кажется, что лицо его испечено булочником. Он совершает полный оборот с неуклонной регулярностью солнца. Так как в течение полустолетия во Франции неспокойно, то полиция встревожена, ей всегда нужно что-то разузнать, и в конце концов она начинает следить за этим рантье: она видит, что он направляется на улицу де Берри, поднимается на пятый этаж, вытирает ноги об истершийся половичок, вынимает ключ и осторожно проскальзывает в квартиру. Чем он занимается? Неизвестно. И вот его берут под наблюдение. Сыщикам чудится производство пороха, фальшивых кредиток, подделка векселей и завещаний. Следя за ним вечером, полиция убеждается, что Молчальник дорого оплачивает те наслаждения, которые дешево даются студентам. Полиция его подстерегает, с него не сводят глаз, он выходит из дому, входит в кондитерскую, в аптеку, здесь и там вручает в задней комнате какие-то пакеты, утаенные им от всех. Полиция усиливает меры предосторожности. Самый смышленый агент является к Молчальнику на квартиру под предлогом наследства, оставленного ему на Мадагаскаре, проникает в подозрительную комнату, видит там признаки крайней нищеты и удостоверяется в том, что этот рантье, добывая средства для утоления своих страстей, обертывает бумагою плитки шоколада и наклеивает на них этикетки: он стыдится своей работы, не стыдясь тех целей, ради каких он ее выполняет. Вся жизнь этого рантье сводится к единой страсти, из-за которой он становится идиотом и кончает свои дни в Бисетре или в больнице для неизлечимых.

V. Военный. Эта оригинальная разновидность заинтересует любителей различных человеческих типов особенной манерой носить трость, снабженную петлей из плетеного кожаного шнура, при помощи которой она висит на пуговице сюртука, наличием высоких сапог, опущенными плечами и выпяченной грудной клеткой, наконец, манерой выражаться, гораздо более смелой, чем у иных разновидностей. Этот рантье, поворачивающийся во все стороны так легко, точно он насажен на шпенек, каждый триместр предлагает вашему вниманию весьма любопытные перипетии. В начале триместра он блестящ и великолепен. Он курит сигары, угощает своих собутыльников, лакомится матлотом или жареными пескарями; он заложил свое пенсионное свидетельство у темного дельца, богатого ростовщика, который учел вероятность его долголетия. Пока длится эта фаза, он опрокидывает изрядное количество рюмок, его раскрасневшееся лицо сияет; вскоре он переходит на положение человека, которого преследуют долги, и уже курит табак «капораль». У этого рантье, как у метеора, нет постоянного местожительства. Он утверждает, что негодяй, получивший за него пенсию, его обокрал; вытянув у него более или менее значительную сумму, рантье выкидывает такую штуку: он переезжает за какую-нибудь антарктическую заставу, где обрекает себя на гражданскую смерть, и в течение нескольких триместров экономит пенсию. Здесь славный обломок наших армий, по слухам, продает питающему его содержателю ресторана то свидетельство, которое уже заложено «негодяю». Описываемая разновидность танцует на гуляньях за заставой и рассказывает об Аустерлице, когда, напившись сразу за весь триместр, ложится спать под открытым небом, где-нибудь за городской стеной.

Иногда вы встречаете краснорожих инвалидов, шляпа у них продавленная, белье порыжелое, бархатный воротник засален, сюртук цвета конского навоза украшен красною ленточкой; они, как тени, бродят по Елисейским полям, милостыню просить они не могут, глаза у них мутные, зимой они без перчаток, а летом носят сюртук из грубошерстной ткани; живут эти новые Кодруки на тысячу франков в год и обедают где-нибудь у заставы за десять су,— между тем когда-то они заклепали орудия

целой неприятельской батареи и спасли жизнь императору. Солдатское балагурство придает соль их рассказам. Этот рантье любит детей и солдат. Суровой зимой соседи вызывают полицейского комиссара, который видит, что славный обломок наших армий лежит на соломе в немилосердно холодной мансарде; при помощи удостоверений об орденской пенсии и обычной военной пенсии комиссар устраивает его в богадельню. Другие представители этой разновидности благоразумны и устроились получше, они живут с женщиной, прошлое которой столь же подозрительно, как и общественное положение, но она держит табачную лавочку, кабинет для чтения или мастерскую шнурков. Если они и ведут весьма странный образ жизни, то подруга жизни предохраняет их от богадельни.

Впрочем, эта разновидность — самая необычайная: она одевается так пестро, что трудно определить характер ее костюма. Имеется, однако, одна особенность, свойственная всем индивидам этой разновидности: питая глубокое отвращение к галстуку, они носят стоячий воротник, грязный, обтрепанный, засаленный воротник, но все-таки воротник, а не галстук какого-нибудь штафирки. Еще одна черта: они не ходят, а маршируют.

VI. Коллекционер. Этот рантье, явно одержимый страстью и носящийся по Парижу совсем не бесцельно, отличается странными идеями. Незначительность состояния мешает ему коллекционировать дорогие вещи; но он готов и самыми пустячными предметами удовлетворить свою страсть к коллекционированию: страсть истинную, упорную, действительно существующую у человекообразных, населяющих большие города.

Я лично знал подобного индивида, который обладал коллекцией всех афиш, как расклеенных по стенам, так и предназначавшихся для расклейки. Если Королевская библиотека, по смерти этого рантье, не приобретет его коллекции, то Париж потеряет великолепное собрание оригинальных творений, появившихся на его стенах. Другой собрал все проспекты — библиотека в высшей степени любопытная. Третий коллекционирует исключительно гравюры, на которых изображены актеры и театральные костюмы. Четвертый отбирал для своей библиотеки только такие книги, которые печатались выпусками ценою в шесть су и ниже. Рантье-коллекционеры отличаются не-

брежностью костюма, растрепанными волосами, какой-то убитостью в выражении лица; они не идут, а тащатся по набережным и бульварам. Облик у них страдальческий, как у всех людей, одержимых навязчивой идеей, и показывает, до какого падения может дойти рантье, позволивший себе увлечься какой-нибудь мыслью. Они не принадлежат ни к бродячему племени художников, ни к племени ученых, ни к племени писателей, но всем им сродни. Про таких рантье соседи говорят: «Немножко тронулся». Они натуры непонятые, всецело отдавшиеся своей идее; живется им плохо, приходящая прислуга жалеет их; частенько их влечет к чтению, им хочется бывать у талантливых людей, но художники редко отличаются снисходительностью и смеются над ними.

VII. Филантроп. Сохранился только один экземпляр этой разновидности; музей, конечно, сделает из него чучело. Рантье не настолько богаты, чтобы творить добро, не настолько хитры, чтобы творить зло, не настолько ловки, чтобы составить себе состояние, якобы заботясь о каторжниках и бедняках; поэтому мы считаем невозможным создавать особую разновидность во славу единственного отклонения от нормы, относящегося к области тератологии, прекрасной науки, созданной Жоффруа Сент-Илером. В этом отношении я не согласен с знаменитым автором вышеупомянутого трактата: об его попытке, оказывающей, впрочем, честь ему, я упомянул только ради беспристрастия; но ученые теперь должны опасаться классификаций; номенклатура — это силок, поставленный синтезом для уловления анализа, его исконного соперника. Не обязана ли наука, прежде чем устанавливать различные категории, хорошенько поразмыслить, особенно в мелочах. Мы не хотим повторять ошибок, вкравшихся в ботанику по поводу систематики роз и георгин.

VIII. Пенсионер. Анри Монье отличает эту разновидность от разновидности «военный», а на самом деле пенсионер — это один из типов чиновника.

IX. Сельский житель. Этот рантье-дикарь гнездится на высотах Бельвиля, живет также на Монмартре, в Ла-Виллет, Ла-Шапель или в новом предместье — Батиньоль. Он предпочитает одноэтажные строения с садиком в сто двадцать квадратных футов, где выращи-

вает хилые растения, приобретая рассаду на Цветочной набережной. Его положение exstra muros [1] — позволяет ему держать садовника, чтобы зарывать в землю все эти корешки. Цвет лица у него свежее, чем у других разновидностей, он утверждает, что дышит чистым воздухом, походка у него уверенная, он рассуждает об агрикультуре и читает справочник «Умелый садовод». Толар — его герой. Ему хотелось бы завести оранжерею, чтобы выставить какой-нибудь цветок в Лувре. Его можно встретить в Венсенском лесу или в Роменвильском; он воображает, будто собирает здесь цветы для гербария, на самом деле ищет себе пищу, хвастаясь тем, что понимает толк в грибах. Его жена, столь же благоразумная, сколь опасливая, принимает меры к тому, чтобы выбросить собранные им тайнобрачные, заменив их шампиньонами с унавоженной грядки,— невинный обман, который поощряет этого рантье продолжать свои прогулки по лесу. Еще немного, и он сделался бы коллекционером. Он самый счастливый из всех рантье. Под опрокинутой ивовой корзиной у него сидят куры, подыхающие от какой-то болезни, неизвестной их прежним владельцам. Он говорит: «мы сельские жители», и считает, что живет в настоящей деревне, хотя его соседи всего лишь торгаш, откармливающий скот на убой, да хозяин двора для извозчиков. «Жизнь в деревне не так дорога, как в Париже»,— утверждает он, угощая оссерским вином, за которое, к своей великой гордости, он не платил городской ввозной пошлины. Постоянно посещая театры Бельвиля и Монмартра, он наслаждается жизнью вплоть до того дня, когда его жена умрет от острого ревматизма; тогда он, опасаясь влияния сырости на свое здоровье, со слезами на глазах переселяется в Париж, который, по его словам, никогда не следовало бы ему покидать, если бы он заботился о продлении жизни своей *дорогой покойницы*.

X. Ростовщик. Эта разновидность, бледная, с землистым цветом лица и страшными глазами, защищенными зеленым козырьком на тонком обруче из латунной проволоки, гнездится в темных переулках, в дрянных квартирах. Укрывшись в чистенькой конторе за папками для деловых бумаг, эта разновидность произносит

---

[1] Проживающий за городской стеной *(лат.)*.

сладенькие слова, за которыми, однако, скрыты безжалостные решения. Эти рантье храбрее всех прочих: учитывая вексель сроком на полгода, они требуют себе пятьдесят процентов, если видят, что у вас нет ни кредита, ни трости в руках. Они франкмасоны и любят, чтобы их рисовали в костюме дигнитария ложи Великий Восток. Одни из них носят узкий зеленый сюртук, делающий их похожими на кузнечика, с которым сходны они и лицом, да и стрекочут они, как кузнечики; у других телячье выражение лица, они вялы в движениях и слащавы, как лакричное слабительное. На каком-нибудь одном деле они теряют барыш от десятка векселей, ростовщически учтенных ими, в конце концов становятся подозрительны и своей подозрительностью внушают ужас. Эта разновидность никогда не смеется и ни за что не выйдет на улицу без зонта; она носит башмаки с двойной подошвой.

XI. Дамский угодник. Эта разновидность становится редкостью. Отличительными ее особенностями являются двойные или даже тройные жилеты, причем все очень яркие, аккуратность костюма, подвижность, как у мотылька, осиная талия, ботфорты, булавка с огромным медальоном, сделанным из белокурых волос,— сувенир этот сплетен так искусно, что создатель его, волосяных дел мастер, мог бы посоперничать с самим Бенвенуто Челлини. Этот рантье прячет свой подбородок в пышном галстуке. Он закладывает уши ватой, носит вычищенные старые перчатки, принимает анакреонтические позы, очень изящным движением почесывает себе голову, посещает общественные места, ищет выгодной партии, обходит все приделы церкви св. Роха, когда к обедне собираются красотки, по вечерам бывает на концертах Валентино, лишь приблизительно следит за модой и к женщинам обращается со словами: «Прекрасная дама!» Говорит он сладким голосом, подобным флейте, и любит танцевать. Прослужив богине Венере лет десять, он компрометирует себя связью с интриганкой, особой тридцати шести лет, имеющей двух щепетильных братьев; в конце концов он становится счастливым супругом очаровательной и весьма изысканной женщины, в прошлом — модистки, затем — баронессы, уже начинающей страдать полнотой,— тогда он спускается до уровня обыкновенного рантье.

XII. Рантье из пригорода. Эту разновидность составляют бывшие ремесленники или цеховые мастера, отличающиеся бережливостью, которые начали с блузы и плисовых штанов, а кончили сюртуком каштанового цвета и синими суконными штанами; они даже и не войдут в винную лавку, прогуливаются всегда по ту сторону заставы Сен-Дени. Это люди спокойные, не занятые ничем, они ведут растительный образ жизни, играют в шары или смотрят, как играют другие.

О хрупкая глина, никогда не совершающая преступлений, обладающая добродетелями безвестными, но порою высокими! О каменоломни, откуда Стерн извлек материал для прекрасной фигуры дяди Тоби и откуда я извлек своего Бирото,—с сожалением покидаю я тебя.

Дорогой рантье, читая эту монографию (если ты станешь ее читать), приготовься к новому удару: тебе придется платить за консолидированную пятипроцентную ренту, за эту последнюю треть рантьерского богатства,— оно уже наполовину уменьшено было аббатом Терре, а ныне его снизят еще обе палаты с тем большей легкостью, что когда узаконенное предательство совершается тысячью человек, оно ни в ком не пробуждает голоса совести. Напрасно ты в течение тридцати лет читал на афишах государственного казначейства, то республиканского, то императорского, то королевского, слова: *Вечная рента!* Не взирая на эту игру слов, тебя, бедный общественный агнец, будут стричь в 1848 году, как стригли в 1690 году, как стригли в 1750 году. А знаешь, почему? Кроме меня, нет у тебя защитников. Во Франции на всякого, кто выступает в защиту слабого, обрушивается целый град издевательств. У нас слишком любят шутку (единственный фейерверк, не замечаемый тобою), чтобы кто-нибудь тебя пожалел. Когда у тебя урежут еще четверть твоего дохода, тогда твой обожаемый Париж станет смеяться над тобой в глаза, посвятит тебе карикатуры и споет в твою честь жалобные погребальные мелодии — словом, он пригвоздит тебя к четырем литографиям, снабженным каламбурами.

Альманах «Французы, изображенные ими самими», т. III, 1840 г.

СЕРДЕЧНЫЕ МУКИ АНГЛИЙСКОЙ КОШЕЧКИ

Животные Франции! Когда в Лондоне был получен отчет о вашем первом заседании, сердца забились у всех, кто стоит за реформу в мире животных. Не выходя за пределы тесного круга знакомств, я собрала столько доказательств превосходства зверей над людьми, что, будучи английской кошкой, увидела долгожданную возможность издать автобиографический роман, имеющий целью показать, до чего измучили меня, бедняжку, английские лицемерные законы. Уже два раза мыши — я дала обет не трогать их, после того как вашим высоким собранием был принят *билль*,— водили меня в издательство Кольбурна, и там, видя, что пожилые мисс, леди неопределенного возраста и даже молодые дамы правят корректуру своих книг, я спрашивала себя: раз у меня есть когти, почему же не дать им работу?

Никогда не будет известно, о чем думают женщины, особенно те из них, что причастны к литературе; между тем кошка, ставшая жертвой английского коварства, заинтересована в том, чтобы высказать не только свои мысли; и, может быть, все, что она добавит к своим мыслям, вознаградит вас за умолчание знаменитых леди. Я питаю честолюбивую мечту занять в кошачьем мире место миссис Инчбальд и прошу вас, французские кошки, оказать внимание моим благородным намерениям,— ведь у вас возникла самая крупная фирма кошачьей породы, фирма Кота в сапогах, который навеки олицетворил собою рекламу и которому подражало столько людей, хотя они еще до сих пор не удосужились поставить ему памятник.

Я родилась в доме Котширского пастора близ городка Мяубюри. Плодовитость моей матери обрекла жестокой участи почти всех ее детей, ибо, как известно, до сих пор остается невыясненным, чему приписать непомерную жажду материнства у английских кошек, которые грозят населить своим потомством весь мир. Наши коты и кошки, каждый по-своему, приписывают такой результат своей обходительности или же собственной добродетели. Но дерзкие наблюдатели говорят, что коты и кошки подчинены в Англии образцово скучным правилам приличия и поэтому единственное развлечение находят в маленьких радостях семейной жизни. Другие утверждают, что тут дело не обошлось без влияния промышленности и политики, по причине английского господства в Индии; но моим лапкам не подобает касаться этих вопросов, и я предоставляю их «Эдинбургскому обозрению». От потопления, предписываемого конституцией, меня избавила совершенно белая шкурка. Из-за нее-то меня и назвали Бьюти [1]. Увы! Бедность пастора, имевшего жену и одиннадцать дочерей, не позволила ему оставить меня у себя в доме. Какая-то старая дева заметила мою склонность к пасторской библии; я постоянно лежала на библии, но не из религиозных побуждений, а потому, что другого чистого местечка в доме не было. Вероятно, решив, что я принадлежу к секте священных животных, подарившей когда-то миру Валаамову ослицу, старая дева взяла меня к себе. Мне исполнилось только два месяца. Эта старая дева, устраивавшая вечеринки, причем пригласительные билеты обещали гостям чай и чтение библии, попыталась сообщить мне познания, роковые для дщерей Евы; она достигла успехов, применив протестантский метод, сводящийся к столь пространным рассуждениям о личном достоинстве и внешних обязательствах, что согласишься на любое мученичество, только бы не слышать их.

Однажды утром я, бедное дитя природы, соблазнившись чашкой сливок, на которой сверху лежала булочка (muffing), лапкой отбросила булочку и принялась лакать сливки; потом от радости или, может быть, вследствие слабости моего юного организма я поспешила удовлетво-

---

1 Beauty *(англ.)* — красавица.

рить на клеенчатой скатерти самую настоятельную потребность котят. Увидев доказательство моей, как она сказала, *невоздержности* и моего дурного воспитания, старая дева схватила меня, сильно отхлестала березовыми прутьями, торжественно обещая или сделать из меня настоящую леди, или выбросить меня вон.

— Вот это мило!..— сказала она.— Знайте, мисс Бьюти, что английские кошки окутывают покровом глубочайшей тайны все естественные склонности, могущие нанести ущерб английской респектабельности, чуждайтесь всего непристойного (improper), применяйте ко всякой твари те же законы, которые бог вложил в свое творение, как сказал, помните, почтенный доктор Симпсон. Разве вам приходилось видеть, чтобы земля вела себя неприлично? Кроме того, разве вы не принадлежите к *секте святых*, которые по воскресеньям ходят очень медленно, чтобы встречные почувствовали, что они прогуливаются? Знайте, что лучше тысячу раз претерпеть смерть, чем обнаружить свои желания: в этом и состоит добродетель *святых*. Лучшей привилегией кошек является то, что они могут удалиться со свойственной им грациозностью, куда-то пойти и там слегка заняться своим туалетом. Перед другими вы будете показываться лишь во всей красе. Обманувшись вашим внешним видом, все станут принимать вас за ангела. Отныне, когда вас охватит подобное желание, взгляните в окно, сделайте вид, будто хотите прогуляться, и отправьтесь куда-нибудь в кустики или на крышу. Дочь моя, если вода — слава Англии, то происходит это потому, что Англия умеет пользоваться ею, а не выливать ее по-дурацки на землю, подобно французам, у которых никогда не будет флота из-за их равнодушия к воде.

По моему кошачьему разумению, здравому и простому, в этой доктрине заключалось немало лицемерия; но ведь я была так молода!

«Когда же удастся мне побывать на крыше?» — думала я, поглядывая на старуху.

— А когда ты останешься одна и будешь уверена, что никто на тебя не смотрит, ну тогда, Бьюти, ты сможешь пожертвовать приличиями с тем большим удовольствием, чем более сдержанно ты вела себя на людях. В этом-то и проявляется все совершенство английской морали, ко-

торая интересуется исключительно видимостью, ибо сей мир, увы, есть только видимость и обман.

Признаюсь, мой здравый смысл животного восставал против такого притворства; но после того как меня высекли, я наконец поняла, что вся добродетель английской кошки сводится к внешней опрятности. С тех пор я приучилась прятать под кровать свои любимые лакомства. Никто не видел, как я ем, пью и совершаю свой туалет. Меня считали перлом кошачьего мира.

Я имела тогда случай приметить глупость мужчин, выдающих себя за ученых. Среди докторов и прочих людей, принадлежавших к кружку моей хозяйки, был некий Симпсон, порядочный болван, сын богатого помещика, рассчитывавший на высокую церковную должность и, дабы ее заслужить, истолковывавший поведение животных на религиозный лад. Однажды вечером он увидал, как я лакаю молоко из плоской чашки, и поздравил старую деву с прекрасными результатами моего воспитания, так как я, по его наблюдениям, сначала облизала края чашки, а затем обошла ее кругом, продолжая лизать и все уменьшая круг молока.

— Видите,— сказал он,— как все стремится к совершенству, пребывая в обществе святых людей. У Бьюти есть чувство вечности, и, лакая молоко, она описывает круг, который является эмблемой вечности.

Совесть заставляет меня признаться, что моя манера пить молоко объяснялась нежеланием замочить шерсть, что свойственно всем кошкам; но ученые никогда не будут верно судить о нас, ибо они больше стараются показать свой ум, чем понять наш ум.

Когда дамы или мужчины брали меня на колени и гладили мою белоснежную шерстку, чтобы из нее выскакивали искры, старая дева с гордостью говорила:

— Вы можете положить ее себе на колени и не опасаться за ваше платье, она воспитана прямо изумительно.

Все называли меня ангелочком; мне наперебой предлагали лакомства и самые тонкие блюда; но, не скрою, я очень скучала.

Я вполне поняла, почему жившая по соседству кошечка убежала с котом. Слово «кот» болезненно отзывалось в моей душе, и эту болезненность ничто не могло

устранить, даже комплименты, которые я получала, или, вернее, которыми моя хозяйка осыпала самое себя.

— Бьюти вполне добродетельна, это ангелочек,— говорила она.— Она очень красива, но как будто этого не знает. Ни на кого она не взглянет, а это и есть верх аристократической воспитанности; правда, она охотно позволяет всем любоваться ею; но отличается совершенной бесчувственностью, которой мы требуем от наших юных мисс и с большим трудом добиваемся. Без вашего зова Бьюти к вам не подойдет, никогда не прыгнет фамильярно вам на колени, никто не увидит, как она ест, и, наверно, лорд Байрон (истинное чудовище!) ее обожал бы. Как подлинная, настоящая англичанка, она любит чай, серьезно держится, когда толкуют библейские тексты, ни о ком дурно не думает, а потому умеет и слушать. Она проста, лишена манерности, ни во что не ставит дорогие безделушки; подарите ей кольцо, она не станет его беречь; она не подражает плебейкам, которые ловят мышей, она любит домашний уют (home), до того спокойна, что иной раз вы примете ее за механическую кошку, сделанную в Бирмингаме или Манчестере, а это и есть nec plus ultra [1] образцового воспитания.

Мужчины и старые девы называют воспитанностью не что иное, как привычку скрывать свои самые естественные наклонности; испортив нас окончательно, они говорят, что мы хорошо воспитаны. Однажды вечером моя хозяйка попросила какую-то молодую мисс спеть. Когда эта девушка села за рояль и запела, я сразу же признала слышанные мною в детстве ирландские мелодии и поняла, что сама я тоже музыкантша. Я стала вторить певице, но получила сердитые шлепки, а мисс — комплименты. Эта высшая несправедливость меня возмутила, и я убежала на чердак. Священная любовь к отечеству! О! Что за восхитительная ночь! Я поняла наконец, что такое крыша. Я услыхала, какие серенады поют коты другим кошкам, и от этих очаровательных элегий мне показалось жалким насильно внушенное мне хозяйкою лицемерие. Кошки заметили меня и отнеслись подозрительно к моему присутствию, а какой-то кот с великолепными усами, с толстой талией, весь ощетинившись, подошел ко мне,

---

[1] Последнее слово, верх совершенства *(лат.)*.

осмотрел меня с головы до ног и потом сказал своим приятелям:

— Она еще ребенок.

Услыхав эту презрительную фразу, я принялась прыгать по черепицам и бочком-бочком заходить вправо, влево, с ловкостью, свойственной кошкам; я опустилась на лапки так гибко и тихо, как ни одно животное не могло бы это сделать; мне хотелось доказать, что я совсем уже не ребенок. Но все мои кошачьи нежности ни к чему не привели.

— Когда же мне будут петь серенады? — спросила я себя.

Вид этих гордых котов, исполняемые ими мелодии, с которыми, конечно, не сравнится пение человека, глубоко меня взволновали и побудили меня сочинить несколько коротеньких стихотворений, которые я распевала, бродя по лестницам. Но подготовлялось огромное событие, и оно сразу нарушило мою невинную жизнь. Меня увезла в Лондон племянница моей хозяйки, богатая наследница, которая была от меня без ума и неистово целовала и ласкала меня. Она мне так понравилась, что и я привязалась к ней, вопреки всем кошачьим привычкам. Мы больше не расставались, и в течение целого сезона я имела возможность наблюдать лондонскую светскую жизнь. Здесь-то и пришлось мне изучить испорченность английских нравов, передававшуюся даже животным, и познать то лицемерие (cant), которое проклял лорд Байрон и жертвой которого в такой же степени, как он, сделалась я, не опубликовавшая, однако, своих «Часов досуга».

Арабелла, моя хозяйка, была одной из тех юных особ, которых в Англии много: она сама хорошенько не знала, какого ей нужно мужа. Предоставляемая девушкам полная свобода в выборе мужа доводит их почти до сумасшествия, особенно если подумать о строгости английских нравов, которые не позволяют замужней женщине вести разговоры наедине с мужчиной. Я была далека от мысли, что лондонские кошки переняли это суровое правило, что они сурово применят английские законы и ко мне и мне придется предстать пред грозной коллегией гражданского суда (doctors commons). Арабелла любезно встречала всех мужчин, с которыми знакомили ее, и каждый из них мог рассчитывать жениться на этой кра-

сивой девушке; но когда дело грозило прийти к благополучному концу, она отыскивала повод для разрыва, и, должна признаться, подобное поведение казалось мне не очень пристойным.

— Выйти замуж за кривоногого! Ни за что! — говорила она об одном из них.— А этот малыш! Да ведь он курносый!..

Я до такой степени была равнодушна к мужчинам, что не понимала этих колебаний, основанием для которых служили различия только физического свойства.

Наконец, однажды пэр Англии, старик, сказал ей, увидев меня:

— У вас премилая кошечка. Она похожа на вас: такая же беленькая и юная; ей нужен муж, позвольте мне познакомить ее с моим великолепным ангорским котом.

Через три дня он приехал вместе с котом, красивее которого не было ни у одного пэра. Пуфф обладал черной шкурой и зелено-желтыми глазами, великолепными, но холодными, гордыми. Его пушистый хвост, весь в желтоватых кольцах, подметал ковер. Вероятно, этот кот вел происхождение от австрийского царствующего дома, ибо носил, как видите, национальные цвета Австрии. Манеры его показывали, что он видел двор и высший свет. Строгость его манер доходила до того, что он никогда не позволил бы себе почесать голову лапкой при других. Пуфф совершил путешествие по континенту. Словом, он был поразительно красив, и, говорят, даже сама английская королева погладила его. По простоте душевной я бросилась к нему на шею, предлагая ему поиграть; но он отказался под тем предлогом, что мы находимся в обществе. Я заметила тогда, что кошачий пэр Англии обязан своему почтенному возрасту, а также гастрономическим излишествам той показною и подчеркнутой величественностью, которая по-английски называется благопристойностью (respectability). Его полнота, восхищавшая людей, мешала ему двигаться. Вот истинная причина того, почему он не ответил на мои любезности: он спокойно и невозмутимо сидел на той части своего тела, название которой не полагается произносить, шевелил усами, посматривал на меня и по временам закрывал глаза. В высшем кошачьем свете Пуфф считался самой богатой партией для кошки, родившейся в доме пастора: ему при-

служивали два лакея, он ел на китайском фарфоре, пил только черный чай, катался в карете по Гайд-парку и имел доступ в парламент. Моя хозяйка оставила его у себя. Без моего ведома все кошачье население Лондона узнало, что мисс Бьюти из Котшира выходит замуж за знаменитого Пуффа, носящего национальные цвета Австрии. Ночью я услыхала на улице концерт; я спустилась в сопровождении милорда, который из-за подагры ступал медленно. Нас встретили представительницы кошачьего пэрства, принесшие мне свои поздравления и приглашавшие меня вступить в основанное ими Крысолюбивое общество. Они объяснили мне, что только мещане охотятся за крысами и мышами. То и дело слышались слова: шокирующий, вульгарный (shocking, vulgar). Наконец, ради славы отечества ими было создано Общество воздержания. Несколько ночей спустя милорд и я отправились на крыши собора послушать серого кота, который собирался высказаться по этому вопросу. Во вступительной речи, встреченной одобрительными восклицаниями: «Слушайте! Слушайте!» — он доказал, что апостол Павел, говоря о милосердии, обращался также и к котам и кошкам Англии. Итак, английской расе, которая может объехать весь мир на собственных судах, не опасаясь воды, предоставляется повсюду распространять принципы крысолюбия. Во всех концах земного шара английские коты проповедуют священные доктрины Общества, к тому же покоящиеся на научных открытиях. Крыс и мышей подвергли вскрытию, и оказалось, что они мало чем отличаются от кошек; итак, угнетение одних другими противно правам животных, еще более неотъемлемым, чем права людей.

— Это наши братья! — сказал серый кот.

И он так прекрасно изобразил муки крысы, попавшейся в кошачью пасть, что я залилась слезами.

Заметив, что я одурачена этим спичем (speech), лорд Пуфф конфиденциально сообщил мне, что Англия предполагает открыть обширную торговлю крысами и мышами, что если кошки не станут их есть, то крысы обойдутся Англии дешевле, что в основе английской морали всегда лежит коммерческая выгода и что союз морали с меркантилизмом является единственным, на который всерьез рассчитывает Англия.

Мне показалось, что Пуфф слишком тонкий политик для того, чтобы стать хорошим мужем.

Кот-помещик (countru gentleman) сообщил, что на континенте, и особливо в Париже, католики ежедневно приносят котов и кошек в жертву неподалеку от застав (раздались крики: «Ближе к делу!»). Мало того: жестокие казни сопровождаются ужасной клеветой, заключающейся в том, что этих доблестных животных выдают за кроликов; он приписывал эту ложь и это коварство отказу от истинной англиканской религии, допускающей ложь и плутовство только в вопросах правительственных, внешнеполитических и министерских.

Оратора признали радикалом и фантазером.

— Мы собрались здесь, чтобы обсуждать интересы кошек английских, а не континентальных! — воскликнул пылкий кот-тори.

Милорд дремал. Когда собрание разошлось, я услыхала нежные слова, произнесенные молодым котиком, явившимся из французского посольства; по акценту я догадалась о его национальности.

— Милая Бьюти! Еще не скоро природа создаст кошечку, столь совершенную, как вы! Кашемиры Персии и Индии покажутся верблюжьей шерстью, если их сравнить с вашими тонкими и блестящими шелками. Вы испускаете такое благоухание, что ангелы упадут в обморок от счастья, это благоухание донеслось ко мне в салон князя де Талейрана, покинутый мною для того, чтобы поспешить к этому потоку глупостей, именуемому вами «митинг». Пламенем ваших очей освещается ночная тьма. Ваши ушки были бы совершенством, если бы они вняли моим стенаниям. Во всей Англии не найдется розы, столь розовой, как розовая полоска, окаймляющая ваш розовый ротик. Искатель жемчуга напрасно будет искать в безднах Ормуза таких жемчугов, которые стоили бы ваших зубок. Самое прелестное из того, что произвела Англия, это ваша мордочка, тонкая, изящная. Альпийский снег покажется рыжим рядом с вашей небесной шкуркой. Ах! Только под английским туманным небом можно найти подобную шерстку. Ваши лапки мягко и грациозно несут тело, которое совмещает в себе чудеса мироздания, но уступает вашему хвосту, изящному толмачу движений вашего сердца; да! столь изящного

изгиба, столь образцовой округлости и более грациозных движений не было ни у одной кошки. Покиньте старого мошенника Пуффа, он спит, как пэр Англии в парламенте, к тому же он, жалкое существо, продался вигам и от долгого пребывая в Бенгалии утерял все, что может доставить наслаждение кошечке.

Только тогда я взглянула, не слишком пристально, на очаровательного французского кота: он был всклокочен, мал ростом, развязен и нисколько не походил на английского кота. По его непринужденному виду, по особой манере потряхивать ухом видно было, что это беззаботный плут. Признаюсь, я утомилась от торжественности английских котов, от их чисто внешней опрятности. Их пристрастие к благопристойности (respectability) казалось мне особенно смешным. Крайняя естественность этого непричесанного кота меня поразила,— такой резкий контраст она составляла всему виденному мною в Лондоне. А кроме того, жизнь моя текла так размеренно, я так хорошо знала наперед все события своей жизни, что не могла остаться равнодушной ко всем неожиданностям, которые сулила физиономия французского кота. Тогда все показалось мне пресным. Я поняла, что могу жить на крышах с этим веселым существом, явившимся из такой страны, которая после побед величайшего английского полководца утешалась бессмысленной песенкой: «Мальбрук в поход собрался, миронтон, тон, тон, миронтен!»

Тем не менее я разбудила милорда и дала ему понять, что уже очень поздно и нам пора домой. Я сделала вид, будто не слышала объяснения в любви и осталась бесчувственной, чем привела в оцепенение Бриске. Он тем более изумился, что считал себя красавцем. Впоследствии я узнала, что он не давал спуску ни одной кошке. Исподтишка я взглянула на него: он двигался мелкими прыжками, перебегал улицу и беспрестанно оборачивался, как истинно французский кот, объятый отчаянием; настоящий английский кот вложил бы больше пристойности в свои чувства и не стал бы выказывать их.

Через несколько дней я вместе с милордом очутилась в великолепном доме старика пэра; я поехала прогуляться в Гайд-парк. Мы питались лишь косточками цыпленка, рыбьим спинным хребтом, сливками, молоком, шоко-

ладом. Как ни был горячителен подобный режим, так называемый муж мой Пуфф хранил степенность. Его благопристойность (respectability) распространялась и на меня. Обычно уже с семи часов вечера он спал за карточным столом на коленях его светлости. Итак, моя душа не находила себе никакого удовлетворения, и я томилась. Дурное настроение роковым образом совпало с недомоганием от чистого селедочного сока (портвейн английских кошек), употребляемого Пуффом и приведшего меня в полусознательное состояние. Хозяйка пригласила врача, который окончил Эдинбургский университет, а перед тем долго изучал медицину в Париже. Распознав мою болезнь, он обещал, что завтра же я буду здорова. Он ушел, а затем, вернувшись, вынул из кармана какой-то инструмент французского изделия. Ужас охватил меня, когда я увидела длинную и тонкую трубку, сделанную из белого металла. При виде этого аппарата, который врач самодовольно вертел в руках, их светлости залились румянцем, они разгневались и много чего наговорили насчет чувства собственного достоинства у английского народа; выходило так, как будто не разногласия в отношении к библии отделяют старую Англию от католиков, а эта позорная машинка. Герцог сказал, что в Париже французы не краснеют, когда на сцене национального театра в комедии Мольера выставляют напоказ эту машинку, название которой не осмелится произнести в Лондоне даже ночной сторож (watchman).

— Дайте ей каломель!

— Ваша светлость, вы убьете ее каломелем!—воскликнул медик.— А что касается этого невинного аппарата, то французы возвели в чин маршала одного из храбрейших своих генералов за то, что он пустил его в дело на Вандомской площади.

— Французы могут поливать своих внутренних врагов, как им угодно,— продолжал милорд.— Я не знаю, и вы не знаете, какие последствия произойдут от применения этого унизительного механизма, но я отлично знаю, что настоящий английский врач должен лечить больных только старинными английскими средствами.

Медик, уже начавший входить в славу, совсем потерял практику в высшем свете. Призвали другого врача, который задал мне неприличные вопросы насчет Пуффа

и сообщил мне, что истинный девиз Англии таков: «Бог и мое... брачное право».

Однажды ночью я услыхала на улице крик французского кота. Никто не мог нас заметить. Я вскарабкалась по печной трубе и достигла крыши. Я крикнула ему:

— На крышу!

От такого ответа у него точно крылья выросли. Во мгновение ока он очутился возле меня. Но подумайте: французский кот, воспользовавшись вырвавшимся у меня восклицанием, имел непристойную дерзость сказать мне:

— Приди в мои лапки!

Он осмелился, без дальних слов, называть аристократическую кошку на «ты». Я окинула его холодным взглядом и наставления ради сказала, что принадлежу к Обществу воздержания.

— Милый мой,— сказала ему я,— по вашему выговору и по распущенности ваших суждений я вижу, что вы, как все католические коты, насмешник и готовы выкинуть тысячу всяких штучек, полагая, что потом покаетесь,— и дело с концом; но у нас в Англии больше нравственности: мы во все вкладываем благопристойность (respectability), даже в наслаждения.

Молодой котик, пораженный величием английского лицемерия (cant), слушал меня настолько внимательно, что подал мне надежду на возможность обращения его в протестантскую веру. В изящнейших выражениях он заверил в своей готовности сделать все, что мне угодно, лишь бы я разрешила ему обожать меня. Я смотрела на него, не в силах ответить, так как его глаза, поистине прекрасные (very beautiful), великолепные (splendid), сверкали, как звезды, их пламя освещало ночную тьму. Мое молчание внушило ему смелость, и он воскликнул:

— Милая кошечка!

— Это что еще за непристойность! — воскликнула я, зная, до чего легкомысленно обращение французских котов.

Бриске сообщил мне, что на континенте все, даже сам король, обращаются к дочери: «Кошечка моя!» — в знак любви; а женщины, самые хорошенькие и самые аристократические женщины, говорят мужу: «Котик мой!» — даже когда и не любят его. Если мне угодно сделать ему приятное, я должна назвать его: «Челове-

чек мой!» Тут он с неописуемой грацией поднял передние лапки. Я поспешила исчезнуть, потому что не ручалась за себя. Бриске запел английский национальный гимн, так он был счастлив, и на следующий день его милый голос еще гудел в моих ушах.

— А! И ты влюблена, милая Бьюти? — сказала мне хозяйка, увидав, что я развалилась на ковре лапками кверху, предаваясь неге и утопая в поэтических воспоминаниях.

Я изумилась тому, что женщина может оказаться такой догадливой, и, выгнув спину, принялась тереться о ее ноги и мурлыкать любовную мелодию на самых низких тонах своего контральто.

В то время как хозяйка посадила меня к себе на колени, гладила меня и почесывала мне голову, а я нежно любовалась ею и ее глазами, полными слез, на Бонд-стрит происходила сцена, имевшая для меня ужасные последствия.

Пук, один из племянников Пуффа, рассчитывавший получить наследство после него, а пока что живший в казарме лейб-гвардии (life guards), встретил моего дорогого (my dear) Бриске. Капитан Пук, умея действовать исподтишка, поздравил атташе при французском посольстве с тем, что он добился успеха у меня, давшей отпор очаровательнейшим котам Англии. Бриске, тщеславный француз, ответил, что он очень счастлив удостоиться моего внимания, но что он терпеть не может кошек, которые говорят о воздержании, о библии и прочем.

— Вот как! — произнес Пук.— Значит, она с вами беседовала?

Таким образом Бриске, милый мой французик, стал жертвою английской дипломатии; но и то правда, он совершил ошибку, непростительную, способную разгневать любую из воспитанных кошек Англии. Плутишка был, по правде говоря, котом не очень основательным. Пришло же ему в голову поклониться мне в Гайд-парке и даже заговорить со мной, как будто мы были знакомы. Я осталась холодна и неприступна. Кучер, заметив француза, так хлестнул его бичом, что едва не убил на месте. Бриске перенес этот удар с неустрашимостью, изменившей мое отношение к нему: я полюбила его за готовность переносить муки, за то, что он видит только меня

и испытывает счастье только быть со мною, побеждая таким образом склонность всякого кота удирать при малейшей опасности. Он и догадаться не мог, что я буквально помертвела, хотя внешне сохраняла невозмутимость. В этот момент я решила бежать с ним. Вечером на крыше я, потеряв голову, кинулась в его лапки.

— Дорогой мой (my dear),— сказала я,— имеете ли вы капитал, необходимый для покрытия проторей и убытков старика Пуффа?

— Весь мой капитал,— ответил француз, посмеиваясь,— заключается в волосиках моих усов, в четырех моих лапках и в хвосте.

И он принялся подметать крышу горделивым движением хвоста.

— Никакого капитала! — воскликнула я в ответ.— Так, значит, вы авантюрист, дорогой мой (my dear)!

— Я люблю авантюры,— нежно сказал он.— Во Франции, при тех обстоятельствах, на которые ты намекаешь, коты дерутся! Они прибегают к помощи когтей, а не денег.

— Несчастная страна! — ответила я.— Как могут посылать за границу, в посольства зверей, лишенных капитала?

— А вот как! — сказал Бриске.— Наше новое правительство предпочитает, чтобы не было капитала... у чиновников; оно требует талантливости.

Разговаривая со мной, милый мой Бриске имел вид, пожалуй, слишком самодовольный, так что я начинала даже опасаться, уж не фат ли он.

— Любовь без капитала — бессмыслица! — сказала я.— Отыскивая себе пропитание, где придется, вы, дорогой мой, и думать обо мне не станете.

Вместо ответа очаровательный француз принялся мне доказывать, что по бабушке он является потомком Кота в сапогах. Помимо того, он знает девяносто девять способов брать деньги взаймы, тогда как для расходования их, сказал он, нам хватит одного способа. Наконец, он музыкант и может давать уроки музыки. И в самом деле, он душераздирательно спел свой национальный романс «При свете луны».

Коты и кошки, специально приглашенные Пуком, увидели меня как раз в ту минуту, когда я, поддавшись столь-

ким доводам, обещала милому Бриске бежать вместе с ним при условии, что он комфортабельно устроит свою супругу.

— Я погибла! — воскликнула я.

На следующий же день старый Пуфф начал в гражданском суде (doctors'commons) дело о преступном разговоре. Пуфф плохо слышал, племянники воспользовались этим его недостатком. На их вопросы Пуфф сообщил, что ночью я льстиво назвала его «мой человечек»! Это была ужасная улика против меня, ибо я не могла объяснить, кто научил меня этому нежному обращению. Сам того не желая, милорд оказал мне очень плохую услугу; но я заметила, что он уже впадал в детство. Его светлость и не подозревал, какими низкими интригами я опутана. Некоторые котики, выступившие в мою защиту и боровшиеся с общественным мнением, рассказывали мне, что порою он спрашивает, где его ангел, радость очей его, его сокровище (darling), его нежная (sweet) Бьюти! Моя родная мать, явившись в Лондон, отказалась видеться и говорить со мной, сказав, что английская кошка всегда должна стоять выше подозрений и что я омрачаю ее старость. Мои сестры, завидуя моей карьере, присоединились к обвинительницам. Наконец, и слуги дали показания против меня. Тогда для меня стало ясным, какого повода достаточно для того, чтобы все в Англии потеряли голову. Как только встает вопрос о преступном разговоре, конец всякому чувству: мать перестает быть матерью, кормилица требует, чтобы ей вернули ее молоко, и кошки поднимают вой на улицах. А в довершение всех бед мой адвокат, старик, утверждавший когда-то, что королева Англии не может быть виновата, многоопытный юрист, которому я рассказала все, вплоть до малейших подробностей, заверивший меня, что дело не стоит выеденного яйца, законовед, которому я призналась, что совсем не понимаю выражения «преступный разговор» (он ответил мне, что подразумеваемое этими словами называется так именно потому, что оно не требует разговоров),— словом, мой адвокат, подкупленный Пуком, столь неудачно меня защищал, что дело мое, казалось, было проиграно. При подобных обстоятельствах я решилась сама предстать перед коллегией гражданского суда (doctors'commons).

— Милорды,— сказала я,— я — английская кошка, и я не виновата! Что будут говорить о правосудии старой Англии, если...

Едва произнесла я эти слова, как поднялся ужасный шум, заглушивший мой голос. Вот до какой степени газета «Кошачья хроника» и друзья Пука восстановили публику против меня.

— Она ставит под сомнение правосудие старой Англии, создавшей суд присяжных! — кричали со всех сторон.

— Милорды,— кричал гнусный адвокат моего противника,— она хочет убедить вас в том, что гуляла с французским котом по крышам будто бы для того, чтобы обратить его в англиканскую веру, а в действительности делала это для того, чтобы, вернувшись домой, говорить своему мужу по-французски «мой человечек»; для того, чтобы выслушивать гнусные принципы папизма; для того, чтобы не признавать законов и обычаев старой Англии.

Когда внушают английской публике подобную чушь, она впадает в неистовство. Итак, гром рукоплесканий покрыл слова адвоката, приглашенного Пуком. Меня признали виновной, хотя я могла доказать, что, несмотря на свой двадцатишестимесячный возраст, я, в сущности, и не понимала еще, что такое кот. Но, с другой стороны, я кое-что и выиграла: я поняла, что из-за этой бестолковой болтовни Альбион и называют старой Англией.

Я впала в глубокое котоненавистничество, причина которого не в моем разводе, а в смерти милого Бриске, которого Пук убил во время уличной свалки, опасаясь его мести. Поэтому ничто так не приводит меня в ярость, как разговоры о чувстве законности у английских котов.

Вы видите, французские животные, что, сближаясь с людьми, мы перенимаем от них все пороки и все дурные установления. Вернемся же к дикой жизни, там мы будем подчиняться одному лишь инстинкту, там мы не встретим обычаев, противных священнейшим велениям природы. В настоящий момент я пишу политический трактат, предназначающийся для рабочих классов животного мира; этот трактат убеждает их не вертеть вертел, не запрягаться в тележки и сообщает им, какими способами можно избавиться от ига крупной аристократии.

И даже в том случае, если прославятся нацарапанные нами статьи, я думаю, что мисс Генриетта Мартино выскажется обо мне одобрительно. Вы знаете, что на континенте литература стала прибежищем всех кошек, протестующих против безнравственной монополии брака, дающих отпор тирании общепринятых установлений и желающих вернуться к законам природы.

Я забыла рассказать вам, что, хотя пуля была пущена в спину Бриске и прошла навылет, судебный следователь по делам о самоубийствах (coroner), из гнусного лицемерия, объявил, что Бриске отравился мышьяком, как будто кот, такой веселый, безрассудный, ветреный, мог размышлять о жизни и додуматься до такой мрачной мысли; как будто кот, которого я любила, мог пожелать расстаться с жизнью! Однако при помощи аппарата Марча на тарелке нашли следы мышьяка.

Альманах «Сцены частной и общественной жизни животных», 1842 г.

НАПУТСТВИЕ ЖИВОТНЫМ, СТРЕМЯЩИМСЯ К ПОЧЕСТЯМ

Господа редакторы, ослы чувствуют потребность высказаться с звериной трибуны против неосновательного мнения, будто бы «осел» — олицетворение глупости. Если у автора этой статьи не хватает таланта, то, во всяком случае, никто не скажет: у него не хватает смелости. Прежде всего, если какой-нибудь философ станет изучать вопрос «глупость и общество», то, может быть, он найдет, что фортуна ведет себя по-ослиному. А затем без ослов не образовалось бы большинства; итак, осла можно признать типичным образцом человека, покорного правительству. Но я не намерен говорить о политических вопросах. Я постараюсь доказать, что мы имеем больше шансов, чем умные люди, добиться почестей,— мы или те, кто создан по нашему подобию; подумайте сами, автор этого интересного доклада, осел-пролаза, живет за счет великой нации, его квартиру (без содействия какой-нибудь принцессы, увы!) оплачивает британское правительство, пуританские претензии которого были разоблачены перед вами кошкою.

Мой хозяин был простым учителем начальной школы в окрестностях Парижа и очень страдал от нищеты. Первое и основное сходство наших характеров заключалось в том, что мы оба старались ничего не делать и вольготно жить. Это стремление, свойственное ослам и людям, именуют честолюбием; считают, что оно развивается

благодаря обществу. Я же полагаю, что оно — явление вполне естественное. Узнав, что я принадлежу школьному учителю, ослицы стали присылать ко мне своих малышей, которых я взялся обучать правильной речи; но занятия не имели никакого успеха, ибо учеников моих разогнали при помощи палочных ударов. Мой хозяин явно завидовал мне: мои ослята бегло ревели по-ослиному, тогда как его ученики еще запинались, и я слышал его глубоко несправедливое восклицание:

— Вы — ослы!

Как бы то ни было, хозяин был поражен результатами моего метода, явно превосходящего его метод.

— Почему,— бормотал он про себя,— детенышам человека нужно гораздо больше времени, чтобы выучиться говорить, читать и писать, чем нужно времени ослам для овладения всей суммой знаний, необходимых для их жизни? Каким способом эти животные столь быстро узнают все то, что знают их отцы? Всякое животное обладает совокупностью идей и неизменных расчетов, которых ему хватает на всю жизнь и которые столь же отличаются друг от друга, сколь отличаются одни животные от других! Почему человека лишили подобного преимущества?

Хотя мой хозяин ровнешенько ничего не смыслил в естественной истории, он увидел во внушенных мною мыслях намек на создание целой науки и решил отправиться в министерство народного просвещения похлопотать о местечке и изучить этот вопрос, находясь на иждивении государства.

Мы вступили в Париж через предместье Сен-Марсо, причем я нес хозяина на своей спине. Когда мы достигли возвышенности, расположенной за Итальянской заставой, откуда открывается вид на столицу, мы оба, каждый на своем языке, произнесли следующее восхитительное моление:

Он. О священные дворцы, в которых стряпают бюджет! Когда наконец подпись какого-нибудь пройдохи-профессора даст мне пищу и кров, крест Почетного легиона и кафедру, безразлично какую, безразлично где? Я рассчитываю наговорить обо всех столько хорошего, что трудно будет сказать обо мне что-нибудь плохое. Но как проникнуть к министру и как

ему доказать, что я достоин занять какое бы то ни было место?

Я. О восхитительный зоологический сад, где так ухаживают за животными! О убежище, где пьют и едят, не опасаясь палочных ударов, когда откроются передо мной твои степи в двадцать квадратных футов, твои швейцарские долины шириною в тридцать метров? Стану ли я когда-нибудь животным, лежащим на бюджетной травке? Умру ли я от старости среди твоих изящных трельяжей, под номером и надписью: «*Африканский осел, пожертвован таким-то, капитаном первого ранга?* Придет ли король посмотреть на меня?»

Закончив таким образом это приветственное слово городу акробатов и фокусников, мы спустились в вонючие ущелья знаменитого предместья, где пахло кожами и наукой, и поселились на жалком постоялом дворе, в котором битком были набиты савояры с сурками, итальянцы с обезьянками, овернцы с собаками, парижане с белыми мышами, арфисты без струн, певцы без голоса — словом, все ученые животные. У моего хозяина, которого отделяли от самоубийства шесть монет по сто су, осталось надежды на тридцать франков. Эта гостиница «Мизерикордия» является филантропическим учреждением, где можно проспать ночь за два су и пообедать за девять су. Там имеется просторная конюшня, где ночуют нищие и бедняки, где странствующие музыканты держат своих животных; туда, естественно, и меня отвел мой хозяин, выдав за ученого осла. Мармус, так звали моего хозяина, не мог не полюбоваться на курьезное сборище развращенных скотов, которым он доверил меня. Быстрая, как порох, мартышка, вся в воланах, в шляпке с перьями, с золотым поясом, похожая на маркизу, милостиво разрешила ухаживать за ней солдату, герою народных парадов, старому вояке, который изумительно выполнял весь военный артикул. Умница пудель, умевший без участия других актеров разыграть современную драму, беседовал об изменчивых вкусах публики с большой обезьяной, усевшейся на шляпе трубадура. Несколько отдыхающих от работы серых мышек любовались кошкой, обученной почтительному отношению к двум канарейкам и болтавшей с проснувшимся сурком.

— А я-то думал,— сказал мой хозяин,— что открыл новую науку, сравнительное изучение инстинктов, и вот здесь, в конюшне, я наталкиваюсь на жестокое опровержение моей мысли! Все эти звери стали людьми.

— Вы желаете стать ученым? — сказал моему хозяину какой-то молодой человек.— Вы поглощены наукой, но вы остановились на полпути! Юный честолюбец, о надеждах коего свидетельствует состояние его костюма, поймите же: для того, чтобы дойти до цели, надо идти, а для того, чтобы идти, надо избавиться от багажа.

— Вы великий политик! Но с кем я имею честь говорить? — спросил мой хозяин.

— С бедным малым, который все перепробовал, все потерял, кроме волчьего аппетита, и который в ожидании лучшего питается газетными утками и проживает в «Миверикордии». А вы кто такой?

— Отставной учитель начальной школы, который, конечно, не бог весть что знает, но который занят вопросом: почему животные à priori владеют всей специальной наукой об их жизни, наукой, именуемой инстинктом, а человек ничему не может научиться без неслыханных трудов?

— Потому что наука бесполезна! — воскликнул молодой человек.— Вы когда-нибудь изучали «Кота в сапогах»?

— Я рассказывал о нем своим ученикам, когда они хорошо вели себя.

— Так вот, дорогой мой, там имеется правило поведения для всех желающих возвыситься. Что делает кот? Он рассказывает, что его хозяин — землевладелец, и этому верят! Поймите, достаточно внушить другим мысль, будто вы что-то собою представляете, чем-то владеете! И если бы вы ничего не имели, ничего собою не представляли, ничем не владели,— разве это важно? Ведь все поверили бы обратному! Но vae soli [1],— говорит священное писание. В самом деле, и в политике и в любви требуются двое, чтобы произвести что-нибудь на свет. Дорогой мой, вы изобрели инстинктологию и получите кафедру *сравнительного изучения инстинктов.*

---

[1] Горе одинокому *(лат.)*.

Вы станете великим ученым, а я возвещу о том всему миру: Европе, Парижу, министру, его секретарю, писцам и сверхштатным чиновникам. Магомет стал великим, когда возле него появился человек, который всех, направо и налево, уверял, что Магомет велик.

— Я очень желаю стать великим ученым,— сказал Мармус,— но потребуют, чтобы я изложил сущность моей науки.

— Что же это за наука, если вы можете изложить ее сущность?

— По крайней мере нужна отправная точка.

— Да,— сказал молодой журналист,— мы должны раздобыть животное, которое разрушило бы все комбинации ученых. Вот, например, барон Серсо, он всю жизнь загонял животных в резко обособленные друг от друга отделы, он на этом стоит, и в этом его слава; но в настоящий момент великие философы ломают все загоны барона Серсо. Откроем дебаты. По нашему учению, инстинкт будет мышлением животного, и, конечно, отличительным признаком животных будет в бо́льшей степени их умственная жизнь, чем их кости, их плюсны, зубы и позвоночники. Так вот, хотя инстинкт претерпевает некоторые видоизменения, по существу, он един, и ничто лучше не докажет единства всех вещей, несмотря на видимое их различие. Итак, мы будем защищать ту мысль, что существует только одно животное и только один инстинкт; что при любой организации животного инстинкт — это лишь применение к жизни каких-либо свойств, изменяющихся в зависимости от обстоятельств, а не принцип. При помощи новой науки мы начнем поход против барона Серсо, в пользу великих философов-натуралистов, которые стоят за зоологическое единство, и тогда мы дорого продадим наши знания всемогущему барону.

— Конечно, знание не есть сознание своих грехов,— сказал Мармус.— Ну что же, ведь осел мне больше не нужен.

— У вас есть осел? — воскликнул журналист.— Мы спасены! Мы сделаем из него редкостную зебру, которая какой-нибудь особенностью, нарушающей все классификации, привлечет внимание ученого мира к вашей системе сравнительного изучения инстинктов. Ученые живут номенклатурой. Мы опрокинем номенклатуру, они встрево-

жатся, они капитулируют, они станут подкупать нас, а мы, как и прочие, согласимся на подкуп. На этом постоялом дворе имеются шарлатаны, владеющие изумительными секретами. Здесь фабрикуются дикари, поедающие живых зверей, люди-скелеты, карлики весом в сто пятьдесят килограммов, бородатые женщины, огромных размеров рыбы, всякие уроды. Если мы будем щедры, то получим возможность подготовить такой феномен, который произведет революцию в науке.

Под каким соусом собирались подать меня публике? Ночью мне сбрили шерсть, сделали поперечные надрезы на коже, а шарлатан впрыснул мне какую-то жидкость. Через несколько дней я прославился. Увы! Я познал, какими ужасными страданиями приобретается слава. Во всех газетах парижане прочли:

«Бесстрашный путешественник, скромный натуралист, Адам Мармус, пересекший Африку и достигнувший центра материка, привез с Лунных гор зебру, которая своими особенностями существенно опровергает основные идеи зоологии и может послужить аргументом в пользу теории знаменитого философа, не допускавшего никаких различий в строении животных и провозгласившего, при единодушном одобрении германских ученых, принципы одинакового расположения органов у всех животных. Полоски у этой зебры желтые на черном фоне. Между тем известно, что в зоологии не допускают, чтобы у семейства лошадиных в диком состоянии встречалась вороная масть. Что же касается желтых полосок, мы представляем ученому мужу Мармусу честь объяснения их в подготовляемой им превосходной книге «Сравнительное изучение инстинктов», относящейся к той области знания, которая создана Мармусом благодаря тому, что в центре Африки он открыл целый ряд доселе неизвестных животных. Эта зебра, единственное научное открытие, которое, несмотря на опасности, удалось ему доставить в Париж, походкой напоминает жирафа. Итак, инстинкт животных видоизменяется в зависимости от окружающей среды. Из этого факта, неслыханного в анналах науки, вытекает новая теория, имеющая огромное значение для зоологии. Г-н Адам Мармус изложит свои идеи в публичной лек-

ции, не взирая на интриги ученых, которые, боясь разгрома своих систем, уже добились того, что г-ну Мармусу не предоставлена для устройства лекции зала св. Иоанна в городской ратуше».

Все газеты, даже серьезный «Монитер», перепечатали эту дерзкую утку. Пока ученый Париж волновался из-за этого сообщения, Мармус вместе со своим другом поселился в приличной гостинице на улице Турнон, где имелась конюшня для меня, ключи от которой они взяли себе. Взволнованные ученые подослали одного академика, тот принес свои сочинения и не мог скрыть того обстоятельства, что сообщенные факты крайне опасны для фаталистической доктрины барона Серсо. Если инстинкты животных изменяются в зависимости от климата, от среды, то весь животный мир испытывает потрясение. Великий человек, осмелившийся утверждать, что жизненное начало приспособляется ко всему, должен был одержать верх над изобретательным бароном, который защищал ту идею, что каждый класс организован по-своему. Итак, устанавливать различия между животными — это значит только доставлять удовольствие коллекционерам. Естественные науки становились игрушкой! Устрица, коралловый полип, лев, зоофит, микроскопические организмы и человек имеют, оказывается, одну и ту же структуру, видоизменяющуюся только оттого, что их органы развиты в большей или меньшей степени. Бельгиец Сальтейнбек, голландец Фос-Ман-Беттен, сэр Фэрнайт, Гобтусселл, датский ученый Зоттенбах, Кранеберг, любимые ученики французского профессора своею унитарной теорией одерживали верх над бароном Серсо и его номенклатурами. Никогда еще не бросали между двумя воюющими сторонами факта, столь возбуждающего взаимную их ненависть. Позади барона выстроились академики, университет, легионы профессоров, а правительство поддерживало их теорию, ибо только она находилась в соответствии с библией.

Мармус и его друг держались стойко. На вопросы академика они ответили голым констатированием факта и изложением своей доктрины. Уходя, академик сказал:

— Господа, между нами будь сказано, профессор, поддерживаемый вами, конечно, обладает глубоким и смелым талантом; его система, может быть, объясняющая мироздание,— я этого не отвергаю,— все же не должна увидеть свет: это необходимо в интересах науки...

— Скажите: в интересах ученых! — воскликнул Мармус.

— Пусть будет так,— продолжал академик,— ее нужно раздавить, пока она еще не вылупилась из яйца, ибо в конце концов, господа, это пантеизм.

— Вы думаете? — сказал молодой журналист.

— Как можно допустить молекулярное притяжение, не допуская произвола, благодаря которому материя становится независимой от бога?

— А почему бы богу не устроить все по одному и тому же закону? — сказал Мармус.

— Вы видите,— прошептал журналист на ухо академику,— у него глубина мысли поистине ньютоновская. Почему бы вам не представить его министру народного просвещения?

— Конечно, конечно,— сказал академик, счастливый тем, что он может завладеть зеброй, вносящей революцию в науку.

— Быть может, министру угодно будет раньше всех прочих увидать наше любопытное животное, а вы доставите нам удовольствие сопровождать его? — подхватил мой хозяин.

— Благодарю вас...

— Министр оценит тогда, какие услуги оказаны науке этим путешествием,— сказал журналист, не давая академику раскрыть рта.— Разве зря мой друг побывал на Лунных горах? Вы увидите наше животное, оно ступает, как жирафа. А желтые полосы на черном фоне его шкуры объясняются температурой этих гор, которая на несколько нулей превосходит шкалу Фаренгейта и на много нулей шкалу Реомюра.

— Может быть, вы хотите служить по ведомству народного просвещения? — спросил академик.

— Подумаешь, какая прекрасная карьера! — воскликнул журналист, выпрямляясь.

— О! Я вам, конечно, не предлагаю заняться ремеслом тех простофиль, что гоняют учеников в поле и присматривают за ними в овчарне; но вместо лекций в Ате-

неуме, которые ни к чему не приводят, я предложил бы должность заместителя профессора, открывающую путь куда угодно: в Институт, в палату, ко двору, в дирекцию театра, в редакцию журнальчика. Словом, об этом мы еще побеседуем.

Все это происходило в начале 1831 года, когда министры испытывали потребность в популярности. Министр народного просвещения, понимавший толк во всем, даже в политике, был предупрежден академиком, что новое открытие имеет важное значение для системы барона Серсо. Министру не нравилось вторжение пантеизма в науку. Между тем барон Серсо называл доктрину зоологического единства пантеистической только из вежливости, присущей ученым; в науке пользуются словом «пантеист», чтобы не сказать «атеист».

Сторонники зоологического единства узнали, что министр хочет видеть редкостную зебру, и высказали опасение, как бы он не прибег к подкупу. Примчался самый пламенный из учеников великого ученого и выразил желание повидаться с *знаменитым* Мармусом,— газетная хроника постепенно дошла до такого блестящего эпитета. Оба моих хозяина отказались демонстрировать меня. Я еще не умел ходить желательным для них способом, еще недостаточно отросла шерсть моих полосок, окрашиваемых в желтый цвет химическим способом, для меня очень болезненным. Оба ловких интригана заставили молодого ученого разговориться, и он развил перед ними великолепную систему зоологического единства, основная мысль которой гармонирует с величием и простотой творца мироздания и соответствует ньютоновскому принципу объяснения высших миров. Мой хозяин развесил свои, как говорится, «ослиные» уши.

— Мы в центре научного мира, и на первом плане *наша* зебра,— сказал журналист.

— *Моя* зебра,— ответил Мармус,— вовсе не зебра, а родоначальница новой науки.

— Созданным вами сравнительным изучением инстинктов подкрепляется наблюдение сэра Фэрнайта, что испанские, шотландские и швейцарские бараны по пастбищу ходят не одинаково, а в соответствии с тем, как растет трава в этих странах.

— Ну, а продукты,— воскликнул журналист,— разве они не становятся иными в зависимости от атмосферической среды? Наша зебра, ступающая, как жирафа, объясняет, почему нельзя производить в Нормандии белое масло бри и почему в Мо не получишь невшательного желтого масла и желтого сыра.

— Вы попали в самую точку! — восторженно воскликнул ученик.— Малые факты — великие открытия. В науке все связано одно с другим. Вопрос о сырах тесно связан с вопросами внешнего вида животного и сравнительного изучения инстинктов. В инстинкте — все животное целиком; в мысли концентрируется весь человек. Если инстинкт модифицируется и меняется в зависимости от среды, в которой он развивается, в которой он действует, то ясно, что такому изменению подвержен и *зоон*, то есть внешняя форма жизни. Существует только один принцип, одна и та же форма.

— Один хозяин для всего живого,— сказал Мармус.

— Отныне,— продолжал ученик,— номенклатуры пригодны для того, чтобы мы сами отдали себе отчет в различиях; однако номенклатуры — это еще не наука.

— Да ведь это же,— сказал журналист,— избиение позвоночных и моллюсков, членистоногих и лучистых, млекопитающих и усоногих, безглавых и ракообразных! Нет больше ни иглокожих, ни кишечнополостных, ни инфузорий! Словом, вы ломаете все перегородки, изобретенные бароном Серсо! И все становится настолько простым, что не будет никакой науки, а будет один лишь закон... Поверьте мне, ученые станут защищаться, прольется много чернил! Несчастное человечество! Ученые, конечно, не позволят гению сводить на нет замысловатые труды стольких наблюдателей, которые разместили по банкам все творение! Нас оклевещут, как ваш великий философ был оклеветан. Подумайте, что произошло с Иисусом Христом, который провозгласил равенство душ, как вы собираетесь провозгласить зоологическое единство! Можно ли не содрогнуться? Ах, Фонтенель был прав: сожмем крепче кулаки, когда мы держим истину.

— Господа, неужели вы испугаетесь? — спросил уче-

ник Прометея естествознания.— Вы измените святому делу животного мира?

— Нет, сударь,— воскликнул Мармус,— я не покину науки, которой я посвятил всю свою жизнь; в доказательство этого давайте напишем вместе статью о моей зебре.

— Здорово! — сказал молодой журналист моему хозяину, когда унитарист покинул нас.— Видите, все люди — дети, выгода ослепляет их, и, чтобы вести их на поводу, достаточно узнать, что им выгодно.

— Мы спасены! — сказал Мармус.

Итак, научная статья о зебре Центральной Африки была написана талантливейшим учеником великого философа, осмелевшим потому, что он писал под именем Мармуса, и полностью сформулировавшим новое учение. Оба моих хозяина вступали в самую забавную фазу славы. Их обоих забросали приглашениями на обеды, на вечеринки, на балетные утренники. Столько людей провозгласило их учеными и знаменитостями, столько у них оказалось соучастников, что стало совершенно очевидно — они всегда были не чем иным, как первоклассными учеными. Корректурные листы превосходной статьи Мармуса были посланы барону Серсо. Академия наук признала вопрос настолько серьезным, что ни один академик не осмеливался высказать свое мнение.

— Нужно посмотреть, нужно подождать,— говорили все.

Господин Сальтейнбек, бельгийский ученый, сел в почтовую карету. Господин Фос-Ман-Беттен, голландский ученый, знаменитый Фабрициус Гобтусселл уже ехали смотреть на прославленную зебру, точно так же, как сэр Фэрнайт. Пылкий юноша, сторонник учения о зоологическом единстве, работал над докладом, выводы которого были убийственными для формулировок барона Серсо.

Уже и среди ботаников образовалась партия, которая стояла за единство растений. Знаменитый профессор де Кандоль и не менее знаменитый де Мирбель под влиянием смелых исследований господина Дютроше еще колебались (просто из снисхождения) в пользу авторитетности барона Серсо. Мнение об единообразии объектов

ботаники и объектов зоологии завоевывало все новые позиции. Серсо убедил министра посетить зебру. Я уже ступал так, как того хотели мои хозяева. Шарлатан приделал мне коровий хвост, а желтые и черные полоски сделали меня совершенно похожим на будку австрийского часового.

— Удивительно,— сказал министр, видя, что я шагаю сначала обеими левыми ногами, а затем обеими правыми.

— Удивительно,— сказал академик,— но в конце концов объяснимо.

— Не знаю,— сказал любезный министр, бывший когда-то оратором, известным своей резкостью,— как можно умозаключать от различия к единству.

— Если проявить упорство...— остроумно заметил Мармус, не высказываясь по существу.

Министр, сторонник безусловных взглядов, чувствовал необходимость дать отпор пагубным идеям и рассмеялся, услыхав эту шуточку.

— Вероятно,— сказал он, взяв Мармуса под руку,— этой зебре, привыкшей к температуре Центральной Африки, трудно жить на улице Турнон...

Услыхав такой жестокий приговор, я настолько огорчился, что зашагал своей обычной поступью.

— Пусть живет, сколько хватит сил,— сказал мой хозяин, испуганный моей сознательной оппозиционностью,— ведь я получил приглашение прочесть курс в Атенеуме, и этот курс я довел до...

— Вы — человек умный и скоро найдете слушателей для вашего прекрасного курса сравнительного изучения инстинктов, который, заметьте, не должен противоречить доктринам барона Серсо. Не прославитесь ли вы в сто раз больше, если ваши идеи изложит его ученик?

— У меня есть,— сказал тогда барон Серсо,— ученик, человек очень умный. Он изумительно повторяет то, что ему преподают! Эту разновидность писателей мы называем популяризаторами...

— А мы называем их «попугаями»,— сказал журналист.

— Эти люди оказывают огромную услугу науке. Они излагают научные системы и делают их понятными для невежд.

— Они сами недалеко ушли от невежд,— ответил журналист.

— Мой ученик с большим удовольствием пройдет теорию сравнительного изучения инстинктов, координирует ее со сравнительной анатомией и геологией, ибо в науке все связано одно с другим.

— Итак, заключим союз,— сказал Мармус, пожимая руку барона Серсо и заверяя его в том, что ему, Мармусу, доставила величайшее удовольствие встреча с величайшим, знаменитейшим естествоиспытателем.

Министр обещал тогда знаменитому Мармусу, который успел получить орден Почетного легиона, крупную сумму из фондов, предназначенных для поощрения наук, искусств и литературы. Географическое общество, идя по стопам правительства, назначило Мармусу премию в тысячу франков за путешествие к Лунным горам. По совету своего друга, журналиста, мой хозяин составлял доклад о своем путешествии, использовав труды своих предшественников. Он был принят в члены Географического общества.

Журналист, назначенный помощником библиотекаря Зоологического сада, поднял яростную травлю против великого философа, его стали признавать мечтателем, врагом ученых, опасным пантеистом, над его учением смеялись.

Все это происходило во время политических бурь, в самые беспокойные годы Июльской революции. Мармус немедленно употребил премию и выданное министерством пособие на покупку дома в Париже. Путешественник был представлен ко двору, где удовольствовался тем, что слушал других. Его скромность произвела столь чарующее впечатление, что он был назначен членом университетского совета. Приглядываясь к окружающим людям и делам, Мармус понял, что лекции существуют для того, чтобы ничего не сказать; поэтому он взял себе в помощники рекомендованного бароном Серсо «попугая», задача которого состояла в том, чтобы, излагая теорию сравнительного изучения инстинктов, свести на нет зебру, признать ее исключением, уродством: в науках применяется особый способ группировать и определять факты, как в финансовых делах особым способом группируют цифры.

Великий философ, который никому не мог раздавать теплые местечки и не имел на своей стороне никакого правительства,— если не считать того, что Германия поручила ему править наукой,— впал в глубокое уныние, узнав, что курс по сравнительному изучению инстинктов поручен стороннику барона Серсо, сделавшемуся учеником знаменитого Мармуса. Прогуливаясь вечером под высокими каштанами, он сожалел о расколе, проникшем в высшие сферы науки, об ухищрениях упорного Серсо.

— От меня утаили зебру! — воскликнул он.

Его ученики впали в ярость. Один бедствующий писатель, притаившийся за решеткой на улице Бюффона, услыхал, как один из них после лекции воскликнул:

— О Серсо! Почему ты, столь сговорчивый, столь ясный, столь глубокий аналитик, столь изящный писатель, не видишь правды? Зачем преследовать истину? Если бы тебе было только тридцать лет, ты обрел бы смелость перестроить всю науку. Ты рассчитываешь умереть на своих номенклатурах и не думаешь о том, что неумолимое потомство сломает их, вооружившись зоологическим единством, которое мы ему завещаем!

Курс, излагающий принципы сравнительного изучения инстинктов, собрал блестящую аудиторию, ибо прежде всего предназначался для дам. Ученик великого Мармуса, уже признанный искусным оратором в рекламных статьях, которые разослал в газеты библиотекарь, начал с указания, что нас в этом пункте опередили немцы: Виттембок, Миттемберг и Кларенштейн, Борборинский, Валериус и Кирбах установили, доказали, что зоология со временем должна превратиться в инстинктологию. Различные инстинкты соответствуют разной структуре организмов, согласно классификации Серсо. Исходя отсюда, попугайчик, очаровательно строя фразы, повторил все то, что писали об инстинкте ученые-исследователи — он объяснил, что такое инстинкт, он рассказал про инстинкт чудеса, он играл вариации на тему об инстинкте совершенно так же, как Паганини играл вариации на четвертой струне своей скрипки.

Восторг охватил всех буржуа, всех дам. Ничего не

слыхали они до сих пор столь поучительного и столь увлекательного. Какое красноречие! Подобные вещи можно услышать только во Франции! Провинциалы прочли во всех газетах под рубрикой «Парижские известия»:

«Вчера в Атенеуме открылся курс сравнительного изучения инстинктов, читает его талантливый ученик знаменитого Мармуса, создателя этой новой науки. Первая лекция вполне оправдала все ожидания. Ученые-бунтовщики надеялись найти соратника в этом великом зоологе; но он доказал, что инстинкт согласуется с формой. Аудитория приветствовала шумными знаками одобрения полное согласие Мармуса с нашим знаменитым Серсо».

Приверженцы великого философа горестно поразились; они догадывались, что вместо серьезного спора были только слова: «verba et voces» [1]. Они отправились к Мармусу и осыпали его жестокими упреками.

— В ваших руках было будущее науки, и вы изменили ему. Почему вы не захотели создать себе бессмертное имя, провозгласив великий принцип молекулярного притяжения?

— Заметьте,— ответил Мармус,— как тактично ученик мой избегал говорить о вас и оскорблять вас. Мы пощадили Серсо для того, чтобы впоследствии воздать должное вам.

Между тем знаменитый Мармус был выбран депутатом от его родного Восточно-Пиренейского округа; но еще до этого Серсо назначил его где-то профессором какой-то науки, и вследствие его занятости законодательными вопросами пришлось создать должность заместителя по кафедре, занятую библиотекарем, бывшим журналистом, поручившим подготовить курс лекций какому-то безвестному таланту, который время от времени получал от него по двадцати франков.

Предательство стало тогда очевидным. Сэр Фэрнайт, полный негодования, написал в Англию, обратившись с призывом к одиннадцати пэрам, интересовавшимся наукой, и меня купили за четыре тысячи фунтов стерлингов, которые были поделены между профессором и его заместителем.

---

[1] Слова, пустые слова *(лат.)*.

В настоящее время я так же счастлив, как мой хозяин. Лукавый библиотекарь воспользовался моим путешествием и побывал в Лондоне под тем предлогом, что должен дать инструкции моему сторожу, на самом же деле, чтобы столковаться с ним. Я был в восторге, увидев, какое прекрасное будущее ожидает меня на отведенном мне месте. В этом отношении англичане просто великолепны. Для меня приготовили очаровательную долину величиной в четверть акра, в конце которой находится красивая хижина из бревен красного дерева. Ко мне приставлен констебль, получающий пятьдесят фунтов стерлингов жалованья.

— Милый мой,— сказал ему ученый-обманщик, грудь которого украшал орден Почетного легиона,— если хочешь получать жалованье до самой смерти осла, то позаботься о том, чтобы он никогда не ступал по-ослиному и постоянно смазывай полосы, превращающие его в зебру, жидкостью, которую вручаю тебе и которую потом ты будешь покупать у аптекаря.

Уже четыре года я кормлюсь за счет лондонского Зоологического сада, и мой сторож упорно твердит посетителям, что меня раздобыли бесстрашные, великие английские путешественники Фенман и Даппертон. По-видимому, я тихо окончу свои дни в этой восхитительной обстановке, ничего не делая, только соучаствуя в невинном обмане, которому я обязан ласковыми словами всех хорошеньких мисс и красивых леди,— они угощают меня хлебом, овсом, ячменем, смотрят, как я ступаю двумя левыми ногами, а потом двумя правыми, и восхищаются зебровидными полосками моей шкуры, не понимая их значения.

— Франция не сумела сберечь самое своеобразное на всем земном шаре животное,— говорят директора членам парламента.

Наконец, я решил ходить так, как ходил прежде. Это изменение поступи прославило меня еще больше. Мой хозяин, которого настойчиво называли «знаменитый Мармус», и вся партия, отстаивавшая принцип видоизменения, думали объяснить этот факт себе на пользу, напоминая о том, что покойный барон Серсо предсказывал эту перемену. Моя побежка оказывалась возвратом к тому нерушимому инстинкту, которым бог одарил живот-

ных и от которого я и мне подобные отклонились в Африке. Тут же ссылались на изменения в масти диких лошадей американских льяносов и татарских степей, где все масти, явившиеся результатом скрещивания приручен-ных лошадей, сливались в одну, естественную, подлинную мышино-серую масть диких лошадей. А сторонники теории о едином строении, молекулярном притяжении, о развитии высшего вида и инстинкта в зависимости от среды утверждали, что, наоборот, инстинкт меняется вместе со средой.

Ученый мир разбился на два лагеря: с одной стороны, Мармус, кавалер Почетного легиона, член университетского совета, профессор известной вам науки, член палаты депутатов и академии гуманитарных и политических наук, не написавший ни одной строчки, не сказавший ни одного слова, но признанный приверженцами покойного Серсо за глубокомысленного философа, и, с другой стороны, истинный философ, нашедший себе поддержку у истинных ученых, у немцев, великих мыслителей!

Одна статья оспаривает другую, печатается много диссертаций, появляется много брошюр, но в результате доказана только одна истина: в государственном бюджете имеется крупная контрибуция, которую дураки платят интриганам; всякая кафедра — это котелок для супа, а публика — это овощи; кто умеет молчать — ловчее того, кто говорит; профессором назначают человека не за то, что он сказал, а за то, о чем он умолчал; дело заключается не в том, чтобы знать, а в том, чтобы брать. Мой бывший хозяин всю свою семью устроил на государственное иждивение.

Истинный ученый — это мечтатель, а кто ничего не знает, тот называет себя практиком. Действовать практически — это значит получать деньги и ни о чем не заикаться. Иметь сметку — это значит втереться, как Мармус, между двумя противниками и служить тому из них, кто окажется сильнее.

Попробуйте-ка назвать меня ослом, меня, который дает вам способ возвыситься и резюмирует все науки. Итак, дорогие животные, ничего не меняйте в существующем порядке вещей: в лондонском Зоологическом саду я чувствую себя слишком хорошо для того, чтобы не при-

знать вашу революцию глупостью! О животные! Вы находитесь на вулкане, вы вновь раскрываете жерло революций. Своим послушанием, постоянным одобрением всего происходящего внушим различным государствам мысль о том, что надо создавать побольше зоологических садов, где нас будут кормить за счет людей, где мы спокойно будем проводить дни в хижинах, лежа на лужайках, орошенных бюджетом, среди трельяжей, позолоченных на государственный счет, пользуясь мармусовской синекурой.

Подумайте, из меня после смерти сделают чучело, меня сохранят в коллекции. Да разве могли бы мы достичь подобного бессмертия, оставаясь в естественном состоянии? Музеи — это Пантеон для животных.

Альманах «Сцены частной и общественной жизни животных», 1842 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ АФРИКАНСКОГО ЛЬВА И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОСЛЕДОВАЛО

1. ПО КАКИМ СООБРАЖЕНИЯМ ВЫСОКОЙ ПОЛИТИКИ ПРИНЦ ЛЕО ДОЛЖЕН БЫЛ СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ

Там, где кончаются горы Атласа и начинается пустыня, царит старый хитрый лев. В молодости он путешествовал вплоть до Лунных гор; он пожил в Берберии, в Томбукту, в Готтентотии, в республиках слонов, тигров, бушменов и троглодитов, налагая на них контрибуцию, но не доставляя им особых неприятностей, ибо только в старости, когда притупились его зубы, он стал терзать баранов, дробя их кости. Неизменно любезное его обхождение дало ему прозвище Космополит, то есть друг всего мира. Усевшись на трон, он пожелал оправдать львиное правосудие следующей дивною аксиомою: *хватать — значит изучать*. Он слывет за одного из образованнейших монархов. Это не мешает ему ненавидеть литературу и литераторов.

— Они вносят еще больше путаницы в то, что и без них запутано! — говорит он.

Но как он ни старался, его народ стремился к учености. Острые когти грозили ему со всех концов пустыни. Не только подданные Космополита шли ему наперекор, даже семейство его начинало роптать. Когтистые принцы упрекали его за то, что он запирается с псом-гриффоном, своим фаворитом, и пересчитывает сокровища, никого до них не допуская.

Этот лев много говорил, но мало действовал. Под львиными гривами начиналось брожение умов. Время от времени обезьяны, взобравшись на деревья, разрешали опасные вопросы. Тигры и леопарды требовали равного дележа добычи. Словом, как это часто происходит и в человеческом обществе, вопрос о том, кому мясо, а кому кости, поселил несогласие в массах.

Уже не раз старый лев бывал вынужден пускать в ход все меры для подавления народного недовольства, опираясь на промежуточный класс собак и рысей, которые дорого продавали свои услуги. Космополит был слишком стар, чтобы самому сражаться, к тому же он желал тихо окончить свои дни, умереть в своем собственном логовище. Но когда трон затрещал, пришлось льву задуматься. Если их высочества львята чрезмерно ему досаждали, он отменял раздачу продовольствия и брал их измором: в путешествиях он узнал, как быстро смягчаешься при пустом брюхе. Увы! Пришлось ему жевать и пережевывать этот вопрос. Видя, что львиное царство находится в состоянии возмущения, угрожающего крайне неприятными последствиями, Космополит додумался до мысли, весьма прогрессивной для зверя, но не удивившей министров, которым были хорошо знакомы ловкие обманы, прославившие его в молодые годы.

Однажды вечером, сидя в кругу семейства, он несколько раз зевнул и произнес затем следующие мудрые слова:

— Поистине, я очень устал все катить да катить камень, именуемый королевской властью. Грива моя поседела, слова мои истощились, капитал израсходован, а нажил я совершенные пустяки. Я должен раздавать кости всем, кто выдает себя за опору моей власти! Да хоть бы достиг я чего-нибудь! Нет, все жалуются. Один я не жаловался,— вот, однако, и меня забирает эта болезнь! Быть может, лучше предоставить все естественному течению и передать скипетр вам, дети мои! Вы молоды, вы заручитесь симпатиями молодежи и сумеете избавиться от всех недовольных львов уже одним тем, что не дадите им возможности победить.

Тут к его львиному величеству вернулась молодость, и он запел марсельезу львов:

Ваши когти точите острее!
Вашу гриву взъерошьте торчком!

— Отец,— сказал молодой принц,— если вы склонны уступить воле нации, то я готов признаться, что львы всех частей Африки, негодуя на farniente [1] вашего величества, уже поднимают бури, которые могут погубить государственный корабль.

«Ах ты, плут эдакий,— подумал старый лев,— ты заразился болезнью королевских наследников, ты только и ждешь моего отречения!.. Ладно! Мы научим тебя уму-разуму».

— Принц,— уже вслух продолжал Космополит,— чтобы царствовать, в наше время нужна не слава, а ловкость, и, желая вас убедить в этом, я вас усажу за работу.

Это известие, распространившись по всей Африке, произвело неслыханный переполох. Еще никогда ни один лев в пустыне не отрекался от престола. Кое-кого низвергли узурпаторы, но никому и в голову не приходило добровольно покинуть престол. Поэтому церемония отречения не могла состояться за отсутствием прецедента.

Утром, на заре, огромный пес, командир вооруженной аллебардами стражи, надев парадную форму и обвешав себя всяческим оружием, выстроил отряд в боевом порядке. Старый король уселся на троне, над которым висел его герб с изображением химеры, удирающей от кинжала. Тогда пес-гриффон пронес мимо всех придворных простофиль скипетр и корону. Космополит негромким голосом сказал следующие замечательные слова львятам, получившим его благословение и ничего более, ибо он, рассудив здраво, все свои сокровища оставил себе:

— Дети, на несколько дней предоставляю вам свою корону, попробуйте угодить народу; обо всем, что произойдет, будете сообщать мне.

Потом громким голосом и обращаясь ко двору, он закричал:

— Повинуйтесь сыну моему, он получил от меня наставления!

Едва молодой лев стал управлять делами, на него повела наступление львиная молодежь, и ее чрезмерные требования, ее убеждения, ее пыл, находившиеся, впрочем, в полном согласии с образом мыслей обоих царствен-

---

[1] Ничегонеделание *(итал.)*.

ных львят, привели к отставке прежних королевских советников. Каждый спешил предложить свое содействие за определенную плату. Оказалось, что число открывшихся вакансий не соответствует числу законных претендентов, нашлись недовольные, которые стали возбуждать уже подготовленные к тому массы. Начались бунты, поневоле пришлось принять меры и прибегнуть к многолетней опытности Космополита, который — вы, конечно, догадаетесь — сеял смуту. Итак, в несколько часов удалось подавить восстание. В столице воцарился порядок. Последовало целование когтистой лапы, а затем двор устроил пышный карнавал, чтобы отпраздновать возврат к прежнему режиму, который будто бы соответствовал воле народа. Молодой принц, обманутый этой сценой из высокой комедии, вернул трон отцу, который возвратил ему свое благоволение.

Дабы избавиться от сына, старый лев дал ему важное поручение. Если для людей существует восточный вопрос, то для львов существует европейский вопрос, ибо с некоторых пор европейцы узурпаторски завладели львиным именем, львиной гривой и львиной привычкой покорять. Национальное самолюбие львов было затронуто. И, чтобы дать пищу умам, чтобы удержать их от нового восстания, Космополит счел необходимым провоцировать «камарилью» на внесение в королевское логовище запроса о международных делах. Его львиное высочество в сопровождении зауряд-тигра отправился в Париж, не взяв с собой никакого атташе.

Ниже мы печатаем дипломатические депеши как самого принца, так и зауряд-тигра.

2. КАКОВО БЫЛО ОБХОЖДЕНИЕ С ПРИНЦЕМ ЛЕО ПО ПРИБЫТИИ ЕГО В СТОЛИЦУ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА

Депеша первая

Ваше величество!

Едва ваш августейший сын миновал Африку, французские сторожевые посты встретили его ружейными выстрелами. Мы поняли, что солдаты таким образом воздавали должные почести его рангу. Французское правитель-

ство поспешило ему навстречу; ему был предложен элегантный экипаж, украшенный железными прутьями, полыми внутри, который должен был привести его в восторг, ибо свидетельствовал о прогрессе современной промышленности. Нас кормили мясом высшего сорта, и нам оставалось только восхвалять гостеприимное обхождение Франции. Принц был принят на борт корабля, носившего, в знак внимания к звериной расе, название «Бобр». Попечением французского правительства мы доставлены в Париж, нам отвели квартиру за счет государства в очаровательном местечке, именуемом Королевским садом, куда стекается столько народу посмотреть на нас, что знаменитейших ученых приставили к нам в качестве сторожей, и, охраняя нас от чьей бы то ни было неделикатности, господа ученые отделили нас от толпы железными перекладинками. Мы прибыли в удачное время, здесь находятся послы, съехавшиеся со всех концов мира.

В соседнем особняке я заметил белого медведя, явившегося из заморских стран, чтобы заявить протест от имени своего правительства. Князь Медведев сказал мне, что Франция нас одурачила. Парижские львы, обеспокоенные нашим дипломатическим поручением, устроили так, что нас держат взаперти. Ваше величество, мы оказались пленниками.

— Где нам можно увидать парижских львов? — спросил я у него.

Ваше величество, соблаговолите обратить внимание на тонкость моего поведения. В самом деле, дипломатия львиной нации не должна унижать себя обманом, откровенность — средство более искусное, чем скрытность. Медведь, довольно простоватый, тотчас же угадал мою мысль и без всяких околичностей ответил, что парижские львы живут в тропических районах, где почва состоит из асфальта, где деревья, из коих добывают лак, произрастают, орошаемые деньгами некоей феи, призванной в муниципальный совет округа Сены.

— Идите прямо, прямо, и когда под вашими лапами окажется мраморная плита, на которой написано слово *Сейсель!* — грозное имя, носитель которого поглотил несметное количество золота, пожрал целые состояния, разорил львов, заставил уволить много тигров и распродать лошадей, послал путешествовать рысей, довел до

слез крыс, отнял награбленное у пиявок!.. Когда сверкнет перед вами это имя — значит, вы пришли в квартал Сен-Жорж, где находят себе убежище парижские львы.

— Вы должны быть довольны,—сказал я вежливо, как и полагается говорить послам,— тем, что здесь не злоупотребляют именем Медведевых, царствующих на севере.

— Простите,— продолжал он,— Медведевых парижские насмешники щадят не больше, чем вас. Я видел в типографии человека, именуемого «медведь» только потому, что он подражает нашему величественному хождению взад и вперед, подобающему существам столь рассудительным, как мы; между тем позорное назначение этого человека состоит лишь в том, чтобы покрывать белую бумагу черными отпечатками. Этим медведям помогают «мартышки», которые хватают буквы и создают то, что у ученых называется «книга».

— Дорогой князь Медведев, какая выгода людям присваивать себе наши свойства?

— Легче прослыть умником, когда называешь себя скотом, чем когда выдаешь себя за гения! А кроме того, люди всегда так хорошо чувствовали наше превосходство, что во все времена они пользовались нами, чтобы облагородить себя. Взгляните на старинные гербы, вы всюду увидите зверей!

Ваше величество, пожелав узнать, как относятся к этому важному вопросу правители севера, я спросил:

— Вы написали об этом своему правительству?

— Медвежий кабинет более горд, чем львиный,— он не признает человека.

— Старая, запорошенная снегом сосулька, вы полагаете, что мой повелитель, лев, не для всех животных — царь?

Не желая отвечать мне, белый медведь принял такую пренебрежительную позу, что одним ударом я разломал железные прутья своих апартаментов. Его высочество, внимательно следивший за нашим спором, поступил точно так же, и я собирался уже отомстить за честь нашей короны, когда ваш августейший сын весьма здраво сказал мне, что в тот момент, когда требуешь объяснений от Парижа, не нужно ссориться с северными державами.

Эта сцена произошла ночью; поэтому достаточно было

нам нескольких прыжков, чтобы достичь бульваров, где нас встретили,—дело близилось к рассвету,—такими восклицаниями: «Вот это здорово!» — «Вот так замаскировались!» — «Можно подумать, настоящие звери!»

3. ПРИНЦ ЛЕО ИЗУЧАЕТ ПАРИЖ В ДНИ КАРНАВАЛА, СУЖДЕНИЯ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ОБО ВСЕМ, ЧТО ОН ЗДЕСЬ УВИДЕЛ

Депеша вторая

Ваш сын с присущей ему проницательностью угадал, что сейчас карнавал в полном разгаре и что мы можем всюду ходить, не подвергаясь никакой опасности. Впоследствии я расскажу Вам про карнавал. Нам было чрезвычайно трудно изъясняться: мы не знаем здешних обычаев и языка. Вот каким образом мы вышли из затруднения...

(Депеша прервана из-за холода.)

Первое письмо принца Лео его отцу королю

Дорогой и августейший отец!

Вы так мало дали мне валюты, что мне трудно вести в Париже образ жизни, соответствующий моему рангу. Едва лапы мои коснулись бульваров, я уже понял, до чего эта столица не похожа на пустыню. Здесь все продается и все покупается. Чтобы напиться, надо платить, жить впроголодь стоит дорого, а чтобы наесться, для этого требуются непомерные расходы. Мы вместе с тигром в сопровождении умной собаки объехали все бульвары, и никто не обратил на нас внимания, до такой степени мы похожи на людей, среди которых мы отыскивали так называемых львов. Собака, хорошо знавшая Париж, согласилась служить нам гидом и толмачом. Итак, у нас имеется переводчик и нас принимают, как и наших противников, за людей, переодетых животными. Если бы вы, ваше величество, знали, что такое Париж, вы не стали бы мистифицировать меня и давать мне дипломатическое поручение. Чтобы выполнить его удовлетворительно, мне иногда придется, опасаюсь я, ронять свое достоинство. Попав на Итальянский бульвар, я счел необходимым последовать моде и закурить сигару, но так расчихался, что

произвел настоящую сенсацию. Какой-то фельетонист, проходя мимо и увидав мою гриву, сказал:

— В конце концов эти молодые люди станут похожи на настоящих львов.

— Вопрос распутывается,— сказал я своему тигру.

— Я полагаю,— заметил тогда пес,— лучше было бы, если бы он наподобие восточного вопроса подольше оставался запутанным.

Пес этот, ваше величество, каждую минуту дает нам доказательства своего высокого ума; поэтому вы не удивитесь тому, что он служит в знаменитом учреждении, помещающемся на Иерусалимской улице, которое окружает иностранцев, посещающих Францию, заботами и вниманием.

Он провел нас, о чем я вам только что докладывал, на Итальянский бульвар; там, как и на всех бульварах этого большого города, природе предоставлена незначительная роль. Конечно, там есть деревья, но что это за деревья! Вместо чистого воздуха — дым, вместо росы — пыль; поэтому листья не шире моих когтей.

Кроме того, Париж лишен какого бы то ни было величия: все имеет здесь жалкий вид; еда здесь очень скудная. Я зашел позавтракать в кафе, и мы заказали себе лошадь, но лакей до такой степени изумился, что мы, воспользовавшись его растерянностью, унесли его самого и съели в сторонке. Наш пес советовал не повторять этой проделки, предупредив нас, что подобные вольности могут привести нас в полицию. Сказав так, пес принял от нас кость и без дальнейших слов полакомился ею.

Наш гид очень любит рассуждать о политике, и беседа с этим плутом совсем небесполезна для меня; он многому меня научил. Могу признаться, что, вернувшись в Львиное царство, я не стану участвовать ни в каких бунтах; теперь мне знаком удобнейший способ управлять народом.

В Париже король царствует, но не управляет. Если вам непонятна эта система, я сейчас ее объясню. Собирают всех честных людей данной страны, делят их на триста—четыреста групп и говорят им: выбирайте своего представителя. В результате получается четыреста пятьдесят девять избранников, которым поручают законодательствовать. Поистине забавны эти люди: они думают,

что благодаря этой операции становятся талантливыми, они воображают, что если человеку дано звание, он приобретает способность понимать и вести дела; что слова «честный человек» — синоним «законодателя» и что баран становится львом, как только ему скажут: «Будь львом». Итак, что же происходит? Четыреста пятьдесят девять избранников рассаживаются по скамьям за мостом, к ним приходит король, просит денег или какой-нибудь утвари, необходимой для его власти, например, пушек или кораблей. Тогда все поочередно начинают говорить на разные темы, причем никто не обращает ни малейшего внимания на сказанное предыдущим оратором. Один человек рассуждает про Восток, после того как другой говорил о ловле трески. Считается, что патока отлично может замазать рот тому, кто вносил запрос о литературных делах. После тысячи подобных речей король добивается всего. А для того чтобы убедить четыреста избранников в полной их независимости, он нарочно время от времени отказывается от некоторых из своих требований, чрезмерных и предъявленных им умышленно.

Дорогой августейший отец, я нашел ваш портрет в королевской резиденции. Скульптор, по имени Бари, изобразил вас в момент схватки со змием революции. Вы несравненно красивее, чем все окружающие вас портреты мужчин, одни из которых носят под мышкой подобие свернутой салфетки, точно лакеи, а другие надевают на голову котелок. Этим контрастом с полной очевидностью доказывается наше превосходство над человеком. Его фантазия не идет дальше того, что он цветы держит в заключении, а камни кладет один поверх другого.

Наводя все эти справки насчет страны, где жизнь невозможна, где лапы не поставишь без того, чтобы не раздавить ноги соседа, я отправился в некое место, где, согласно обещанию пса, я должен был увидать тех курьезных животных, которым, по приказу вашего величества, следует предъявить запрос о незаконном присвоении ими наших имен, наших свойств, когтей и так далее.

— Вы, наверно, там увидите парижских львов, рысей, пантер и крыс.

— Друг мой, чем же в подобной стране может питаться рысь?

— Рысь, не в обиду будь сказано вашему высочеству,— ответил мне пес,— привыкла хватать все: она набрасывается на американские фонды, она рискует на самых дрянных акциях, а прячется по пассажам. Хитрость ее состоит в том, что пасть у нее всегда открыта, и голубок, именуемый здесь пижоном,— любимая ее пища,— сам лезет к ней в пасть.

— Каким образом?

— Кажется, рысь очень находчиво написала у себя на языке слово, являющееся талисманом для пижона.

— Какое это слово?

— Слово «барыш». Впрочем, существует несколько слов. Когда слово «барыш» сотрется, рысь пишет: «дивиденд». После «дивиденда» пишет «процент». Пижоны всегда попадаются.

— Почему?

— Вы находитесь в стране, где люди такого плохого мнения друг о друге, что самый глупый человек твердо надеется найти еще более глупого, которого он убедит в равноценности лоскутка бумаги и золотой жилы... Началось дело с правительства, которое приказало верить тому, что бумажный листок и поместье равноценны.

Ваше величество, в Африке еще не существует кредита, мы дадим работу смутьянам, если построим биржу. Приставленный ко мне пес, продолжая свое сообщение о человеческих глупостях, привел меня в очень известное кафе, где я действительно увидал львов, рысей, пантер и других псевдозверей, которых мы искали. Вопрос становится все более ясным. Представьте себе, дорогой августейший отец, парижского льва: это — молодой человек, который на ноги надевает лаковые сапоги стоимостью в тридцать франков, на голову — шляпу с коротким ворсом в двадцать франков, жилет на нем — самое большее в сорок франков, а панталоны — в шестьдесят. К этому тряпью прибавьте завивку, стоящую пятьдесят сантимов, трехфранковые перчатки, двадцатифранковый галстук, стофранковую трость и брелоки, которые стоят не больше двухсот франков; если не считать часов, за которые платят лишь в редких случаях, получается сумма в пятьсот восемьдесят три франка пятьдесят сантимов. Израсходовав для себя лично эту сумму, человек становится столь

горделив, что присваивает себе наше царственное имя. Итак, если имеешь пятьсот восемьдесят три франка пятьдесят сантимов, то можешь считать себя выше всех парижских талантов и добиться всеобщего восхищения. Имеете вы пятьсот восемьдесят три франка, значит, вы красавец, вы блестящий молодой человек, вы презираете прохожих, чье рубище стоит на двести франков дешевле. Будь вы великим поэтом, великим оратором, человеком доблестным, храбрецом, знаменитым художником, но если вы не нарядитесь в этот безвкусный костюм, никто на вас и не взглянет. Немножко лаку для сапог, галстук определенной цены, завязанный определенным способом, перчатки, кружевная отделка обшлагов сорочки — вот отличительные признаки этих завитых львов, возмущающих наши воинственные народы. Увы, ваше величество, я опасаюсь, не будет ли точно так же обстоять дело и с другими вопросами, не исчезнут ли они сами собой, когда близко присмотришься к ним, и не окажется ли под этим лаком, под этими подтяжками та же старая и вечно новая корысть, которую вы обессмертили, постоянно спрягая на свой лад глагол «хватать»!

— Ваше высочество,— сказал мне пес, который наслаждался, видя, как меня изумило это тряпье,— не всякий умеет носить костюм,— существует особая манера, а в нашей стране все сводится к вопросу о манере.

— Пусть так,— сказал я ему,— а если человек имел бы манеры, но не имел бы платья?

— Это был бы еще невиданный лев,— ответил пес без всякого смущения.— А затем, ваше высочество, парижский лев выделяется среди прочих людей не столько благодаря самому себе, сколько благодаря своей крысе; ни один лев не выходит на улицу без крысы. Простите, ваше высочество, я ставлю рядом два слова, которые ничего общего между собою не имеют, но я ведь говорю на местном наречии.

— А это еще что за зверь?

— Крыса — это шесть аршин пляшущего муслина, и ничего на свете нет более опасного, потому что эти шесть аршин муслина говорят, едят, гуляют и капризничают, пока не изгложут все состояние льва,— какие-нибудь тридцать тысяч экю, которые он взял в долг и которые исчезают бесследно!

Депеша третья

Объяснить вашему величеству, чем отличаются друг от друга крыса и львица, это значило бы объяснять неуловимые оттенки, тонкие различия, в которых не всегда разбираются даже парижские львы, хотя у них имеются лорнеты! Как определить неизмеримо малое расстояние, отделяющее французскую шаль, зеленую, но американского оттенка, от индийской шали зеленой, но яблочного оттенка, или гипюр настоящий от гипюра поддельного, походку вызывающую от походки пристойной! Вместо мебели черного дерева с резьбой работы Жане, отличающей логовище львицы, у крысы мебель вульгарного красного дерева. Ваше величество, у крысы наемный экипаж, у львицы собственная карета; крыса танцует, львица катается верхом в Булонском лесу; крыса получает фиктивное жалованье, львица обладает государственными облигациями; крыса пожирает чужие состояния, ничего для себя не сберегая, львица сколачивает себе изрядное состояние; у львицы логовище обито бархатом, тогда как крыса едва-едва поднимается до поддельной персидской набойки. Сколько загадок для вашего величества, не интересующегося легкой литературой и помышляющего лишь об укреплении своей власти. Сопровождающий нас пес прекрасно объяснил нам, что эта страна переживает переходный период, что будущего здесь предсказать нельзя, и предсказывают здесь только настоящее,— до такой степени быстро развертываются события. Непостоянство общего положения отражается на неустойчивости положения каждого человека. Этот народ, очевидно, станет вскоре бродячим племенем. Он до такой степени ощущает потребность в движении, в особенности за последние десять лет, что ныне сам сдвинулся с места; видя, как все вокруг идет прахом, он пустился в пляс, он несется галопом! Драмы развиваются так стремительно, что в них уже ничего нельзя понять; от них требуется только действие.

Из-за этой всеобщей подвижности рассыпались богатства, как и все прочее; теперь никто не считает себя достаточно богатым, поэтому устраивают складчину, чтобы собрать денег для развлечений. Все устраивается в складчину: люди собираются для того, чтобы играть, чтобы поговорить, чтобы помолчать, чтобы покурить,

чтобы поесть, чтобы попеть, чтобы заняться музыкой, чтобы потанцевать; вот откуда клуб и балы Мюзара. Без сопровождающего нас пса мы ничего не поняли бы в том, что бросалось в глаза. Он нам сказал, что для фарсов, для безумных хоров, шуток и забавных картин устроен здесь специальный храм, своего рода Пандемониум. Если его высочеству будет угодно посмотреть на галоп, который танцуют у Мюзара, он привезет в свое отечество полное представление о здешней политике и здешней неразберихе.

Принц выразил очень сильное желание отправиться на бал, и, при всей трудности удовлетворить это желание, его советникам оставалось только повиноваться, хотя они сознавали, что отступают от полученных ими инструкций; но разве не полезно поучиться молодому престолонаследнику? Когда мы явились и собирались уже войти в зал, трус чиновник, стоявший у двери, так был перепуган приветствием вашего сына, что мы получили возможность войти без билета.

Последнее письмо принца его отцу.

Ах, отец! Мюзар останется Мюзаром, а корнет-а-пистон мюзаровской музыкой. Да здравствуют женщины, переодетые грузчиками! Вы поняли бы мой восторг, если если бы увидели галоп! Один поэт сказал: «Покойники быстро уходят»,— но живые несутся еще быстрее. Ваше величество, карнавал — вот единственное, в чем человек одержал верх над животными, и невозможно оспаривать его права на это изобретение. Вот когда приобретаешь уверенность в тесной связи между миром людей и миром животных, ибо на карнавале в человеке обнаруживается столько звериных страстей, что нельзя сомневаться в нашем сродстве. Среди невероятной сумятицы, ради которой изысканнейшие столичные люди переодеваются в лохмотья и несутся в виде безобразных или причудливых фигур, я прямо перед собой увидал существо, называемое у людей львицей, и вспомнил старую басню про влюбленного льва, ее мне рассказывали в детстве, и я очень ее любил. Но сегодня эта история показалась мне смешной выдумкой. Перед львицей такой породы настоящий лев ни за что не зарычит.

4. О ТОМ, КАК ПРИНЦ ЛЕО ПРИЗНАЛ, ЧТО ОН НАПРАСНО БЕСПОКОИЛСЯ И ЧТО ЛУЧШЕ БЫ ЕМУ ОСТАВАТЬСЯ В АФРИКЕ

Депеша четвертая

Ваше величество, как раз на мюзаровском балу его высочество имел наконец возможность лицом к лицу встретиться с парижским львом. Встреча совсем не соответствовала принципам театрального «узнавания»; вместо того чтобы броситься в объятия принца, как сделал бы настоящий лев, парижский лев, увидав, с кем он имеет дело, побледнел и едва не упал в обморок. Однако он пришел в себя и благополучно выпутался... «Применив силу?» — скажете вы. Нет, ваше величество, применив хитрость.

— Сударь,— сказал ему ваш сын,— я желаю знать, на каком основании вы пользуетесь моим именем?

— Сын пустыни,— дрожащим голосом ответило дитя Парижа,— имею честь обратить ваше внимание на то, что вы называетесь лев, а мы называем себя на английский манер *лайон*.

— В самом деле,— сказал я принцу, пытясь уладить дело,— *лайон* — совсем не ваше имя.

— Кроме того,— продолжал парижанин,— разве мы так сильны, как вы? Если мы едим мясо, то ведь оно вареное, а ваш обед состоит из сырого мяса. Вы не носите колец.

— Подобные доказательства,— сказал его высочество,— меня не удовлетворяют.

— Но ведь мы спорим,— сказал парижский лев,— а в спорах выясняется вопрос. К примеру сказать, пользуетесь ли вы для своего туалета и для приведения в порядок вашей гривы пятью видами различных щеток? Сосчитайте: круглая щетка для ногтей, плоская для рук, горизонтальная для зубов, грубая для растирания кожи, двухсторонняя для волос! Разве у вас есть кривые ножницы для ногтей, плоские ножницы для усов? А семь флаконов различных духов? Разве вы платите определенную сумму человеку, которому поручен уход за вашими ногами? А знаете ли вы, что такое педикюр? Вы не носите штрипок и еще спрашиваете, почему нас называют львами? И я вам только что сказал: мы не львы, мы

лайоны, и называемся так потому, что ездим верхом, пишем романы, утрируем моду, ходим особой поступью, и потому, что мы самые изысканные светские люди. Есть такой портной, которому вы должны?

— Нет,— ответил принц пустыни.

— Ну вот, что же общего между нами? Вы умеете править тильбюри?

— Нет.

— Итак, вы видите: то, что является нашей заслугой, вполне противоположно характерным для вас чертам. Умеете вы играть в вист? Знаете ли вы, что такое Жокей-клуб?

— Нет,— сказал принц.

— Ну вот, дорогой мой, вист и клуб — два стержня нашей жизни. Мы кротки, как ягнята, а вы отнюдь не отличаетесь кротостью.

— Вы станете также отрицать, что приказали запереть меня? — сказал принц, которого столь преувеличенная вежливость начинала выводить из терпения.

— Если бы я и хотел вас запереть, я не мог бы этого сделать,— ответил мнимый лев, отвешивая поклон почти до земли.— Я вовсе не правительство.

— А почему правительство приказало запереть принца? — вмешался я.

— У правительства иногда бывают свои основания,— ответило дитя Парижа,— но оно никогда не сообщает их.

Судите сами, как изумился принц, когда с ним говорили таким недостойным языком.

Его высочество был так поражен, что упал на все четыре лапы.

Этим воспользовался парижский лев, он поклонился, сделал пируэт и исчез.

Его высочество пришел к заключению, что ему больше нечего делать в Париже; что зверям нечего вмешиваться в людские дела; что надо предоставить людям безбоязненно играть своими крысами, львицами, тростями, позолоченными безделушками, колясками и перчатками; что его высочеству лучше было бы не покидать вашего величества и что теперь ему надлежит вернуться в пустыню.

Через несколько дней в марсельской газете «Семафор» можно было прочесть следующее:

«Вчера принц Лео проехал через наш город, направляясь в Тулон, где он должен сесть на корабль, отплывающий в Африку. Причиной этого поспешного отъезда, говорят, является смерть короля, его отца. Справедливую оценку львы обретают лишь после смерти».

Газета добавляет, что эта смерть повергла в уныние многих обитателей Львиного царства и привела в замешательство весь мир.

«Волнения достигают таких пределов, что можно опасаться всеобщей катастрофы. Многочисленные почитатели старого льва в отчаянии.

— Что будет с нами? — восклицают они.

Как утверждают, пес, служивший толмачом принцу Лео и оказавшийся при нем в момент получения роковых известий, дал ему совет, хорошо рисующий, до какой деморализации дошли парижские псы:

— Ваше высочество, если вам не удастся спасти все, то *спасайте кассу!*

Вот какой урок,— заканчивает газета,— единственный урок, будет вывезен принцем из прославленного Парижа! Не свобода, а шарлатанство распространяется по всему миру».

Вполне возможно, что весь этот рассказ — чистейшая выдумка: мы заглянули в Готский альманах и не нашли в нем династии Лео.

Альманах «Сцены частной и общественной жизни животных», 1842 г.

УХОДЯЩИЙ ПАРИЖ

Пройдет несколько дней, и столбы Крытого рынка исчезнут, старый Париж будет существовать только в книгах беллетристов, достаточно смелых для того, чтобы в точности описывать последние остатки архитектуры наших предков; ведь серьезный историк редко обращает внимание на подобные вещи.

Когда французы пошли походом в Италию отстаивать права французской короны на Миланское герцогство и Неаполитанское королевство, они восхищались гениальным умением итальянцев защищаться от жары; вернувшись на родину, французы от восхищения перешли к подражанию. Дождливый климат Парижа, который славится уличной грязью, подсказал им тогда идею портика, показавшегося в те времена чудом. Впоследствии окружили портиком Королевскую площадь.

Странное дело! При Наполеоне по тем же мотивам построили улицу Риволи, улицу Кастильоне и знаменитую улицу Колонн.

Египетские походы принесли нам украшения в египетском стиле для Каирской площади. Еще не известно, превышают ли расходы на войну стоимость того, что она нам приносит.

Если бы наши верховные правители, выборщики, не воплощали собственную посредственность в архитектуре правительственных учреждений, а побольше заботились о посылке художников и писателей в генеральный совет Сенского департамента, то лет сорок тому назад у нас стали бы украшать вторые этажи всех вновь строя-

щихся домов балконами, выступающими вперед метра на два. В таком случае Париж мог бы справедливо гордиться очаровательными архитектурными фантазиями, а, кроме того, прохожие получили бы возможность ходить по тротуарам, защищенным от дождя, и все неудобства, вытекающие из пользования аркадами или колоннадами, исчезли бы. Еще можно терпеть одну улицу Риволи в такой эклектической столице, как Париж, но от семи или восьми подобных улиц начинает тошнить, как от улиц Турина, где глаза слепнут раз двадцать на дню. Атмосферические невзгоды явились бы для города источником красоты, а квартиры второго этажа приобрели бы преимущество, вознаграждающее их за те неблагоприятные для них условия, которые вызваны узостью улиц, высотой домов и низкими потолками, встречающимися все чаще и чаще.

В Милане еще к XI веку относится создание комиссии del ornamento [1], которая наблюдает за фасадами, выходящими на улицу, и все домовладельцы обязаны были представлять ей планы домов на утверждение. Итак, съездите в Милан. Вы придете в восхищение от тех результатов, к которым привел патриотизм городской буржуазии и городской знати, ибо в большинстве своем постройки оригинальны и характерны.

Старинные столбы Крытого рынка играли ту же роль в XV веке, что теперь играют аркады улицы Риволи, они были гордостью прихода св. Евстафия. Это архитектура Маркизских островов: три четырехгранных столба опираются на каменную подставку, на высоте десяти — двенадцати футов лежат побеленные известью балки, образующие средневековый помост. А на нем возвышается легкое строение, похожее на голубятню, со шпицем, иногда изрезанным наподобие испанской куртки. Возле лавки — крытый проход с крепкой дверью; он ведет в тесный, как колодезь, двор, на который выходят оконца, освещающие деревянную лестницу с перилами, по которой поднимаются на два или три верхних этажа. В таком стиле был построен и тот дом, где родился Мольер! К стыду городского управления, все переделали, перестроили, уничтожили столбы, и получился гадкий совре-

---

[1] По делам благоустройства *(итал.)*.

менный дом с желтой штукатуркой. Ныне портики Крытого рынка сделались парижской клоакой. Исчезает не только это чудо былых времен.

С точки зрения тех, кто, внимательно наблюдая, бродит по Парижу, кто является историком, имеющим единственного читателя, ибо публикует свои писания в единственном экземпляре, с точки зрения тех, кто умеет изучать Париж, и особенно тех, кто не только живет в Париже, но и относится к нему любознательно и с пониманием,— какая странная социальная метаморфоза произошла здесь за последние тридцать лет. По мере того как уходят крупные люди, исчезает вслед за ними и мелюзга. Уничтожить плющ, мох и лишайник так же легко, как распилить на доски пальмы и кедры. Один и тот же молот дробит и живописную прелесть простых вещей и царственное величие. Словом, народ уходит вслед за королем. Рука об руку удаляются они, предоставляя место гражданину, буржуа, пролетарию, промышленности и ее жертвам. С тех пор как выдающийся человек сказал: «Короли уходят!» — мы увидали гораздо больше королей, чем прежде, что и доказывает, как правильны эти слова. Чем больше фабрикуют королей, тем их становится меньше. Король — это не Луи-Филипп, не Карл X, не Фридрих, не Максимилиан, не какой-нибудь Мюрат; король — это Людовик XIV или Филипп II. Во всем мире теперь только царь осуществляет представление о короле, единый взгляд которого дарует жизнь или смерть, слово которого обладает способностью творить, как слово Льва X, Людовика XIV, Карла V, Королева Виктория всего лишь догаресса, а конституционный король — не более чем приказчик народа, получающий столько-то миллионов жалованья.

Три старинных сословия заменены, как говорят теперь, классами. Мы имеем классы образованных людей, классы промышленников, классы высшие, средние и т. д. И у каждого класса имеется наставник, как в школе. Тиранов заменили тиранчиками, вот и все. У каждой отрасли промышленности есть свой буржуазный Ришелье, именуемый Лафитом или Казимиром Перье, его *изнанкой* является касса, его *лицевой стороной* — презрение к своим крепостным, лишенное королевского величия!

В 1813—1814 годах, в ту эпоху, когда по улицам шагали гиганты, когда друг с другом соприкасались гигантские события, можно было видеть немало ремесел, совершенно неизвестных теперь.

Через несколько лет безвозвратно исчезает фонарщик, который спал днем, и его семья, которая не имела иного пристанища, кроме хозяйского склада, и вся целиком была занята работой: жена протирала стекла, муж наливал масло, дети тряпками чистили рефлекторы; сам фонарщик днем готовился к ночи, а по ночам гасил или вновь зажигал свет в зависимости от прихотей луны.

Штопальщица, обитавшая, подобно Диогену, в бочке, на которой находилась ниша для статуэтки богоматери, сооруженная из обручей и клеенки, также становится достопримечательностью, уходящей в прошлое.

Теперь приходится рыскать по Парижу, как рыщет по полям охотник в поисках дичи, теперь нужно пострансствовать несколько дней, прежде чем найдешь одну из тех жалких лавчонок, которые прежде насчитывались тысячами; там стоял стул, жаровня, чтобы греться, и глиняная печурка, заменяющая целую кухню; в этой лавчонке ширма выполняла роль витрины, а крыша состояла из куска красной парусины, прибитой гвоздями к соседней стене; справа и слева висели занавески, из-за которых прохожий видел либо торговку, продававшую телячьи легкие, мясные обрезки, всякую овощную мелочь, либо портного, наскоро чинившего заказчику платье, либо продавщицу свежей рыбешки.

Не встречаются уже красные зонты, под которыми процветали фруктовые лавочки, на смену им в большинстве городских районов явились рынки. Эти огромные грибы увидишь теперь только на Севрской улице. Когда город построит рынки всюду, где того требует спрос населения, тогда эти красные зонты станут столь же удивительны, как экипаж «кукушка», как масляные фонари, как те цепи, которые протягивал квартальный надзиратель от одного дома к другому в конце улицы, словом, как все предметы общественного обихода, уходящего в прошлое. Средневековье, век Людовика XIV, век Людовика XV, революция, Империя породят специальные главы археологии.

Теперь магазин убил все виды промыслов, ютившихся под открытым небом, начиная с ящика чистильщика обуви и вплоть до лотков, которые иногда состояли из длинных досок на двух старых колесах. В свои обширные недра магазин принял и торговку рыбой, и перекупщиков, и мясника, отпускавшего обрезки мяса, и фруктовщиков, и починщиков, и букинистов, и целый мир мелких торговцев. Даже продавец жареных каштанов устроился у виноторговца. Редко, редко увидишь продавщицу устриц, которая сидит на стуле, возле кучи раковин, спрятав руки под фартук. Бакалейщик упразднил всех торговцев, которые продавали кто чернила, кто крысиную отраву, кто зажигалки, трут, кремни для ружей. Вскоре продавец напитка «коко» станет неразрешимой загадкой для тех, кто увидит подлинное его изображение, его колокольчики, изящные серебряные литавры, его старинный кубок — образцовое изделие серебряных дел мастеров, гордость наших предков, его разукрашенную будочку, сверкавшую лоскутками красного шелка и султанами, которые иногда делались из серебряной канители.

Шарлатаны, бывшие герои площадей, теперь подвизаются на четвертой странице газет, получая по сотне тысяч франков в год; у них собственные особняки, построенные на доходы от «гвайаковой смолы», у них имения, купленные на выручку от «потогонных корней»; когда-то забавные и живописные, они сделались подлыми. Шарлатан, который не обращал внимания на насмешки, который многим рисковал и встречался с публикой лицом к лицу, был не лишен храбрости, а шарлатан, запрятавшийся в антресоли, еще более гнусен, чем его снадобья.

Знаете ли вы, во сколько обошлось это превращение? Знаете ли вы, во сколько обошлись сто тысяч парижских магазинов, если отделка некоторых из них стоила сто тысяч экю?

Вы платите полфранка за вишни, за крыжовник, за ягоды, которые прежде стоили два лиарда.

Вы платите два франка за землянику, которая стоила пять су, и тридцать су за виноград, стоивший десять су!

Вы платите от четырех до пяти франков за рыбку или цыпленка, которые стоили полтора франка!

В два раза дороже вы платите за уголь, цена на который утроилась!

Ваша кухарка держит на сберегательной книжке сумму, превышающую сбережения вашей жены, и, отправляясь гулять, одевается лучше своей хозяйки!

Квартира, стоившая в 1800 году тысячу двести франков, теперь стоит шесть тысяч.

Раньше на жизнь вполне хватало пяти тысяч франков, а сейчас и на восемнадцать тысяч так не проживешь!

Пятифранковая монета стала куда меньше прежней трехфранковой!

Зато извозчик теперь носит ливрею и, поджидая седока, читает газету, наверно, издающуюся специально для него.

Зато государство пользуется таким кредитом, что выпуск государственных процентных бумаг в четыре раза превысил долг Франции при Наполеоне.

И наконец, вы имеете удовольствие видеть на вывеске колбасной: «Такой-то, *учиник* г-на Веро», что свидетельствует о развитии просвещения.

Разврат уже не внушает ужаса, он широко распахивает ворота, огненно-красный номер притона пылает на черном стекле. Разврат завел салоны, где вы, как в ресторане, по карточке можете себе выбрать Семирамиду или Дорину, испанку или англичанку, провинциалку из Ко или из Бри, итальянку или негритянку с реки Нигер. Полиция запретила романы из двух глав, обдуваемые всеми ветрами.

Позволительно спросить, не нанося оскорбления ее королевскому высочеству — политической экономии, зависит ли величие нации от того, что сосиски нам будут отпускать с прилавка из каррарского мрамора, или от того, что о рубцах будут заботиться больше, чем о живых людях!

Фальшивый блеск Парижа явился причиною нищеты в провинции и в пригородах. В Лионе уже имеются жертвы, их зовут лионскими ткачами. В любой промышленности имеются собственные лионские ткачи.

Взвинчены потребности всех классов, объятых тще-

славием. Слова Фуке: «Quo non ascendam» [1] — стали девизом французских белок, с какой перекладины общественной лестницы они ни начинали бы свой бег в колесе. Политика должна была бы, ужасаясь не меньше моралиста, спросить у самой себя: а где же найдутся доходы, чтобы покрыть все эти потребности? Когда следишь за текущим долгом казначейства, когда узнаешь, что у любого семейства, на манер государства, имеется собственный текущий долг, тогда с ужасом видишь, что половина Франции *в долгу* у другой половины. Когда сведут счеты, то должники сожрут кредиторов.

Вот каков, вероятно, будет конец так называемого царства промышленности. Нынешняя система, которая поместила весь капитал в пожизненную ренту, обостряет этот вопрос и тем более обостряет столкновение. Крупная буржуазия отдаст гильотине больше голов, чем дворянство; и если есть у нее ружья, то противниками ее будут те, кто эти ружья производит. Все помогают рыть глубокую яму, конечно, для того, чтобы все могли в ней поместиться.

МОРАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Руины зданий, воздвигнутых церковью, знатью, феодализмом, средневековьем, великолепны и теперь еще поражают победителей, которые стоят перед ними, остолбенев от изумления; а после буржуазии сохранятся лишь жалкие остатки картона, штукатурки да раскраски. Вся эта огромная фабрика мелких изделий и создаваемый ею причудливый, дешево стоящий расцвет ничего после себя не оставят, даже пыли. Робронов знатной дамы прошлых веков хватит на обивку всей мебели в кабинете теперешнего банкира. А что можно будет сделать в 1900 году из гардероба теперешней буржуазной королевы... От него и следа не останется; он весь пойдет на выделку бумаги того сорта, на которой печатаются все теперешние произведения. А куда девать эту бумагу?

Альманах «Бес в Париже», т. II, 1844 г.

---

[1] «До каких высот я ни поднимусь» *(лат.)*.

ИСТОРИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПАРИЖСКИХ БУЛЬВАРОВ

ОТ ПЛОЩАДИ МАДЛЕН ДО БАСТИЛИИ

У каждого столичного города есть своя поэма, которая выражает его, передает его сущность и своеобразие. Бульвары теперь играют ту же роль в Париже, что когда-то играл Канале-Гранде в Венеции, что теперь играют Корсиадей-Серви — в Милане, Корсо — в Риме, Невский проспект — в Петербурге (подражание нашим бульварам), Унтер-ден-Линден — в Берлине, Гаагская роща — в Голландии, Реджент-стрит — в Лондоне, Грабен — в Мадриде, но ни одно из этих мест и сравнить нельзя с парижскими бульварами. Самый короткий из наших бульваров, пожалуй, длиннее Грабена, похожего на разодетую по-праздничному мещанку. Улица Унтер-ден-Линден уныла, как бульвар Понт-о-Шу, от нее попахивает провинциальным гуляньем, а начинается она особняками, которые похожи на тюрьмы. Невский проспект не больше похож на наши бульвары, чем страз на брильянт; там не хватает солнца, оживляющего душу, свободы... смеяться над всем, отличающей гуляющих парижан. Местные порядки препятствуют там собраться, хотя бы втроем, побеседовать у крохотного камина, который к тому же вечно дымит. Словом, вечер, такой прекрасный, такой пленительный в Париже, терпит неудачу на Невском проспекте; но здания на нем необычайны, и если бы искусству не приходилось считаться со строительными материалами, то беспристрастный писатель признал бы,

что архитектурное убранство Невского местами может оспаривать пальму первенства у наших бульваров.

На Невском только и видишь мундиры, петушиные перья да шинели! Нигде кучка людей не соберется позлословить! Не встречаешь ничего неожиданного, нет жриц веселья, да нет и самого веселья! Отрепья простонародья однообразны. Шагает себе простолюдин в неизменном своем овчинном тулупе. На Реджент-стрит также встречаешь все того же англичанина, тот же фрак или тот же макинтош! В Петербурге улыбка замирает на губах, а в Лондоне скука растягивает их беспрестанно и без малейшего удовольствия. Всякий предпочтет настоящие льды оледенелым лицам Лондона и Петербурга. На Невском проспекте только один царь, а в Лондоне что ни лорд, то царь,— многовато! Канале-Гранде стал уже трупом. Гаагская роща не что иное, как огромная харчевня для богачей. Корсиа-дей-Серви — не в обиду Австрии будь сказано — слишком переполнена шпионами, а посему не может оставаться самою собой, а в Париже... О! В Париже свобода ума, в Париже — жизнь Жизнь необычайная, плодотворная, заражающая бодростью, жизнь горячая, солнечная, жизнь ящерицы, жизнь артистическая, занимательная, полная контрастов.

Бульвар никогда не остается одним и тем же, все содрогания Парижа передаются ему: у него есть часы меланхолии и часы веселья, часы затишья и часы бешеного движения, часы целомудренные и часы бесстыдные. В семь утра ничьи шаги не оглашают плит тротуара, ни один экипаж не оживляет мостовой. Самое раннее в восемь часов бульвар пробуждают тяжелые шаги носильщика с ношей на плечах, стук первых кабриолетов, крики рабочих в блузах, спешащих на стройку. Еще нигде не подняты жалюзи, лавки закрыты, как устричные раковины. Зрелище, незнакомое многим парижанам, которые считают, будто бульвар всегда наряден; но они считают также вместе со своим любимым критиком, что раки так и появляются на свет красными. В девять часов бульвар по всей линии занят мытьем ног, магазины открывают глаза, показывая, какой ужасный у них беспорядок внутри. Через несколько минут бульвар уже суетится, как грязтка, там и тут появляются на тротуарах пронырливые пальто. Часов в одиннадцать кабриолеты мчатся на су-

дебные процессы, к очередным платежам, к присяжным стряпчим, к нотариусам; они везут уже готовые распуститься банкротства, везут задатки биржевым маклерам, мировые сделки, интриги, на лицах которых задумчивость, везут блаженство, на лице которого дремота и сюртук которого застегнут на все пуговицы, везут портных, везут белошвеек — словом, весь деловой и утренний парижский люд. К полудню бульвар уже голоден, на бульварах завтракают, проезжают биржевики. Наконец, между двумя и пятью часами жизнь бульваров достигает своего апогея, они бесплатно дают пышный спектакль. Три тысячи магазинов сверкают, и поэзия витрин поет свои красочные строфы от церкви Мадлен до ворот Сен-Дени. Прохожие, превратившись в актеров, сами того не зная, играют для вас роль хора из античной трагедии; они смеются, любят, плачут, улыбаются, предаются пустым мечтаниям. Они движутся, словно тени, словно блуждающие огоньки!.. И двух бульваров не пройдешь, как уже встретишь друга или врага, какого-нибудь оригинала, вызывающего смех или повергающего в глубокомысленные размышления, бедняка, который молит о милостыне, или водевилиста, который молит о сюжете,— они оба неимущие, и все же первый богаче второго. Здесь можно наблюдать комедию костюма. Сколько людей, столько разных костюмов, и сколько костюмов, столько же характеров! В погожие дни появляются здесь дамы, но не разряженные. Нынче туалеты вы увидите на Елисейских полях или в Булонском лесу. Прогуливающиеся по бульварам светские дамы только следуют прихоти и покупают кое-что ради забавы; они быстро проходят мимо и ни с кем не здороваются.

Около 1500 года жизнь Парижа и все самое характерное в ней сосредоточивалось на улице Сент-Антуан; около 1600 года — на Королевской площади; около 1700 года — возле Нового моста; около 1800 года — в Пале-Руаяль. Все указанные места в свое время были бульварами... Земля там горела, как теперь она горит под ногами биржевиков на террасе кафе Тортони. Словом, у бульвара своя собственная судьба. Нельзя было и предполагать, чем он станет к 1800 году. Из района, находящегося между предместьем Тампль и улицей Шарло, где кишел весь Париж, жизнь ушла в 1815 году на бульвар Панора-

мы. В 1820 году она сосредоточилась на Гентском бульваре, а теперь поднимается выше, к церкви Мадлен. В 1860 году сердцем Парижа станет район между улицей Мира и площадью Согласия. Легко объяснить эти перемещения парижской жизни. В 1500 году королевский двор помещался в замке Турнель, под защитой Бастилии. В 1600 году аристократия жила вокруг знаменитой Королевской площади, которую воспел Корнель, как со временем будут воспеваться бульвары.

Тогда двор переезжал то в Сен-Жермен, то в Фонтенебло, то в Блуа; Лувр не являлся постоянным местопребыванием королей. Когда Людовик XIV остановил свой выбор на Версале, Новый мост стал главной артерией, по которой весь город переправлялся с одного берега на другой. В 1800 году не стало уже никакого центра, искали развлечений всюду, где только можно было; парижские театры тогда помещались на бульваре Тампль, он стал средоточием города. Дезожье прославил его своей знаменитой песнью. Бульвары тогда служили первоклассной столбовой дорогой, ведущей к наслаждению, ведь известно, чем тогда был теперешний ресторан «Голубой циферблат»!.. В 1815 году, когда Бурбоны сосредоточили всю деятельность Франции в палате, бульвары превратились в проезжую дорогу для всей столицы. Однако блеск бульваров достигает своего апогея только после 1830 года. Странное дело! Тогда вошла в моду северная сторона бульваров, парижане упорно ходили только по ней. По южной стороне никто не ходил, другими словами, она не имела никакой цены, ее магазины не привлекали ни арендаторов, ни покупателей, в них торговали без блеска, без чувства собственного достоинства. Эта странность имела свою причину: все парижане жили тогда между северной стороной бульваров и набережными. За пятнадцать лет построился новый Париж, между южной стороной и холмами Монмартра. С тех пор обе стороны соперничают друг с другом в элегантности и отбивают одна у другой прохожих.

История бульваров, так же как история империй, начинается жалким образом. Кто из парижан, достигших сорокалетнего возраста, не помнит варварства муниципалитета, очень долгое время сохранявшего у входа на любой бульвар высокие тумбы, на которые наталкива-

лись беременные женщины, рассеянные молодые люди, взгляды которых были отвлечены иными предметами и которые не замечали столба, прежде чем не натыкались на него животом? Не менее тысячи несчастных случаев происходило каждый год, и над ними только смеялись!.. Целых тридцать лет сохранялись эти столбы, варварская бессмысленная косность, бросающая свет на характер французской администрации и больше всего парижской муниципальной, самой неумелой, самой расточительной и самой неизобретательной. В дождливую погоду на бульварах воцарялась непролазная грязь. Наконец, овернец Шаброль додумался вымостить бульвары вольвикской лавой. Как это характерно для парижского муниципалитета! Из овернской глуши привозят плиты вулканического происхождения, пористые, недолговечные, тогда как по Сене могли доставить на баржах гранит с берегов океана. Однако и то был шаг вперед, парижане приветствовали его, как благодеяние, хотя дорожки были так узки, что трем прохожим не позволяли сойтись вместе.

Дальнейших улучшений приходится ждать и посейчас. Пешеходные дорожки должны быть покрыты ровным слоем асфальта, который не следует чередовать с каменными плитами, ибо и ноги влияют на мысли парижан,— перемена грунта отзывается на голове. Шоссе надо замостить богато, нарядно, в духе того опыта, который проделали на улице Монмартр. Словом, почву нужно выровнять с одного конца бульвара до другого, а ворота Сен-Дени привести в порядок. Но бульвары будут достойны Парижа лишь после радикальной перестройки прилегающих зданий, когда можно будет гулять и под прикрытием и под открытым небом, не боясь того, что тебя изжарит солнце или намочит дождь. Полная перестройка домов обошлась бы так дорого, что о ней и думать не приходится, но хороший результат дали бы непрерывные выступающие над тротуаром балконы. (См. выше — «Уходящий Париж».) А почему бы не журчать в ложбинке вдоль каждой аллеи прозрачному ручейку от площади Согласия до площади Бастилии? Как зачахли теперь деревья и трава на бульварах!.. Разве не собираются накачивать воду из Сены на набережной Вильи только для того, чтобы выливать ее обратно в реку у моста Людовика XVI, пропустив ее через тела сирен?

Ребяческая выдумка, сказка! Впрочем, каковы бы ни были бульвары, все же ни в какую эпоху, ни у одной нации не было таких видов, таких прогулок и зрелищ, какие дает нам кольцо бульваров, которое начинается у Аустерлицкого моста, доходит до Зоологического сада и кончается у площади Мадлен, а затем ведет к площади Согласия и к Елисейским полям.

Теперь представим себе, что мы несемся на омнибусе, и проследим за течением этой реки, этой второй, безводной Сены, изучим ее характер.

Между площадью Мадлен и улицей Комартен обычно не прогуливаются. Над этой частью бульвара господствует наше подражание Парфенону, большое, красивое здание, обезображенное, что бы ни говорили, плохими скульптурами, которые годились бы для кафе, но портят боковые фризы этого здания. С южной стороны параллельно бульвару идет улица, удаляющая прохожих от магазинов, а новые постройки на левой стороне начаты только год тому назад. Итак, бульвар в этой части еще ожидает лучшего будущего, которое будет блестящим, особенно если уничтожат улицу с южной стороны. Пока здание министерства иностранных дел не приспособят под торговые помещения, вся эта часть бульвара обречена на гибель. Здесь люди только проходят, но не гуляют. Нет никакого оживления, хотя прохожие в общем хорошо одеты, элегантны и богаты. Место самое опасное для пешеходов: в главную артерию вливается пять улиц. Место самое скользкое: недаром здесь расположено министерство иностранных дел. Вот почему, быть может, никто не задерживается на этом бульваре: на передвижение влияет политика; но вскоре политику здесь упразднят. Покуда будет существовать улица Басс-дю-Рампар, последняя из улиц, проложенных ниже уровня бульвара, он будет лишен веселости, своеобразия, фланеров, а следовательно, и торговли. Домовладельцы, вам надо умеючи сеять сотни тысяч франков, приносящих миллионы! Здесь фланер чувствует себя слишком на виду; он не любит, чтобы на его счет злословили в верхних этажах домов, когда он входит в лавку, чтобы купить какую-нибудь мелочь.

Угловой дом на улице Комартен в XVIII веке пользовался огромной известностью: здесь жила мадмуазель

Гимар, прежде чем переехать в собственный особняк на Шоссе д'Антен. Атрибуты ее актерского ремесла и сейчас еще видны на скульптурных украшениях круглого павильона, как раз на углу улицы. Когда-нибудь и его разрушат, как разрушили дом Люлли, который стоял на углу улиц Нев-де-Пти-Шан и Сент-Анн и на котором Люлли обозначил свое имя при помощи орнаментов, где в виде лиры изображена скрипка, доставившая ему большое состояние.

На улице Мира иная картина: прохожих здесь множество. Прежде бульвар, в настоящем смысле слова, кончался уже здесь. Весь Париж сворачивал с бульвара на улицу Мира, направляясь к Тюильри. Улица Мира в будущем сделается соперницей улицы Ришелье и станет играть роль теперешней улицы Сен-Дени. Миновав эту точку, вы подходите к сердцу нынешнего Парижа, которое бьется между Шоссе д'Антен и улицей Фобур-Монмартр. Здесь начинаются причудливые, чудесные здания, напоминающие волшебную сказку или страницы «Тысячи и одной ночи». Прежде всего Ганноверский павильон и высокий дом против него, построенный Симоном, чтобы закрыть вид на сады маршала Ришелье. Весь Париж гуляет здесь, даже и не подозревая о том, что двадцать лет тянулся процесс по этому делу, которое было проиграно маршалом; а еще верят, что все делалось по прихоти короля в те годы, когда король уже изнемогал под натиском парламента. Затем идут Китайские бани, одно из самых смелых коммерческих предприятий, миллионный будто бы капитал, постоянная реклама и — странное дело! — основанное во времена Империи.

Если бы такие красивые и своеобразные здания, как Золотой дом, как Дом с большим балконом, не перемежались на бульварах с неопрятными, невзрачными постройками, попросту оштукатуренными, безвкусными и бесстильными, то бульвары могли бы соперничать по богатству архитектурной фантазии с самым большим из венецианских каналов.

Взгляните, как начинается улица Гранд-Бателье, на любом углу которой среди окружающего великолепия стоят дома, совсем не величественные и ничем не выделяющиеся! Поверите ли вы, что один из них принадлежит Жокей-клубу? Не странно ли, что его члены, богатые

щеголи, не выражают желания соперничать из национальной гордости с лондонскими клубами, которые по своей роскоши превосходят дворец короля. Знаменитым Золотым домом мы обязаны бывшему обойщику, сделавшемуся по призванию архитектором! Вот еще пример: модному портному Бюисону бульвары обязаны огромным домом (на противоположной стороне), построенным во дворе особняка, где все парижские игроки трепетали целых тридцать пять лет! Здесь помещался игорный дом Фраскати, имя которого почтительно было сохранено владельцем кафе, расположенного против кафе «Кардиналь». Полюбуйтесь, какие поразительные перемены произошли в домовладельческих предприятиях. Под гарантию арендного договора сроком на девятнадцать лет, обязывающего к ежегодной плате в пятьдесят тысяч франков, портной выстраивает настоящий фаланстер в духе Колизея; и на этом деле, говорят, заработает миллион, а лет десять тому назад тот дом, в котором помещается кафе «Кардиналь» и нижний этаж которого приносит теперь сорок тысяч франков, был продан всего лишь за двести тысяч франков. Дом портного Бюисона и дом бывшего обойщика Жанисара, кафе «Кардиналь» и кафе «Птит Жанет» (сколько эти слова заключают в себе завтраков, сделок, драгоценностей, богатства!) заканчивают собою улицу Ришелье. Кухня, фрак, дамские платья, бриллианты — не весь ли Париж в этих словах? Ибо в Париже без этого ничего не делается и ради этого делается все.

Кто же не знает, какие чары, какое опьянение разлито в воздухе между улицей Тэбу и улицей Ришелье?

Как только вы ступили сюда, ваш день потерян, если вы мыслитель. Здесь царствует золотой сон, неотступно влекущий к себе. В одно и то же время вы наедине с самим с собой и на людях. Гравюры в магазинах эстампов, дневные спектакли, лакомства различных кафе, бриллианты в витринах ювелиров, все пьянит вас и возбуждает. Здесь перед вами самые дорогие и изысканные товары Парижа; драгоценности, ткани, гравюры, книги. Префекту полиции следовало бы закрыть беднякам доступ сюда, ибо они станут добиваться немедленного передела земли. Вот выходит на бульвар лоретка из какого-нибудь узенького переулка, который ведет на об-

любованные ею улицы; и вдруг мыслитель становится похож на охотника, зачитавшегося Горацием и увидавшего, что у него из-под носа убегает куропатка! С биржевого поля битвы к ресторанам движутся люди, переходя от пожирания фондовых ценностей к поглощению пищи. Кафе Тортони не является ли одновременно и предисловием к бирже и ее развязкой! Почти все парижские клубы расположены в этих местах; прославившиеся художники, известные богачи и тысячи ножек, имеющих отношение к Опере, проходят здесь; во всех кафе сказочный блеск. Десять театров, включая театр Конта, блистают неподалеку огнями. Этот парижский район нанес смертельный удар Пале-Роялю. Здесь считаешь себя богачом, здесь самого себя признаешь умником, так как трешься среди умных людей. Здесь столько проезжает экипажей, что минутами кажется, будто и ты уже не идешь пешком. Головокружительное движение захватывает тебя; здесь опасно оставаться одному, не беседуя с кем-нибудь или не погрузившись в занимательные размышления. Вот почему в Париже обладатель годового дохода в сто луидоров чувствует себя счастливее, чем обладатель пятидесяти миллионов в Лондоне, чем владелец пятидесяти тысяч крестьян в Петербурге.

Начиная от улицы Монмартр и вплоть до улицы Сен-Дени физиономия бульваров резко меняется, несмотря на здания, не лишенные своеобразия, среди которых отметишь великолепный особняк Лагранж, приютивший теперь ковры Обюсона. Напрасно построили дом в вавилонском стиле, как будто бы сделанный из гипса; напрасно кажет свой кокетливый фасадик театр Жимназ; напрасно, точно по мановению феи-волшебницы, явился магазин «Бонн-Нувель», не уступающий по своей красоте венецианскому палаццо; все это потерянные труды!.. Уже не заметно изящества у прохожих, хорошо одетые дамы здесь чувствуют себя неловко, художник и светский лев не отважатся появиться в этих местах. С улиц, прилегающих к воротам Сен-Дени, из предместья Тампль, с улицы Сен-Мартен приходит сюда множество людей провинциального вида, совсем не элегантных, плохо сбутых, похожих на торгашей; появляются старики-домовладельцы, буржуа, удалившиеся от дел; совсем иной мир!.. Впрочем, такое явление можно наблюдать и в Пе-

тербурге: вся жизнь Невского проспекта сосредоточилась между Морской и Аничковым дворцом. В Париже достаточно пройти один из бульваров, и все меняется. Уже нет смелости в убранстве магазинов, нет роскоши в мелочах, нет богатых витрин, нет всего того, что придает поэтичность бульварам между улицей Мира и улицей Монмартр. Совсем иные здесь и товары; нахальная лавка, продающая все по двадцати пяти су, выставляет свои непрочные товары; уже ничто не подстрекает вашего воображения, которое за несколько шагов отсюда непрестанно находилось в возбужденном состоянии. Контраст столь разительный, что ум не в силах справиться; мысли у вас уже переменились, и если имеются у вас пятифранковые монеты, вы спокойно оставляете их у себя в кармане. А когда вы дойдете до ворот Сен-Дени, которые муниципальный совет уже лет двадцать собирается снести,— о, тогда, невзирая на оригинальность прилегающего обширного бассейна, вы спешите повернуть вспять, если даже вы забрались в эти места по какому-нибудь делу. Этот бульвар являет вашим взорам пеструю картину блуз, рваной одежды, крестьян, рабочих, тележек — словом, перед вами толпа, среди которой платье почище кажется чем-то нелепым и даже предосудительным.

Здесь бездарность муниципальных властей предстает пред вами во всем блеске. В десяти шагах от ворот Сен-Дени уже лет пятьдесят стоит водоем, единственное назначение которого — продажа воды. Ужасающее болото, не проходимое ни в какое время года, разливается грязью метров на двадцать кругом и позорит этот парижский уголок. Зачем это делается? Я требую, чтобы муниципальные советники это объяснили и оправдали. Этот бульвар всегда был средоточием всякой мерзости. Целый век не разрушали здесь стену высотою всего лишь в метр, которая отделяла от бульвара улицу, проходящую внизу. В конце переулка Буа де Булонь находилась лестница, спускаясь с которой знаменитая танцовщица Гимар вывихнула себе ногу. Весь Париж говорил об этом происшествии. После этого случая стена просуществовала еще лет пятьдесят. Если бы Лафайет, которого здесь освистал народ в 1832 году, обвиняя в измене, тогда простудился (его обливали из насоса), то стена еще сто лет

простояла бы на том же месте. В Париже несчастья, причиняемые злоупотреблениями, еще более упрочивают злоупотребления. Не зря существует так называемый префект Сены: воду нужно всюду продавать. А почему бы не построить водоразборную будку? Разве мало таких углов, где муниципалитету следовало бы поставить красивые резервуары, вроде того, что стоит на улице Аркад?

Вот где простонародная часть бульваров. От театра «Порт Сен-Мартен» до «Турецкого кафе» народ все принял под свое покровительство. Поэтому здесь успех какой-нибудь пьесы привлекает не записных театралов, а все население предместья. Популярные романисты никогда не клеветали на площадь Шато-д'О: в любой день, если стоит хорошая погода, между полуднем и четырьмя часами здесь можно видеть капрала и его землячку.

Словом, эта зона для простонародья — то же, что Итальянский бульвар. Но она оживляется только по вечерам, ибо утром все здесь уныло, бездеятельно, безжизненно, бесцветно. Зато вечером какое здесь оживление! Восемь театров наперебой приглашают зрителей. Пятьдесят торговок продают с лотков съестное, поставляя пищу народу, который ассигнует два су на хлеб и двадцать су на зрелища. Только здесь вы услышите парижские уличные крики, увидите, как кишмя кишит народ, встретите лохмотья, способные изумить живописца, и взгляды, способные испугать собственника! Здесь выступал покойный Бобеш, одна из здешних знаменитостей, который, как многие знаменитости, никем не заменен. Его кума звали Галимаре. Для этих прославленных клоунов Мартенвиль писал «парады», вызывавшие хохот у детей, у солдат и у нянек, костюмы которых здесь постоянно мелькают в толпе.

Дом, в котором помещается ресторан «Дефие», является последней попыткой этого района соперничать с главными бульварами. Опыт постройки таких зданий, как этот дом, как театр Амбигю и цирк, не вызвал подражаний. Прочие театры и дома построены по дрянным образцам: штукатурка, недолговечные орнаменты,— все ненадежно и плачевно, но в целом эффектно, причудливо и не лишено оригинальности. В знаменитом «Голубом

циферблате» ни один этаж, ни одно окно не выведены по отвесу. «Турецкое кафе» имеет такое же отношение к моде, как фиванские руины — к цивилизации.

Дальше начинаются пустынные бульвары, где никто не гуляет, каменистые пустоши этой величественной перспективы. Вас охватывает скука, издали доносится запах фабрик. Оригинального вы не увидите уже ничего. Рантье, если ему будет угодно, может здесь прогуливаться в халате. В солнечные дни здесь иногда слепые играют в карты, In piscem desinit elegantia [1]. На столиках выставлены для продажи игрушечные дома, железные или стеклянные; лавки здесь отвратительны, витрины запущены. Этот отрезок тянется от площади Мадлен до бульвара Голгофских дев. Жизнь и движение вновь встретятся нам на бульваре Бомарше; там находятся лавки старьевщиков, а народ вечно толпится у Июльской колонны. Тамошний театр напоминает о Бомарше только тем, что носит его имя.

А еще дальше — бульвар Бурдон, это уже не Париж, это деревня, пригород, большая дорога, величие ничтожества; но это — одно из прекраснейших мест в Париже, вид открывается отсюда поразительный. Чисто римское великолепие, которым никто не любуется! Аустерлицкий мост, Сена, в ее самой широкой части, собор Парижской богоматери, Зоологический сад, винный рынок, остров св. Людовика, запасные хлебные амбары, Июльская колонна, рвы Бастилии, Сальпетриер, Пантеон — все грандиозно. Поистине конец парижской драмы достоин ее начала.

Поезжайте верхом на английской лошади крупной рысью от площади Согласия до Аустерлицкого моста, и вы за четверть часа прочтете поэму о Париже, начиная с Триумфальной арки на площади Звезды, где оживут в вашей памяти три тысячи солдат, и кончая убежищем Сальпетриер, где живут три тысячи сумасшедших женщин; от Интендантского склада до Музея, от эшафота Людовика XVI, одетого египетским гранитом, до первого выстрела революции, огонь которого вспыхнул на глазах у Бомарше, убивавшего своими остротами за де-

---

[1] Поговорка: «Началось с изящества, окончилось рыбьим хвостом» *(лат.)*.

сять лет до того, как раздался первый ружейный выстрел; от дворца Турнель, где родился король Франции, до палаты депутатов, где он умер в лице короля французов. Вся история Франции, особенно ее последние страницы, записана на парижских бульварах.

Теперь готов появиться грозный конкурент бульварам. Светские люди уже выбирают для прогулок южную боковую аллею Елисейских полей; но та же самая неурачительность, из-за которой в дождливую погоду нельзя пройти по бульварам,— а в Париже чаще всего бывает дождливая погода,— еще надолго задержит успех главного проезда Елисейских полей. Caveant Consules! [1]— Я кончил.

Альманах «Бес в Париже», т. II, 1844 г.

---

[1] Да будут бдительны консулы! (*лат.*).

ПИСЬМА

`

ЛОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Париж, 12 августа 1819 г.

Мадмуазель Лора,

Дорогая сестра, ты хочешь знать подробности о моем переезде и моем образе жизни. Так слушай же! В покупках своих я уже отчитался маме, но, трепещи... тебе я сообщу нечто ужасное...— я нанял слугу.

— Слугу? Брат мой, о чем ты думаешь?

Слугу господина Наккара зовут Невозмутимый, моего — Ясам. Проснувшись, я звоню, он приходит и оправляет мне постель.

— Ясам!

— Что, хозяин?

— Меня кто-то кусал ночью, посмотри, нет ли клопов?

— Клопов не видно, хозяин.

— Ну и хорошо.

Он принимается подметать пол, но делает это очень неловко.

— Не пыли так!

— И пыли-то никакой нет, хозяин.

— Молчи уж, ворчун.

И он замолкает. Такой слуга — одно удовольствие. Он выбивает одежду, следит за бельем, чистит ботинки, вытирает мебель, подметает, напевая, и поет, подметая, смеется, рассказывая, и рассказывает, смеясь. Но я его останавливаю.

— Ясам!

— Что, хозяин?

— Перестань болтать, накрой на стол и подай завтрак.

— Хорошо, хозяин!

Я завтракаю, потом я обычно ругаю Ясама, чтобы он не вздумал меня обворовывать. Если он надуется, я тотчас выставляю его за дверь, запираю ее и велю ему прогуляться. В общем, он неплохой малый.

Ясам оклеил белой бумагой полки в шкафу, стоящем около камина, и уложил на них белье, к шкафу он приспособил замок. Ясам смастерил из синей бумаги на шесть су и рамки, которую он где-то раздобыл, экран для камина, побелил комнату от книжных полок до камина. Если он начнет капризничать, чего, правда, еще не случалось, я отправлю его в Вильпаризи за фруктами или в Альби справиться о здоровье моего кузена. Ну, впрочем, хватит говорить о слуге, золотить клетку воробья. Нужно ведь усыпать свой жизненный путь цветами, это я и делаю, когда пишу тебе.

— Смотрите-ка, как он галантен, мой брат!

— Разве ты не понимаешь, что это лишь отзвук тех любезностей, что я говорю барышне с третьего этажа.

Но моя любовь пережила серьезное потрясение, я заметил, что она влюблена в слугу... Да, да, Ясам тоже нашептывает ей комплименты

Так хорошо с тобой поболтать, и уж раз я покончил с официальными сообщениями, перехожу к фельетону. Отец и мать с третьего этажа — славные люди. Несмотря на всю мою проницательность, я так и не смог узнать, на что они живут. У отца парализована вся левая часть тела. Хозяин дома — неплохой человек, его жена — деловая женщина, у нее красивая, хотя и заурядная внешность. У них два сына, (причем старший — страшный лентяй) и дочь, которая замужем за торговцем фарфором с улицы Пти-Лион. Помнишь, мы покупали у него супницу для маминого маленького сервиза?

Холостяк с четвертого этажа — бездельник. Поверишь ли, вот уже целую неделю я без толку ломаю себе голову, слоняюсь из угла в угол да жую, и все еще не сделал ничего путного.

«Коксигрю» очень труден, написать его свыше моих сил.

Проходит время, а я только учусь и развиваю свой

вкус, иногда мне кажется, что я начинаю сходить с ума, но, к счастью, я все же уверен, что крепко держу в руках свою уважаемую голову.

Напиши, что ты думаешь о господине Боварле-Шарпантье как о музыканте. Бланшар расспрашивал меня о нем, и я обещал что-нибудь разузнать.

Еще одна новость, которая покажется тебе необычайной, именно тебе — поверишь ли, я не дотрагивался до сахарницы.

Я дурачусь, конечно, но что ты хочешь, я ведь пишу тебе не заранее обдуманное письмо, а все, что придет в голову. Не удивляйся, если я иногда мелю вздор. Ведь мое письмо адресовано в Вильпаризи.

Не удивляйся и тому, что пишу на обрывке листка плохим пером, а главное, что болтаю глупости. Мне нужно возместить расходы, и я экономлю на всем, даже на почтовой бумаге, как ты сама видишь.

Я огорчен, что у меня нет времени написать Лоренсе, которую я люблю так же, как тебя. Ну да, так же, как тебя. Передай ей, что добросовестность подгоняет меня работать.

До свиданья, дорогая, добрая сестра. Я люблю тебя от всего сердца так же, как и Лоренсу. Остаюсь, мадмуазель, покорным слугой больших пальцев ваших четырех ног.

Оноре.

В письме к маме я забыл передать поклон отцу. Сделай это и поцелуй его от меня.

Из белья мне нужны белые нитяные чулки (№ 10) и серые чулки (№ 3), а также полотенце. Таков баланс. Я хватился всего этого в первый же день, в среду.

Мамаша Комен достанет полотенце, у тебя найдется одна из двух нужных мне пар чулок, но где взять другую?

ЛОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Париж, сентябрь 1819 г.

Тебе одной.

Моя дорогая, хорошая, я окончательно остановился на «Кромвеле». Теперь, когда все решено бесповоротно, я начну писать по-другому. Сначала я напишу трагедию

начерно, одним дыханием, в пять или шесть месяцев. И набросаю общий эскиз, а затем распишу его красками. Может быть, в конце сентября или в начале октября пришлю тебе первый акт. Надеюсь, что ты по своему вкусу его ужмешь, укоротишь, почиркаешь.

Думаю, что, предлагая присутствовать при долгих и мучительных родах гения (ну, смейся же!), я даю тебе еще одно ценное доказательство своей дружбы. Так как это будет черновик (где тем не менее отдельные страницы я тщательно отшлифую), то я оставлю большие поля, где ты сможешь начертать свои высочайшие замечания. Я неплохо провожу ночи, но холод меня *покусывает* (папино словечко) и мне очень хочется приобрести для работы какое-нибудь старое кресло, которое защитило бы от холода хотя бы бока и спину и предохранило бы мой бедный зад от геморроя.

Не говори ничего дорогой, доброй маме о моих ночных работах и сама не упрекай меня: я твердо решил — подохнуть, но закончить «Кромвеля» раньше, чем мама потребует от меня отчета в проведенном времени. Я, как никогда, увлечен своей профессией, и к этому есть тысячи причин; сообщу некоторые из них. Наша революция еще не закончилась, и, судя по последним событиям, я предвижу в будущем сильные грозы. Представительная система нуждается в больших талантах, избирательное большинство трудно обмануть. Я заметил, что во время политических кризисов охотнее всего выдвигают кандидатуры литераторов, так как у них жизненный опыт сочетается с умением наблюдать и со знанием человеческого сердца. Итак, *если* я окажусь *решительным, напористым человеком* (в этом, правда, мы еще не совсем уверены), я смогу достигнуть славы не только литературной. Так прекрасно быть великим человеком и великим гражданином! Ты ведь знаешь, что не богатство меня прельщает,— я ценю его лишь как средство добиться славы, и не больше, как возможность делать добро и доставлять радость тем, кто тебя окружает. Ничто, ничто, кроме славы, не сможет заполонить мое сердце, где тебе отведено большое место.

Сестра моя, хорошая моя Лора, я хотел бы видеть всех вас богатыми, чтобы вы не приставали ко мне с вопросами о моем будущем. В этом, конечно, есть много

эгоизма, но его можно простить: ведь он ведет к добрым делам.

Я жажду успеха «Кромвеля» и отношусь к моей бедной трагедии, как торговец к дорогой марке кофе: я заранее подсчитываю, сколько я на ней заработаю и смогу ли наконец добиться независимости.

Я похож на Перетту с кувшином молока, и это сравнение, увы, может оказаться слишком верным. Если в Вильпаризи случайно продается гениальность, купи ее мне как можно больше, но, увы, она ведь не продается, не дарится, не покупается, а мне она до зарезу нужна.

Между прочим, в тех недоношенных стихах, что я имел честь тебе выслать некоторое время тому назад, есть грубая ошибка. Кажется, в первом стихе. Я посчитал, что в слове *наука* два слога, а их там три.

Так как я хочу посмотреть, как ты кусаешь свои хорошенькие пальчики, то попробуй исправить эту строку и пришли ее мне. Я уже написал монолог в стиле Шаплена. Я надеялся, что создал прекрасные стихи, но, проверив их, нашел ошибки почти в каждой строке. Вот горе!

Дорогая сестра, прошу тебя, думай обо мне!

Прекрасная и нежная поклонница лангедокского Петрарки, молись, чтобы увидеть его увенчанным славой, генеральным директором и обладателем ренты в сто тысяч ливров.

Прощай!

О. Бальзак.

ЛОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Сентябрь, суббота, 10 часов утра. 1819 г.

Так как ты интересуешься моей жизнью — сообщаю тебе, что я спал прекрасно, да и могло ли быть иначе! Засыпая, я думал о тебе, о маме, о своей любви и о своих надеждах. Проснувшись, тоже думал о тебе. Я мечтаю о Таците, пришли же мне его!

Кстати, письмо Лоренсы очень милое, лучше твоего, это и не удивительно. Она старалась, а ты пишешь — словно болтаешь.

Лора, я думаю, что было бы величайшей глупостью смотреть «Цинну» с галерки, когда Тальма играет Августа, Лафон — Цинну, мадмуазель Дюшенуа — Эмилию и Мишло—Максима. Конечно, надо быть сумасшедшим, чтобы пойти. тем более что дома я могу перечитывать «Цинну» сколько мне угодно. Но вот что меня прельщает: я никогда не видел на сцене трагедий Корнеля — нашего генерала — и совершенно не представляю, как актеры читают его стихи, а они гораздо лучше Расиновых. Но в театре я наверняка потеряю голову... Решено — не пойду.

Хозяйство мое разваливается, работа несовместима с опрятностью. Я спускаюсь вниз за покупками раз в три или четыре дня. Я сменил фруктовую лавку: хозяйка прежней лавки перебралась на улицу Руаяль; туда далеко. Теперь я покупаю в другой лавке, на улице Турнель, что напротив прославленной улицы, где живет твой прославленный брат.

Мой кофе все заливает в камине, это разрывает мне сердце.

Сегодня надо варить кофе, убирать комнату, идти за покупками, пообедать в кухмистерской, к тому же еще зайдет прачка, завтра явится «папочка» — сколько загубленного времени! Зато ночи!.. Вот когда я беру реванш!

Я жду, когда привезут дрова, тогда у меня будет тепло.

— Дорогая, нежная, добрая, ласковая сестричка, которую я люблю так нежно, горячо, преданно и трогательно!

— Братец, к чему бы все это?

— Сестра, а мое покрывало для ног! Надеюсь, ты мне его связала? Нужно раздобыть для меня (говорю это только тебе; милая мама сказала бы, что я вечно чего-нибудь прошу!) какую-нибудь старую-престарую шаль или нечто в этом роде. Ты будешь смеяться, но именно ее-то мне и не хватает для моего ночного одеяния. Представь себе: твой негодный братец завертывается в турецкий каррик, спортаченный некогда обжорной памяти Гроньяром, но вышеуказанный каррик доходит только до колен; жилетка из мольтона слишком тонка для зимы, особенно если на дворе мороз и мою кожу от него отде-

ляет только крыша, плечи мои взывают к твоему изобретательному воображению. Для головы я надеюсь на колпак из красной мериносовой шерсти, подбитый ватой *а ла папà*.

Подобно Катону, который все свои речи заканчивал словами: «По-моему, Карфаген должен быть разрушен»,— так и я все письма к тебе буду заканчивать фразой: «Целую тебя, сестра, и да будет *прислан* Тацит и выучена латынь!»

Знаешь, меня по-настоящему мучает совесть, что мы не посвятили господина де Виллье в нашу тайну. Он ведь так меня любит, он никого не знает, кому бы мог нас выдать, к тому же как деловой человек он не болтлив. Пойми, что после зимы, проведенной в трудах, летом нужно отдохнуть хотя бы недели две. Иль-Адан — земной рай для меня, там я всегда хорошо себя чувствую. Ты не думай, что я уже хочу бежать от трудностей, сейчас я как никогда счастлив. Но этот добрый господин де Виллье так меня любит! Напиши ему, что я его тоже очень люблю. Ну в общем посмотрим. Ты хотела получить длинное письмо (разве ты маркиза?), надеюсь, что это письмо тебя удовлетворит. Я не скуплюсь на глупости, а вот вы, вы, наоборот, скупитесь на милую болтовню. Фи, это гадко, милые дамы, особенно, если вы знаете, что существует Годар (sic!)!

Ты знаешь, иногда я ворчу сам на себя и даже надуваю губы. Здесь нет милой мамы, чтобы сделать мне замечание. Я жертва своего характера: то я весел, то задумчив. У меня неровное настроение, мне обязательно надо отделаться от собственного общества.

На днях я играл с соседями снизу в бостон по маленькой и выиграл три франка. (Если я только не остерегусь, общество вновь завладеет мною.) Бостон заставил меня подумать о наших, и все время, что я о вас думал, я проигрывал. Скажи Заире, чтобы она мне так много не писала: два письма в три месяца — это ужасно! Надо беречь отшельников, я понимаю ее, так скучно писать о том, чего не чувствуешь. Я не хочу, чтобы она и дальше разыгрывала роль маркизы Б.

Мои письма — настоящий маседуан: на одной странице я пишу о сотне различных вещей, но ты легко мне это простишь, зная мой нрав.

Зимой мне придется зажигать лампу в три часа, расход масла повергает меня в ужас. В моей комнате темно, как в печке, кроме меня, никто ничего не видит. Но это все пустяки, лишь бы было тепло. Мне предстоит еще расход — набить снизу на дверь валик (sic!), так как из-под нее несет, как будто там Тюлю дует в свою флейту.

Когда же вы появитесь в Париже погреться у моего огонька, попить моего кофе, закусить сбитыми яйцами, поданными на фаянсовом блюде, которого у меня, правда, еще нет?

До свиданья, soror [1]. Я надеюсь иметь письмо от сестры (sororis), ответить сестре (sororí), увидеть сестру (sororem), тогда, о сестра (ó soror), я буду доволен сестрой (sorore). Отвечай мне так же подробно, как я тебе пишу — слышишь?

Мой флюс сегодня утром немного спал и нарыв уменьшается. Увы, года через два-три я буду есть только мякиш, вареную говядину и вообще пищу стариков. Мне придется печь редиску, как маме. Тебе легко говорить — выдерни. Ведь выдергивать надо все зубы! Я предпочитаю все предоставить природе — ведь у волков же нет дантистов!

Ты мне много пишешь о господине де Сюрвиль. Заставь его поухаживать за Лоренсой. Кажется, он частенько у вас бывает. Будьте обе приветливы, но неприступны, как дочери Маре в песенке с бульвара Тампль — всегда так приятно одержать победу. Когда ловят голубей, то одного привязывают у силка. Конечно, у меня и в мыслях нет, что вы хотите устроить ловушку, но замужество... О это замужество!

Больше ничего не скажу, и да исполнится все, чего я тебе желаю, даже если для этого и понадобится силок.

Разве вы не заставляете нас благословлять все цепи, силки и т. д., которые вы нам уготовляете, и кто не возгордится, если его поймает такая Лора или Лоренса.

Я становлюсь почти галантным.

Твой брат, сын нашей мамы

О. Бальзак.

Мне еще нужно рассчитаться с кухаркой!!.

---

[1] Сестра *(лат.)*.

ЛОРЕ СЮРВИЛЬ

Вильпаризи, вторник, вечер 2 апреля 1822 г.

Дорогая, добрая сестра...

Я очень вас люблю, и вы вполне этого заслуживаете, но скажите, почему же вы пишете мне такие маленькие записочки, которые я проглатываю, как волк ягодку. Ты незамедлительно получишь экземпляр «Жана-Луи», но посылаю его тебе при условии, что ты поклянешься всеми богами не давать его ни *единой душе* и даже никому не показывать, чтобы он не обошел весь Байи и тем самым не повредил бы моей коммерции. Ты можешь его только всем хвалить. Я не посылал тебе «Бирагскую наследницу», так как это настоящее литературное *свинство;* теперь с моих глаз спала пелена. Я хорошо знаю цену «Наследнице», тем не менее самолюбие иногда нашептывает мне, что она не хуже других книг, что печатаются. Ты можешь оставить себе «Жана-Луи», там есть забавные места, но общий замысел романа ужасен.

Дорогая моя Лора, каждый день я благословляю счастливую независимость, которую дает мне моя профессия, и я еще *надеюсь,* что заработаю достаточно денег. Мне кажется, я знаю теперь свои возможности, и мне жаль жертвовать лучшими моими замыслами ради подобных глупостей. У меня много планов, и если бы я был спокоен за будущее, не было бы у меня различных обязательств, имей я хлеб насущный, миску супа и какую-нибудь Армиду, я принялся бы, наконец, за серьезные вещи, но для этого надо окончательно порвать с обществом, а я каждый день снова к нему возвращаюсь. Мне кажется, что я очень изменился. Мои теперешние взгляды, *манера работать* и тысячи других вещей отличаются от того, что было два года тому назад, так же как тридцатилетний мужчина отличается от десятилетнего ребенка. Я много думаю, многое понял и радуюсь, что природа наградила меня умом и сердцем. Я не теряю надежды, что сумею что-нибудь создать, теперь я понимаю, что «Кромвель» ничего не стоит, его нельзя назвать даже эмбрионом.

Ты просишь, чтобы я поехал не в Турень (sic!), а в Байи. Конечно, я тебя предпочту господину де Савари, но я еще не знаю, смогу ли я вообще куда-нибудь по-

ехать, это будет зависеть от начатых мною работ, но будь уверена, что если я все же поеду, то, конечно, в Байи.

У Эдуарда (Малюса) катар груди (sic!), и за ним нет надлежащего ухода; мамаша нашла его в чулане — ты помнишь этот чулан — без огня, на тюфяке из мочалы и на грубых простынях. Г-жи Малюс, которая не раз говорила маме, что не может ее навестить, так как ухаживает за сыном, не было дома, а г-жа Воморель нежилась в другой комнате, в бержерке, плотно закрыв двери.

Вы теперь счастливы: у вас не только мамин портрет, но и ее особа. У меня нет больше новостей — ни семейных, ни политических, вообще никаких. Эти две недели тянулись очень однообразно. Г-жа Монцэгль переехала, она устроилась в Сен-Манде, я ее не видел целую вечность. Как только приеду в Париж дня на два, обязательно ее навещу. Ее муж столь же легкомыслен в отношении денег и всего прочего, как и прежде. Милая сестра, когда гостит мама, то письма несчастного братца-скряги вряд ли интересны, поэтому тороплюсь кончить и хочу еще раз тебя заверить, что я по-прежнему очень тебя люблю, но все же немножечко меньше с тех пор, как мама у тебя.

Прощай, будь здорова и думай иногда о всех нас. Моя обязанность сегодня напомнить тебе о трио из Вильпаризи. Г-жа де Берни жалуется, что все еще не получила от вас ответа на какой-то важный вопрос. Наверное, речь идет о чем-нибудь из области физиологии, хотя эта дама больше всего любит рассуждать на темы морали.

До свиданья, злюка, ты мне мало пишешь, держишь у себя маму, которая тоже молчит.

До свиданья, люблю тебя.

Твой брат

Оноре.

ЛОРЕ СЮРВИЛЬ

Париж начало января 1829 г.

Мне попались на глаза слова, написанные моей сестрой: «Можно подумать, что Оноре даже не слышал

о Шанрозе». Оноре, дорогая сестра,— это молодой человек, о котором Вам необходимо сообщить следующее. Он ветреник, обремененный долгами, хотя еще ни разу не кутил. Он все твердит, что хочет обо что-нибудь стукнуться головой, не понимая, что у него так мало мыслей, что даже удар об стену ничего не встряхнет.

В настоящее время он в заключении в своем кабинете, и ему предстоит дуэль. Он должен расправиться со стопой белой бумаги, покрыть ее чернилами таким образом, чтобы его кошелек обрел радость и веселье. Этот юноша очень добр, но производит впечатление легкомысленного и холодного. Сердце, однако, у него прекрасное, он всегда готов оказать каждому услугу, если только не нужно куда-нибудь бежать, ибо у него нет ни ботинок, ни кредита у сьера Сшейсапоги. Его поэтому зря упрекают в том, что он не хочет быть на побегушках, так же некогда зря порицали Йорика за то, что тот учился у повивальной бабки. За каждое подаренное ему слово нежности и дружбы Оноре готов заплатить вдвойне, но одно резкое слово может убить все его счастье, так он чувствителен к радости, к тонкостям чувств и любви. Он так создан, что мечтает о сердце, способном на большие чувства, понимающем настоящую дружбу и видящем ее не только в улыбке, поклонах и визитах; он же, чудак, может встретить друга после пяти лет разлуки так, будто расстался с ним только вчера. Этот молодой человек забывает только плохое, все хорошее он готов выгравировать на бронзе, если бы его сердце имело хотя бы пол-унции этого металла. На людскую молву он обращает не больше внимания, чем на пыль, осевшую на камнях Парфенона. Он стремится многого достигнуть. но когда воздвигают памятники, разве вспоминают о смельчаках, сыгравших свою роль на баррикаде в трагедии современности?

Вот этот-то молодой человек тебя любит, и, думаю, это слово понятно тебе: ведь ты сама нежность и чуткость, и у тебя столько ума, что он проник даже в твое сердце.

Пойми меня!

Оноре.

Оноре, бакалавр, просит передать его возлюбленному отцу слова нежности и неизменного уважения; господину С.— дружеское пожатие руки, как выражение чувства самого искреннего расположения, какое только встречается в этом мире.

Г-НУ ШАРЛЮ ДЕ БЕРНАРУ

Париж, 25 августа 1831 г.

Сударь,

Разрешите мне сердечно поблагодарить вас за то, что вы так быстро откликнулись на мою книгу. Один из критиков «Журналь де Деба» передал мне вашу статью, я был приятно поражен, увидев, как верно я понят — счастье довольно редкое в Париже. Разбор моей книги сделан удивительно живо, без насмешек или претензий на остроумие за счет автора, и я от души поздравляю вас с хорошим вкусом в критике. Больше чем кто-либо, я хочу, чтобы в провинции появились органы общественного мнения. Голосование в департаментах сейчас много значит для честных писателей, оно указывает направление.

Я настолько откровенен с вами, что разрешите уж мне высказать одну поразившую меня мысль. Вы обвиняете, быть может, несколько необдуманно, молодую литературу в том, что она стремится подражать иностранным шедеврам. Но не кажется ли вам, что фантастика Гофмана была заложена, как возможность, в «Микромегасе», который, в свою очередь, существовал уже у Сирано де Бержерака, где Вольтер и взял его? Жанры принадлежат всем, и у немцев не больше привилегий на луну, чем у нас на солнце или у Шотландии на оссиановы туманы. Кто может тут гордиться открытием? Я действительно не был вдохновлен Гофманом, я и узнал-то его после того, как *обдумал* свое сочинение; но во всем этом есть нечто более важное. Нам не хватает чувства патриотизма; обвиняя друг друга, мы подрываем нашу национальность и наше литературное превосходство. Разве англичане говорили когда-нибудь, что «Паризина» — это Расинова «Федра», разве обвиняли они друг друга в подражании иностранным литературам, унижая тем самым свою собственную? Нет. Последуем же их примеру.

Это, сударь, отнюдь не личный вопрос, ибо я надеюсь, что при втором издании моей книги публика поймет всю необъятность и новизну предпринятого мной труда; быть может, я паду под его тяжестью, быть может, плохо его выполню,— но все же я дерзнул на испытание. Произведение это станет вдвое больше, а план его будет подробно изложен пером более искусным, чем мое. Я рад, сударь, случаю вступить с вами в переписку; желаю успеха вашему почетному и славному предприятию и прошу принять мои поздравления и чувство глубокого уважения, с которым имею честь быть преданным вам...

ГЕРЦОГИНЕ ДЕ КАСТРИ

Париж, 5 октября 1831 г.

Сударыня,

Вы написали мне в Турень, когда меня уже там не было; а так как я разминулся со своей почтой и она пришла ко мне с большим запозданием, то только сегодня мне удалось прочесть ваше письмо. Не обвиняйте же меня в небрежности или высокомерии, вы и без того приписываете мне столько грехов, что я хочу по крайней мере объявить себя неповинным в невежливом обращении с дамой, хотя бы и незнакомой.

Позвольте мне теперь ответить прямо на ваше прямое нападение и прежде всего благоволите принять мою искреннюю благодарность, ибо ваши упреки невольно оказались лестными для меня, поскольку они свидетельствуют о живом впечатлении, которое произвели на вас мои книги. К сожалению, вы поставили меня в печальную необходимость говорить о себе самом, а это весьма неудобно, когда обращаешься к женщине, чей возраст и положение тебе неизвестны.

«Физиология брака», сударыня,— это книга, написанная в защиту женщин. Мне совершенно ясно, что если я, желая распространить идеи, способствующие освобождению женщин и более широкому и полному их образованию, возьмусь за дело попросту и заранее заявлю о своем намерении,— я, в лучшем случае, прослыву создателем теории, более или менее заслуживающей уважения; следовательно, надо изложить и, так сказать, развернуть свои идеи в новой, резкой и острой форме, ко-

торая разбудила бы умы, заставила бы размышлять. Итак, для женщины, уже испытавшей жизненные бури, смысл моей книги в том, что вину за все ошибки, совершенные женами, я возлагаю исключительно на их мужей. Одним словом, это великое отпущение грехов. Кроме того, я провозглашаю естественные и непререкаемые права женщины. Брак не может быть счастливым, если супруги до вступления в союз не узнали в совершенстве нравы, привычки и характеры друг друга. Я никогда не отступал перед применением этого принципа. Тем, кто меня знает, известно, что, начиная с сознательного возраста, я всегда был верен этой идее, и для меня девушка, совершившая ошибку, более достойна внимания, чем та, которая ничего не ведает и беззащитна перед грядущими несчастьями именно в силу своего неведения. Сейчас я холост, но если впоследствии женюсь, то только на вдове. Как видите, сударыня, первое преступление, в котором вы обвиняете меня, в действительности является отважным замыслом, и он должен бы снискать мне даже поощрение... Но, будучи застрельщиком новой системы взглядов, я претерпел судьбу часового на опасном посту: обо мне неверно судили, меня неверно поняли; одни увидели только форму, другие не увидели ничего. Я не расстанусь со своей идеей, так и умру с ней, как умирает солдат, завернувшись в свой плащ.

Непосредственно вслед за «Физиологией», желая развить свои мысли и заронить их в молодые души при помощи ярких картин, я написал «Сцены частной жизни». В этой книге, исполненной нравственности и мудрых советов, я ничего не разрушаю, ни на что не нападаю; я уважаю чужие верования, даже те, которые не могу разделить. Я просто историк, рассказчик, и мне кажется, нигде так не почиталась и не восхвалялась добродетель, как в этих Сценах. Теперь, сударыня, я коротко отвечу на обвинения, касающиеся романа «Шагреневая кожа». Это произведение не должно ограничиться одной книгой, в ней заключены лишь, простите это педантское выражение, первые опыты задуманного мною творения, и я буду гордиться тем, что начал его, даже если паду под его бременем. Раз уж вы проявили ко мне такую доброту, которая чувствуется в большой вашей заботливости обо мне и горячо меня трогает,— прочтите второе издание,

вышедшее под названием «Философские романы и повести»; я несколько продвинулся в выполнении своего плана. Один из лучших писателей нашего времени приоткрыл в предисловии завесу над моими тайными и еще не осуществленными замыслами. Вы увидите, что если иногда я разрушаю, то иногда пытаюсь и строить заново. «Иисус Христос во Фландрии», «Проклятое дитя», «Силуэт женщины», «Изгнанники», «Два сна», быть может, докажут вам, что есть у меня и вера, и убеждения, и кротость; я добросовестно прокладываю свою борозду. Я стараюсь быть человеком, достойным своего дела, и выполнять свой труд мужественно и упорно, вот и все. «Шагреневая кожа» должна была выразить нынешний век, нашу жизнь, наш эгоизм; изображение типов нашего общества не было признано верным. Но мое утешение, сударыня, в искреннем одобрении, которое я нахожу в критике дружеской и доброжелательной, такой, как ваша; поэтому не думайте, что ваше письмо, полное трогательных жалоб, естественных для женского сердца, оставило меня равнодушным; чувства симпатии, вызванные на расстоянии,— это сокровище, в них все мое богатство; это самые чистые мои радости; но, быть может, вы пробудили бы во мне еще более живой отклик, если бы увидели в моей книге не только написанный по необходимости портрет женщины, знаменитой тем, что она никогда не любила, но и обратили бы внимание на ту, которая олицетворяет великую самоотверженность женщины, ее простодушную любовь, неиссякаемую поэзию ее сердца. Для меня Полина существует, и в действительности она еще прекраснее. Если я превратил ее в мечту, то лишь затем, чтобы никому не выдать мою тайну.

Простите, сударыня, эту попытку восстановить себя в вашем мнении, но вы поставили меня в ложное и неловкое положение: вы создали себе представление обо мне по моим книгам. А что даст мне представление о вас? Ваше письмо — обвинительный акт! Вы выступили как мой судья, и я мог ответить только защитительной речью. Но, что бы вы об этом ни думали, позвольте мне надеяться, что мы еще будем писать друг другу о новом сочинении, которому удастся, к моей чести, затронуть в вашей душе те струны, что сейчас не зазвучали. Это будет для меня самым великим, самым дорогим торже-

ством, единственным торжеством, к которому я стремлюсь, ибо, если не хотите ошибиться, поверьте, что я одинок, живу размышлениями и мечтаю быть понятым женщинами. Примите, сударыня, выражение моего глубокого уважения.

P. S. Неотложные занятия не оставляли мне досуга для того, чтобы ответить вам. Перечтя свое письмо, я увидел, что оно могло быть лучше, что я должен был сказать совсем о другом, поблагодарить за проявленное ко мне участие; ваше письмо останется самым волнующим событием в моей литературной жизни. Если я и посылаю свой ответ, то лишь затем, чтобы доказать вам, насколько бесхитростна и непосредственна моя душа, ибо я совсем не таков, как думают обо мне иные люди на основании моих книг.

Г-ЖЕ ЗЮЛЬМЕ КАРРО

Париж, февраль 1833 г.

Бог мой, как я хотел бы быть в Пудрери! Но как это сделать! Еще не вышло ни одного тома переиздания «Шуанов», мне надо еще дописать двенадцать-тринадцать листов «Сельского священника» и сто страниц для «Ревю де Пари». Чтобы все это сделать, я должен быть в Париже. А затем еще денежные дела, которые все усложняются, так как расходы не уменьшаются, а доходы подвержены таким же аномалиям, как кометы в своем движении. Но все же надеюсь, что 10 марта смогу быть в Пудрери, так как мне необходим месяц одиночества, чтобы закончить эту «Битву», что меня совершенно замучила. Я забыл еще о втором десятке «Озорных рассказов», для которого мне надо написать два рассказа, причем один — центральный для всего тома. Уверяю вас, что живу лишь в мире мыслей, идей, планов, работ, замыслов, которые сталкиваются, вспыхивают, кипят в мозгу, доводя меня до сумасшествия. Тем не менее я не худею и по-прежнему похож на одного из тех каноников, «которые в оные времена украшали собой монастыри».

Если говорить о настроении, то признаюсь, что грущу. Только работа поддерживает мою жизнь. Неужели во всем мире я не встречу женщину? Моя меланхолия и физическое недомогание все усиливаются и все больше

дают себя чувствовать. Погибнуть под бременем работы, ничего не добившись, не чувствуя возле себя нежного и ласкового внимания женщины, которой я бы все отдал! Но хватит об этом.

Благодарю вас за хлопоты о моем сервизе и за все ваши добрые слова. Ваши письма для меня — радующий душу аромат прекрасных цветов.

Я не знаком с г-жой де Сен-С[юрен] так же, как и с теми женщинами, благосклонность которых мне приписывают и которые называют меня своим любовником, хотя я не знаю, как их зовут, и в глаза их не видал.

Я никого не встречал из Ангулема и никого там не знаю, кроме вас и ваших знакомых. На будущей неделе мы вам вышлем вашего «Ламбера», которого вы давно бы уже получили, если бы не лень г-на Огюста, забывшего заказать ящик. Я вышлю еще и обыкновенный экземпляр, с которым вы можете делать все, что вам заблагорассудится.

Мы с благоговением съели ваш пирог. Как вы сами понимаете, я думаю о вас не только по обязанности, но и по велению сердца. Еще несколько дней, и я приеду к вам, вооруженный одной из самых прекрасных книг, когда-либо созданных людьми, если только верить моему предчувствию и предсказаниям друзей, если мне не изменит вдохновение, наконец, если исполнятся все эти *если*. «Сельский врач» стоил мне работы раз в десять больше, чем «Ламбер», в нем нет ни единой фразы, ни единой мысли, которая не была бы мною передумана, пересмотрена, исправлена. Это ужасно!

Но когда хочешь достигнуть величественной простоты евангелия, превзойти «Векфильдского священника» и показать в действии принципы «Подражания Иисусу Христу», то приходится много работать!

Эмиль де Жирарден и наш добрый Борже заключили пари: разойдутся ли четыреста тысяч экземпляров «Сельского врача». Эмиль издаст «Врача», как альманах, по двадцати су за книжку, его надо продавать как *молитвенник*.

Прощайте. До скорого свиданья. Если задержусь, то не по своей вине, не сомневайтесь в моем искреннем к вам расположении. Иван совершенно прав. Мы с Огюстом часто его вспоминаем.

Еще раз прощайте, посылаю вам тысячу сердечных пожеланий и даже все свое сердце.

Поцелуйте Ивана в лоб за меня, майору передайте мое дружеское рукопожатие.

Поторопите с моим сервизом, мне нужно дать обед, а я не знаю теперь — когда.

Что касается чашек, я хотел, чтобы они имели форму ночного горшка (извините меня за это сравнение, но оно хорошо поясняет мою мысль): форма эта проста, изящна, она никогда не выйдет из моды. Тарелки для десерта, как вы знаете, должны быть расписаны богаче, чем другие.

Посылаю вам свой вензель для сервиза, кроме того, отдельную букву «Б», также в готическом стиле.

Г-ЖЕ ЗЮЛЬМЕ КАРРО

Париж, между 7 и 17 марта 1833 г.

Не знаю, благодарить ли вас или бранить. Одновременно благодарю вас и браню. Я получил ковер, который придал моему кабинету царственный вид, но я ведь вас знаю — сколько же стоит этот ковер?

Получил *чайный сервиз*, он изящен и красив, стоит на виду и всем нравится, но я хочу спрятать его только для себя. Мы оба счастливы — вы, подарив вещь, которая доставила мне большую радость, а я, получив ее от вас. Боже мой, как я обязан вам за вашу заботу о моем *сервизе!* Делайте все, что сочтете нужным, я уже ничего не помню.

Нужно вам сказать, что я целиком поглощен своей неимоверной работой. Моя жизнь очень монотонна и размеренна: ложусь спать вместе с курами в шесть-семь часов вечера, в час ночи меня будят, и я работаю до восьми утра, затем ложусь часа на полтора, проснувшись, немного ем, иногда выпиваю только чашку кофе и впрягаюсь в свою упряжку до четырех часов; до обеда немного поговорю с гостями, принимаю ванну или иду погулять, после обеда ложусь спать. Я должен жить таким образом в течение нескольких месяцев, чтобы выбраться из бездны дел и обязательств. Доходы мои по-

ступают медленно, долги огромны и неизменны. Теперь я уверен, что смогу составить себе большое состояние, но надо ждать и работать не менее трех лет. Много надо переделать, переправить, придать всему величественный характер — работа неблагодарная, не поддающаяся учету и не приносящая быстрых результатов. Я хочу свободы, моральной и денежной независимости, этой цели я без сожаления пожертвовал обществом, но теперь огорчаюсь, что из-за этого откладывается моя поездка к вам. После такой работы мне необходим полный покой, я поеду искать его или в Ангулеме, или в Берри, в общем, где-нибудь в деревне, может быть, поеду в Экс на воды, *конечно, за свой счет; я жду* предписаний господина Наккара. Отдых мне необходим, полный отдых медведя в берлоге.

Еще раз благодарю вас за снисхождение к моим расточительным причудам, к моему стремлению к элегантности и изяществу. Сколько в вас поэзии и рассудительности — качеств, которые, казалось бы, исключают друг друга! Из ваших двух замечаний по поводу Хуаны одно для меня совершенно бесспорно; что же касается другого, то мы, по сути дела, оба утверждаем одно и то же: среди людей, родившихся на одинаковых широтах, островитянин всегда возьмет верх над жителем континента. То, что Наполеон воспитывался во Франции, нисколько не изменило его островного склада ума.

Боже мой, мы заморочили головы всем парижским рабочим из-за, казалось бы, такой простой вещи, как ящик для вашего «Луи Ламбера». Все же, надеюсь, он будет готов к следующему четвергу, и вы его получите в воскресенье, 17-го, если не подведет дилижанс. В «Луи Ламбере» еще немало ошибок, первое издание будет наименее удачным. Ужас, сколько труда стоило мне это произведение! Так же было и с «Шагреневой кожей», следующее ее издание, надеюсь, будет столь совершенным, сколь может им быть создание человеческой мысли. Работа, заботы расписанного по часам существования поглотили меня целиком.

Я слишком много работаю и терзаюсь, чтобы предаваться горю, которое дремлет, но буравит мне сердце. Скоро я откажусь даже от своих мечтаний о женщине и так и проживу, не испытав того, что так жаждал.

Если бы вы только знали, что такое «Сельский священник» и сколько он мне стоил труда, не говоря уже о неприятностях с издателем, который не дает мне покоя, как пикадор быку.

Прощайте, извините за краткое письмо. Вы прочтете между строк то, о чем я не писал и о чем вы не догадываетесь,— о моем глубоком огорчении от того, что я не могу быть в Пудрери и отдохнуть около вас. Мне так этого хочется, что не ручаюсь, что не брошу все дела и не приеду к вам в апреле. Прощайте, тысячи приветов господину Карро, напомните обо мне вашим соседям и, если хотите, той даме, которой удалось, наконец, расширить свою обитель на несколько дюймов. Прощайте, так хочется сказать вам: «До завтра, завтракать будем вместе».

ГАНСКОЙ

Париж, четверг, 24 октября 1833 г.

Сегодня утром, любовь моя, я потерпел поражение в деле, которое обещало быть удачным. Я отправился к одному дельцу — он учитывает обусловленное нами возмещение убытков за произведения, обещанные мною издателям, но не написанные,— и принес ему несколько экземпляров «Этюдов о нравах». Я обещал ему, что через некоторое время заплачу по пяти тысяч франков за три тысячи просроченных. Он отказался, не принял он и мой вексель, заявив, что все мое богатство в таланте, а я могу умереть. Это была одна из наиболее унизительных сцен, что мне пришлось когда-либо пережить. Гобсек перед ним ничто. Я увидел человека с каменным сердцем. Через несколько дней постараюсь все это описать. Затем я пошел к герцогине, попросить ее заключить подобную же сделку с другим моим истцом, который взял меня за горло,— это ее книжный поставщик. Удастся ли ей что-нибудь сделать? Я в тревоге ожидания, а ведь душевное равновесие и спокойствие так нужны для моей гигантской работы.

Ангел мой, я не смогу поехать в Женеву, пока не выйдет в свет первый выпуск «Этюдов о нравах» и не подготовлю второй. Когда все будет сделано, я вырвусь не-

дели на две или дней на двадцать — все будет зависеть от денег. Не знаю, сколько их у меня останется, так как в конце декабря мне нужно будет заплатить большую сумму. Я доволен своим издателем, он деятелен, не разыгрывает из себя барина, верит, что моя затея поможет ему составить состояние, и считает ее очень выгодной. Мне необходим успех, большой успех. «Евгения Гранде»— прекрасное произведение. Я уже обдумал почти все, что мне осталось написать для двенадцати томов «Этюдов». Моя жизнь теперь точно размерена: встаю в полночь, ложусь в шесть утра, каждые три дня принимаю ванну; четырнадцать часов работаю, два часа гуляю. Я всецело погружен в свои замыслы, но время от времени, как луч солнца, возникает передо мной твой любимый образ.

О моя дорогая Ева, у меня только ты одна во всем мире, вся моя жизнь заключена в твоем дорогом сердце, к нему я прикован всеми человеческими чувствами. Я дышу, думаю, работаю лишь благодаря тебе и только для тебя. Что за прекрасная жизнь: любовь и творчество! Но какое несчастье все время биться в тисках нищеты! Как дорого природа продает нам счастье!

Мне потребуется еще шесть месяцев работы, борьбы, лишений, чтобы стать действительно счастливым. Но сколько всего может случиться за эти полгода! Меня утешает только моя чудесная, скрытая ото всех жизнь. Ты ужаснулась бы, если я рассказал бы тебе все свои огорчения, которые я так же, как Наполеон, стараюсь выбросить из головы во время битвы. Садясь за свой письменный столик, я спокоен, я улыбаюсь. Этот столик будет принадлежать моей любимой, моей Еве, моей супруге. Он у меня уже десять лет и знает все мои горести, он не раз видел мои слезы, ему известны все мои мысли, я поверял ему свои замыслы, моя рука почти истерла его за то время, что я на нем пишу.

Ах да, боже мой! Ювелир мой сейчас за городом, а я доверяю только ему. Крестик для Анны поэтому немного задержится. Это огорчает меня больше, чем все неприятности последних дней.

Варенье из айвы для тебя уже послано в Париж.

Мое дорогое сокровище, у меня нет больше новостей. Я никуда не хожу, никого не вижу. В моих письмах ты

найдешь только себя и мою неисчерпаемую любовь. Будь осторожна, жемчужина моя. Скажи мне, что ты всегда будешь меня любить, а я, ты должна это знать, Ева, я люблю тебя на всю жизнь. Для меня в мире нет больше женщин, кроме тебя. Я счастлив верой в свою любовь, тем великим, что вошло в мою жизнь, счастлив жить вечностью нашего чувства, пусть ограниченной временем, но все же вечностью для нас. Разреши мне хотя бы мысленно обнять тебя, прижать твою головку к сердцу, запечатлеть чистый поцелуй на твоем лице. Дорогая моя, теперь издалека я могу выразить тебе всю свою любовь. Я чувствую, что буду любить тебя вечно, каждый день я нахожу в своем сердце еще более сильное чувство, чем накануне, каждый день шепчу тебе все новые нежные слова, с каждым днем ты мне нравишься все больше и больше, с каждым днем ты все больше заполняешь мое сердце. Так не измени же этому огромному чувству! У меня только ты во всем мире, смысл этих слов ты поймешь, когда будешь в Женеве. Знай же, что сегодня утром г-жа де К. написала мне, что мы больше не увидимся, она обиделась на меня за одно письмо, а я за многое другое. Будь спокойна, здесь не было и речи о любви.

Боже мой, как все отходит прочь от меня! Сколь глубоким становится мое одиночество!

Вновь начинаются мои авторские муки. Обязательства последнего времени держат меня дома в непрестанной гигантской работе. О, как моя душа рвется из этой тюрьмы, чтобы соединиться с твоей, дорогая родина моей любви!

Я остановился, чтобы подумать о тебе, отдался мечтам, на глазах моих появились слезы, слезы счастья. Я не нахожу слов, чтобы выразить все свои чувства, посылаю тебе поцелуй любви. Пусть раскроется тебе душа моя!

ГАНСКОЙ

Париж, вторник, 26 августа 1834 г.

Сегодня я закончил «Поиски Абсолюта». Дай бог, чтобы эта книга оказалась полезной и прекрасной. Я не могу судить о ней, ибо слишком устал от работы и бук-

вально изнемог под тяжестью замысла. Я вижу ее, так сказать, изнутри. Здесь все цельно. Супружеская любовь показана как чувство возвышенное; любовь юных девушек дышит свежестью. Это почти что прообраз семейного очага. Но вы сами прочтете. Прочтите также «Неведомые муки», которые стоили мне четырех месяцев труда. В них сорок страниц: я писал не больше двух фраз в день. Сплошной вопль, без стилистических красот, без притязаний на драму. Эти страницы содержат так много мыслей, в них так много драматического, что выразить все это внешними средствами невозможно. Но повествование заставит содрогнуться: все, что я там пишу,— правда. Никогда еще я не был настолько захвачен собственным произведением. Это сильнее, чем «Гренадьера», сильнее, чем «Покинутая женщина».

Сейчас я занят окончательной стилистической отделкой «Шагреневой кожи» — готовлю ее к переизданию и вывожу последние пятна. О! Я неплохо работаю — по шестнадцати часов в сутки. В Оперу езжу всего лишь раз в неделю.

Позавчера г-жа Санд, она же Дюдеван, вернувшаяся из Италии, встретила меня в Опере, и мы вместе два или три раза прошлись по фойе. Я должен был вчера утром завтракать у нее, но не пошел. Сегодня я угощал завтраком Сандо, который рассказал мне, что на следующий день после того, как Жорж Санд его оставила, он принял такую дозу морфия, что желудок не смог ее вынести и все извергнул, так что морфий не успел всосаться. Я подосадовал, что не выслушал признаний г-жи Жорж Санд. Сожалел об этом и Жюль Сандо. Бедный малый сейчас очень несчастен. Я предложил ему снять квартиру Борже и пользоваться моей поддержкой до тех пор, пока ему не удастся обеспечить себе условия существования при помощи театральных пьес. Вот событие, больше всего поразившее меня за эти дни.

Приходится сказать вам «прощайте» — и это «прощайте» вместо слов «до скорого свиданья», которыми я надеялся закончить письмо, наполняет меня невыразимой печалью. Напомните обо мне всем, кто окружает вас. Я впервые пишу г-ну Ганскому, чтобы поблагодарить его за письмо и пояснить, почему нынешний парламент ничего не будет значить на протяжении пяти

лет своего существования. Все общеевропейские вопросы отложены для Франции до 1839 года.

Тысяча заверений в совершенном почтении.

ГАНСКОЙ

Париж, суббота, 18 октября 1834 г.

Сударыня,

Я провел две недели в Сашэ, в Турени. После «Абсолюта» г-н Наккар нашел меня совсем разбитым и, не желая, чтобы я, по его излюбленному выражению, умер на последней ступеньке, прописал мне воздух родного края и велел ничего не писать, ничего не читать, ничего не делать и ни о чем не думать,— если только это для вас возможно,— добавил он, смеясь.

Я отправился в Турень, но, конечно, там работал. Моя матушка распорядилась не пересылать мне писем. Вернувшись сегодня утром в Париж, я обнаружил их целую груду, но искал только одно. Я узнал почтовый штемпель Вены и ваш почерк на конверте, в котором, несомненно, заключалось дарованное вами прощение; почтительно принимаю его, но не собираюсь возгордиться. Если бы я обладал крыльями и свободой птицы, то примчался бы в Вену раньше, чем придет туда это письмо, и вы увидели бы перед собою самую ликующую и самую сияющую физиономию на свете. Но, оставаясь здесь, я могу лишь послать вам на крыльях души почтительное изъявление своих чувств. В порыве радости мне почудились целых три конверта с почтовым штемпелем Вены, подобно пьянице Питту, который видел двух ораторов на трибуне в то время, как Шеридан не видел там ни одного.

Возобновляю переписку, следуя повелению вашей Красоты (К — прописное, как в словах: Светлость, Высочество, Преосвященство, Святейшество, Превосходительство, Величество, ибо Красота — это все они, вместе взятые); но что могу я вам сообщить хорошего? Я забываю свою печаль,— я весел, весел потому, что мои мысли могут без боязни устремляться к вам на радужных крыльях, а на самом деле я утомлен и удручен трудами и неприятностями. Настаиваете ли вы на том, чтобы

узнать мою жизнь,— я сказал бы, жизнь в раскаленном докрасна кратере вулкана? Как решиться поведать вам, такой свежей и чистой, о стольких горестях? Представляете ли вы, способны ли вы себе представить, какие страдания причиняет нам издатель, который небрежно выпускает в свет книгу, стоившую ста ночей труда; я имею в виду «Поиски Абсолюта». Чтобы книга эта была правдивой с научной точки зрения, мне пришлось обучаться химии у двух членов Академии наук, которые заставляли меня переделывать корректуры по десять — двенадцать раз. Чтобы оказаться на уровне требований науки, пришлось читать Берцеллиуса. Но книга, сюжет которой связан с химией, могла наскучить равнодушному французскому читателю, поэтому потребовалась тщательная работа над стилем, и в конечном счете из четырехсот страниц произведения всего восемь посвящены химии.

Этот гигантский труд, выполненный в короткий срок, буквально замучил двадцать печатников, которые называли меня «человекоубийцей»: ведь если я проводил за работой десять бессонных ночей, то они проводили за нею пять; и вот эта титаническая работа сведена на нет. «Абсолют», произведение, по-моему, в десять раз более значительное, чем «Евгения Гранде», не будет иметь успеха, и моих трудов окажется недостаточно, чтобы заполнить нужные двенадцать томов; освобождение мое задержится. Вам должна быть понятна моя ярость! Я надеялся закончить в Турени «Серафиту», но, подобно Сизифу, изнемог в бесплодных усилиях. Не каждый день приходится блуждать в небесных сферах.

В Сашэ я начал большое произведение — «Отец Горио». Вы его увидите в ближайших выпусках «Ревю де Пари». Я использовал там слово «липпы», смеясь при этом от всей души; но я вложил его не в уста молодой женщины, а в уста отвратительной старухи. Я не хотел, чтобы у вас была соперница.

Итак, я в Париже; мне необходимо добиться отсрочки двух моих последних процессов, выпустить первую книжку «Философских этюдов»; к счастью, Верде — человек умный и вполне преданный, но у него мало денег. Чтобы спасти его от банкротства, надо закончить для него «Цезаря Бирото» к 15 декабря; затем необходимо,

чтобы г-жа Беше получила обещанную ей четвертую книжку между 1 и 15 ноября.

Подходит срок моим денежным обязательствам, а с поступлениями дело обстоит туго. Помимо всего, у меня на руках Жюль Сандо: надо приобрести для него обстановку, а главное — указывать путь в литературном океане этому потерпевшему крушение несчастному человеку с возвышенной душой. Словом, надо работать за десятерых, обладать запасными мозгами, вовсе не спать, быть всегда удачливым в замыслах, отказаться от всяких развлечений.

Вот уже три месяца, как я не видел г-жу де Б..., судите по одному этому о моей жизни. Ах! Если бы я был любим, моя возлюбленная могла бы спать совершенно спокойно: у меня не остается времени не только для измен, но даже для помыслов о них. Я не вижу в этом особой заслуги, мне было бы стыдно за себя, если бы дело обстояло иначе.

Хорошо было бы проделать шестьсот лье пешком, совершить паломничество в Верховню, чтобы прийти туда хоть немного похудевшим: ведь я так толст, что газеты смеются надо мной. Негодницы! Вот вам Франция, прекрасная Франция! Здесь насмехаются над несчастьем, порожденным трудами. Они потешаются над моим брюшком. Пусть! Им ничего другого не остается. Они не могут найти во мне ни низости, ни подлости, ничего, что бесчестит их самих. Филиппон из «Карикатуры» сказал мне как-то: «Будьте довольны — все, кто не живет продажей своей писанины, восхищаются вашим характером, равно как и вашими трудами». В ответ я крепко пожал ему руку, он придал мне сил.

Вы знаете по извещению о предстоящем выходе в свет четвертой книжки, что̀ я готовлю для второго тома «Сцен частной жизни». Но есть нечто совсем для вас неожиданное — «Отец Горио». Вот будет всем книгам книга! Я опишу в ней чувство, исполненное величайшей силы, которое ничто не в состоянии разрушить — ни обиды, ни раны, ни несправедливость; герой произведения является отцом в такой же степени, в какой святой великомученик является христианином. Что до «Цезаря Бирото», то я вам уже о нем говорил.

Да, я вдохнул немного осеннего воздуха Турени; я

чувствовал себя там растением, устрицей, а когда небо радовало меня необыкновенной своей красотой, я видел в этом предзнаменование, что из Вены прилетит голубь с зеленой веточкой в клюве.

И вот я теперь на своей зимней квартире, в своем кабинете, и, облачившись в знакомое вам одеяние монаха-картезианца, работаю до потери сознания. Что до моих радостей, то они невинны. Меня тешит новое кресло в комнате, трость, о которой говорит весь Париж, дивный лорнет — его, по просьбе моих химиков, сделал оптик Обсерватории, да еще золотые пуговицы на моем синем фраке, изготовленные руками феи, ибо не может человек, обладающий в XIX веке тростью, достойной Людовика XIV, удовлетвориться отвратительными пуговицами из накладного золота. Все это невинные причуды, но благодаря им я слыву миллионером. Я основал в мире щеголей секту *тростелюбов*, и меня считают человеком легкомысленным. Это меня забавляет.

- Вот уже месяц, как я не переступал порога Оперы. А я ведь как будто абонирую ложу у Итальянцев. Однако, заметите вы, не слишком ли уж это счастливая бедность? Но вспомните, что музыка, украшенные золотом трости, пуговицы, лорнеты — мои единственные развлечения. Нет, вы не станете порицать меня.

Прислать ли вам исправленный текст «Шагреневой кожи»? Да, через десять дней барон Сина, чье имя возбуждает во мне большой интерес, получит на свой адрес пакет, содержащий пять томов форматом в $^1/_{12}$ листа; книги эти изданы наподобие четырех томиков «Сельского врача», и маэстро Верде именует их прелестными томиками. Они чудовищны, но ведь они предназначены для того, чтобы окончательно установить тексты произведений для большого собрания моих сочинений. Под общим заглавием «Социальные этюды» оно объединит все эти отдельные фрагменты, капители, колонны, опоры, барельефы, стены, купола — словом, составит памятник, который окажется безобразным или прекрасным и принесет мне plaudite cives [1] или смертный приговор. Будьте спокойны, к тому времени, когда будет подготовлено иллюстрированное издание, мы отыщем ослов, чтобы на

---

[1] Здесь: рукоплескания соотечественников *(лат.)*.

их коже оттиснуть для вас единственный в своем роде экземпляр, украшенный рисунками. То будет зарок прощенного. Словом, забудьте мою вину, я же ее никогда не забуду.

Не беспокойтесь, сударыня, Зюльма-Дюдеван никогда не увидит меня привязанным к своей колеснице... Я говорю вам об этом лишь потому, что этой женщине создают бóльшую известность, чем она заслуживает, и тем самым приуготовляют ей горькую осень.

Госпожа де Б... порицает книгу «Сладострастие»; она находит, что там много риторики и совсем нет подлинного чувства. Особенно возмутил ее отрывок, в котором рассказывается о посещении возлюбленным г-жи де Куаэн злачных мест, она считает этот образ отвратительным Г-жа де Б... заставила меня отступиться от моего прежнего мнения; но в книге все же есть прекрасные страницы, они напоминают цветы в пустыне.

«Жак», последний роман г-жи Дюдеван,— это совет докучным мужьям кончать самоубийством, дабы предоставить своим женам свободу. Такая книга не опасна; вы написали бы в десять раз лучше, если бы вздумали сочинить роман в письмах. Это от начала и до конца пустое и фальшивое произведение. Юная *наивная* девушка, после шести месяцев брака, оставляет человека *выдающегося* ради ветрогона, человека значительного, страстного, влюбленного — ради денди, оставляет без каких бы то ни было оснований, физиологических или нравственных. Затем следует любовь, достойная мулов, в то время как в «Лелии» описывалась любовь, достойная бесплотных духов; и это в высшей степени странно в устах женщины, матери, которая сама любит на немецкий лад, непосредственно. Все эти писатели движутся в пустоте, они сделали своим коньком бессодержательность; у них не найдешь ни капли правды. По мне уж лучше людоеды, «Мальчик-с-пальчик» и «Спящая красавица».

Господин де Г... благопристойно обанкротился. Никогда еще те, кто обижал меня, не преуспевали; не странно ли это?

Решительно, судьба не хочет, чтобы я виделся с г-жой де К... Каждый раз, когда я сталкиваюсь с этой особой, со мной случается несчастье, словно я навсегда распростился с удачей. В последний раз я направился в Лор-

муа, к герцогу де Майе, повидаться с нею. Возвращаюсь пешком (чтобы похудеть). Между Лонжюмо и Антони — это то же, что посреди украинской равнины,— гвоздь в сапоге впивается мне в ногу. Было половина двенадцатого ночи, час, когда на дороге редко встретишь экипаж. Я уже собирался устроиться на ночлег в канаве, словно бродяга, как вдруг мимо проехал пустой кабриолет одного из моих друзей. Его слуга подобрал меня и доставил домой; я верю в предопределение. Мы судим о женщинах по их выходкам. У г-жи де К... самое сухое сердце на свете, именно такое, о котором Э. Сю сказал: «Этот внутренний орган напоминал трут; вместо того чтобы способствовать кровообращению, он был способен остановить его». Простите меня: это все еще след гвоздя в сапоге.

Представьте себе, я мечтаю об удовольствии видеть свое произведение на сцене. Я задумал буффонаду «Прюдом-двоеженец» и хочу воспользоваться ею для этой цели. Прюдом скуп; он сурово обращается с женой, она ведет хозяйство: фактически это переодетая служанка в звании *супруги*. Она никогда еще не бывала на балу в Опере. Соседка хочет ее туда повести. Ознакомившись с супружескими привычками Жозефа Прюдома, она изготовляет манекен, похожий на его жену, который кладет в постель, после чего обе женщины отправляются в маскарад. Прюдом возвращается домой, произносит длинные речи, расспрашивает спящую жену; наконец, укладывается и сам. В пять часов утра возвращается его супруга, и у Прюдома оказываются две жены. Вам ни за что не угадать всех шутливых проделок, которые изобретут наши актеры по этому наброску. Клянусь вам, если пьеса пойдет, парижане станут смотреть ее по сто раз. Да будет на то воля божья! У меня это отнимет всего одно утро, а принести может пятнадцать тысяч франков. Превосходнейшая буффонада — лучше не надо! Но все зависит от такого множества обстоятельств! Потребуется подставное имя, и затем ведь театр — это сущий вертеп, а нога моя до сих пор еще ни разу не ступала в грязь. Быть может, первое и последнее представление моего водевиля ограничится этим письмом. Лучше уж прекрасная страница, оставшаяся без оплаты, чем сто тысяч франков, полученные с помощью скверного водеви-

ля. Я никогда не отделял славы от бедности: я разумею бедность, скрашенную тросточками, пуговицами и лорнетами, а славу — необременительную! Таков и будет мой удел.

Достаточно ли ловко удалось мне скрыть от вас свои огорчения, достаточно ли весело я болтал? Поверите ли вы, что я страдаю, что еще этим утром я с трудом мирился с жизнью, возмущался своим одиночеством. Мне хочется пространствовать по свету, поглядеть, что такое Ландштрассе, омочить пальцы в водах Дуная, услышать речь глупых венок, словом, заниматься чем угодно, лишь бы не корпеть над страницами: я хочу жить, а не чахнуть над фразами.

С нетерпением ожидаю, когда ваша белая ручка напишет мне несколько строк, которые вознаградят меня за все труды: тому, кто рассчитывает на одобрение и награду, ваше одобрение дороже тысячи других. Как выражается Бюжо, я жду своей *мерки овса;* а затем, повеселев, снова пущусь вскачь по просторам мысли. Кто развяжет мои путы, кто ослабит мои удила, кто вернет мне свободу? Когда смогу я начать работу над «Филиппом Скрытным» и работать, как мне захочется: сегодня — одна сцена, завтра — ни одной; и помечать свои произведения — Верховня?

Знаете ли вы, что значит корм в яслях? Это ключ к покорению просторов. Ну, довольно, оставим до другого раза мои печали! Сегодня мужик весел оттого, что поцеловал руку своей госпожи с тем чувством, с каким целуют в церкви золотой дискос, протягиваемый священником. Я совершенно согласен с теми, кто любит Мюссе; да, это поэт, которого смело можно поставить выше Ламартина и В. Гюго; но это еще не есть непреложная истина.

Я надеюсь, вы возьмете на себя труд поблагодарить г-на Ганского за его последнее письмо. Однако радость моя омрачена: мне бы хотелось, чтобы иная причина, а не недомогание маленькой Анны, заставила вас задержаться в Вене. Поцелуйте ее от моего имени в лоб, если только гордое дитя это разрешит. Напомните обо мне тем, кто вас окружает.

Вы получите переплетенный экземпляр «Серафиты» только к Новому году. Мне очень хотелось бы знать, могу

ли я послать маленький подарок Анне, не опасаясь, что в него сунут свой любопытный нос чиновники немецких таможен.

Прощайте же. Я посвятил вам часы, отнятые у сна для того, чтобы не обкрадывать ни Верде, ни г-жу Беше. Примите мои заверения в глубочайшей покорности и почтительной привязанности.

ГАНСКОЙ

Париж, воскресенье, 26 октября 1834 г.

Последние несколько дней я был так занят выбором мебели и приобретением всего необходимого для Сандо (ведь он сущее дитя), что даже не мог вам написать. К тому же я обременен не законченной в срок работой; так что буду писать с пятого на десятое, подчиняясь течению мыслей, а не законам логики.

Да, прежде всего: подумайте только — меня упрекали за имя *Маргариты* в «Поисках Абсолюта»! А ведь это всего-навсего фламандское имя. Насколько же безупречным должно быть произведение, если не могут придраться ни к чему другому!

В будущую субботу я даю обед *тиграм* — моим компаньонам по ложе — и позволю себе безрассудные роскошества. В числе приглашенных будут Россини и Олимпия, его cara donna [1], ей предназначена роль «царицы бала». Придут также Нодье, затем пять *тигров*, Сандо и некто Боэн, человек большого политического таланта, несправедливо опороченный; стол украсят редкостные цветы, гостям будут предложены самые изысканные вина Европы и самые тонкие блюда; словом, я намерен отличиться.

Кто-то мне передал, что ваша «кисло-сладкая» кузина ожидала меня в Женеве! Господи, что за нелепость! Если бы мне даже вздумалось поволочиться, то, должен вам признаться, я ни для кого не стал бы преодолевать зимою Юрские высоты, тем более после того, как я испытал столько радости в «Доме Мирабо» во время пребывания в Женеве. Уж вы-то можете этому поверить.

---

[1] Возлюбленная *(итал.)*.

Я много работал над «Отцом Горио»; он появится в «Ревю де Пари» в ноябре. Первая книжка «Философских этюдов», отдельные части которой особенно тщательно мною исправлены, выйдет в свет через несколько дней. Теперь можно будет заняться «Воспоминаниями новобрачной» (прелестное сочинение!) и «Цезарем Бирото», который принимает огромные размеры. Наконец, Эммануэль Араго и Сандо намерены написать большую пьесу в пяти актах; треть ее должен буду сочинить я. В этой драме, под названием «Придворный», очень интересный сюжет. Пьеса должна будет помочь мне и Сандо расплатиться с долгами. Она пойдет сначала в театре Порт-Сен-Мартен; невозможно себе представить, что она не завоюет французской сцены. Это будет великолепно. (Я, кажется, несколько уподобляюсь героине басни «Перетта и кувшин молока».) Если мы покорим сцену и наше анонимное сообщество под именем Э. Ж. Сан-Драго (Санд-Араго) добьется успеха, я буду свободен раньше, чем надеялся, и Сандо, которого я приучил следить за порядком в доме, разрешит мне отправиться в путешествие. Человек, питающий намерение посвятить себя политической деятельности, должен своими глазами увидеть Европу, составить глубокое представление о ее нравах и интересах; исход борьбы между Францией и другими странами будет решаться на Севере. Мне во что бы то ни стало надо узнать Север, но, как говорит г-н Маргонн, чтобы путешествовать, нужно быть молодым. Итак, свобода! О, как я жажду ее!

Числа пятого ноября я поеду в Гам, а оттуда, быть может, в Англию, но не позже 15-го вернусь в Париж. Жизнь моя течет монотонно, разнообразие в нее вносят лишь мысли. Я доверительно беседую только с г-жой де Б... и с вами. Я нахожу, что следует поменьше общаться с жалкими умами: в беседах с ними оставляешь клочья собственной шерсти, словно на кустарнике. Я храню в своей душе высокие чувства — неповторимые, прочные, неизменные, исключительные, и это составляет причудливый контраст с моим внешним легкомыслием. Поверьте, требуется знать меня по крайней мере пять или шесть лет, чтобы понять, до какой степени одиночество сделало меня чувствительным и на какие жертвы, ска-

жу без хвастовства, я способен. Чувства, которые можно угадать в моих произведениях,— лишь отблески света, который я ношу в себе. До сих пор только одна женщина, г-жа де Б..., хорошо понимала, что́ я собою представляю: она видела, что какие бы чувства ни волновали меня, с уст моих не сходила улыбка. Уже с двенадцати лет я никогда не проявлял ни гнева, ни нетерпения. Небосклон моей души постоянно оставался безоблачным. Всякое иное поведение свидетельствует, на мой взгляд, о духовном бессилии. Сила должна быть цельной; я в продолжение семи лет боролся с несчастьем и победил его; стремясь завоевать первенство в литературе, я каждую ночь сажусь за работу, ощущая в себе волю, еще более закаленную, чем накануне; поэтому я полагаю, что вправе считать себя сильным. Непостоянство, неверность для меня — своего рода *непостижимости*. Ничто не может мне надоесть: ни ожидание, ни счастье. Дружба моя прочна, как гранит; все исчезнет скорее, чем чувство, зародившееся в моей душе. Г-же де Б... шестьдесят лет; печали изменили, иссушили ее. Сила моей привязанности возросла. Я говорю об этом не из чувства гордости, ибо не вижу в том никакой заслуги. Такова моя натура, бог сотворил меня таким, что я забываю дурное и постоянно помню о благодеяниях. Любящее меня существо рождает во мне трепет. Высокие чувства столь благотворны; для чего же отправляться на поиски низменных ощущений? Бог создал меня, чтобы я вдыхал аромат цветов, а не зловоние грязи. Зачем стану я опускаться до низких поступков? Все влечет меня к возвышенному. Я задыхаюсь на равнине, мне вольно дышится лишь в горах! К тому же я столько замыслил! Мы живем *в эпоху разума*. Земные властители, носители грубой силы, уходят. Возникает мир мысли, и в нем будут встречаться свои Писарро, Кортесы и Колумбы. В этом всемирном царстве мысли окажутся свои повелители. Человек, которому присуще подобное честолюбие, неспособен ни на низость, ни на мелочность. Ни на что не уходит столько времени, сколько на пустяки. Вот почему потребовалось бы нечто грандиозное, чтобы я покинул ради него круг интересов, где приобщаюсь к бесконечности. Лишь одно можно противопоставить бесконечности — самое бесконечность, необъятную любовь. И если она есть у ме-

ня, зачем пойду я искать *парижанку*, какую-нибудь г-жу де К...! (Кто-то мне вчера рассказал, что она всячески жаждала огласки, что муж предоставлял ей полную свободу, но ее суетность была такова — я в это верю,— что она изо всех сил стремилась, чтобы о ней говорили.) Я испытываю отвращение к парижским женщинам и неотрывно работаю с шести часов утра до шести вечера. В половине седьмого за мной приезжает наемная карета, и я еду — либо в Оперу, либо к Итальянцам; в полночь я ложусь. Так что попробуйте отыскать хоть минуту, которую я мог бы уделить кому бы то ни было. Я принимаю людей во время обеда; обсуждаю планы пьес во время еды. Я переписываюсь только с вами и г-жой де Б..., с сестрой и с матерью. Все письма от посторонних дожидаются воскресенья: тогда я их распечатываю, и все, что не относится к делам, передается Сандо, который предложил мне быть моим секретарем.

При таком образе жизни мне удастся погасить пожирающие меня, словно пламя, долги и завершить обещанные мною произведения. Без этого — мне нет спасения, нет свободы. Черт побери! Вы получите великолепное доказательство того, о чем я имел удовольствие писать вам, равно как и доказательство моей твердости, как только увидите мои вышедшие в свет книги; ибо не думайте, что можно повесничать, забавляться и создавать такие произведения. Труд и Муза, иными словами, трудолюбивая Муза,— благоразумна, она — девственница. Достойно сожаления, что в XIX веке приходится обращаться к образам греческой мифологии; но никогда еще я не был так потрясен могучей правдой этих мифов.

Поверьте, то, что я вам сейчас написал,— не косвенный способ заверить вас в неизменности моей привязанности, независимо от вашего возраста и внешности. Я не стал бы прибегать к околичностям, чтобы высказать свои чувства; я полагаю, что вы достаточно проницательны и без того уже обо всем догадались. Нет, я просто добросовестно подвергаю свой характер разбору, не имея ни малейшего умысла выставить себя с выгодной стороны. Я верю, что ум и слава помогут мне стать великим, и вы будете гордиться моей искренней дружбой. Надеюсь, что каждое мое новое произведение, которое должно быть более значительным, лучше обдуманным и лучше

написанным, чем предыдущие, явится для вас лестным даром, цветком, букетом от меня! Расстояние позволяет мне посылать лишь цветы красноречия! Мой шурин недавно обнаружил способ, который, по его мнению, разрешает применительно к железным дорогам проблему *наклонных плоскостей;* способ этот позволит избежать больших затрат в области строительства и тяги. Возможно, удастся продать это усовершенствование англичанам, ибо он взял патент на изобретение, а англичанин, который купит его, может взять патент на вывоз. Но мой родственник не хочет ехать в Лондон, и я направлюсь туда попытать счастья ради моей бедной сестры. Вот объяснение моей предполагаемой поездки в Лондон.

Нас огорчают дела моего брата, живущего в Нормандии. Его жена беременна. Он еще больше осложнил свою и без того трудную жизнь, бедняга! Матушка моя чувствует себя неважно. Мне хотелось бы видеть ее в добром здравии, чтобы она могла воспользоваться тем, что я надеюсь ей предоставить. Но, великий боже, сколько ей пришлось пережить огорчений! Сегодня она возвратилась из поездки такой доброй, так расположенной ко мне; не признаваясь в этом, она, видимо, понимает свою серьезную вину — недостаточную привязанность ко мне и к сестре. Она наказана жестоким образом за предпочтение к одному из детей! Анри — ничтожество и таким останется; он сам испортил будущность, которую шурин или я могли бы ему создать, если бы он женился более удачно. Все это ужасно грустно.

Позавчера я перечитывал ваши письма. Перебирая, складывая, приводя их в порядок, я вдыхал исходящий от них аромат величия и изысканности. Его нельзя не заметить; те, кто говорит о вашем высоком челе, не ошибаются. Но больше всего поражает стиль, который словно исходит из вашего сердца, как свет — из ваших глаз; вы пишете по-французски, как писал Фенелон. Либо вы много читали Фенелона, либо в вашей душе живет его гармоническая мысль. Когда ваши письма приходят, я набрасываюсь на них, мне не терпится побеседовать с вами; я смакую их лишь при вторичном чтении, а оно зависит от каприза судьбы. Когда что-нибудь тяготит меня, я прибегаю к ним; я достаю красивый ларец, где хранится мой эликсир жизни, и вновь живу впечатления-

ми вашей поездки по Италии. Я снова вижу виллу Диодати, растягиваюсь на великолепном диване в «Доме Мирабо», перелистываю так красиво изданный «Готский альманах», и через час или два приходит успокоение. Я ощущаю в себе какую-то свежесть. Душа моя отдохнула рядом с близкой ей душой. Никто не подозревает о моей тайне. Это немного напоминает молитву мистика, после которой он встает сияющим. Не сочтете ли вы меня чересчур поэтичным? Но это сущая правда.

У нас здесь имеют место случаи дуэлей и самоубийств, как некогда имели место случаи холеры. Самоубийства и поединки просто носятся в воздухе.

Мой друг Сандо выпустил книгу, которая уже полностью распродана. Она называется «Госпожа де Соммервиль». Прочтите ее, эту первую книгу молодого человека! Протяните ему руку; не будьте к нему суровы. Оставьте свою суровость для меня: это грустная моя привилегия. Г-жа де Б... не делает мне больше комплиментов! Ей принадлежит право критики. Как сладки критические замечания, исходящие из дружеских уст; в них веришь; от них становится грустно, ибо нет сомнения в том, что они правильны, но они не причиняют боли.

Итак, прощайте. Сейчас, когда я пишу эти строки, вы, должно быть, читаете мое последнее письмо. Если б вы писали мне с таким расчетом, чтобы письма приходили по воскресеньям, я отвечал бы вам в понедельник. Мы добились бы этим бóльшей последовательности в переписке.

Я отправлю без письменного уведомления первую книжку «Философских этюдов» на адрес Сина. Входящие в нее произведения вам знакомы, но позвольте мне верить, что вы проявите интерес к огромным исправлениям в духе Бюффона (он делал исправления в чудовищном количестве),— они призваны превратить мое творение в целом («Социальные этюды», о которых я вам говорил) в памятник нашего прекрасного языка. Я полагаю, что в 1838 году три части этого гигантского создания будут если не завершены, то по крайней мере возведены друг над другом, и уже можно будет судить о нем в целом.

«Этюды о нравах» будут изображать все социальные

явления, так что ни одна жизненная ситуация, ни одна физиономия, ни один характер, мужской или женский, ни один уклад жизни, ни одна профессия, ни один из слоев общества, ни одна французская провинция, ничто из того, что относится к детству, старости, зрелому возрасту, к политике, правосудию, войне, не будет позабыто.

Когда все это будет осуществлено, история человеческого сердца прослежена шаг за шагом, история общества всесторонне описана,— фундамент произведения будет готов. Здесь не найдут себе места вымышленные факты, я стану описывать лишь то, что происходит повсюду.

Тогда последует второй ярус — «Философские этюды», ибо после *следствий* надо показать *причины*. Я опишу в «Этюдах о нравах» игру чувств и течение жизни. В «Философских этюдах» я объясню, *откуда чувства, в* чем *жизнь*, каковы стороны, каковы условия, вне которых не могут существовать ни общество, ни человек; и после того, как я окину взором общество, чтобы его описать, я займусь его обозрением, чтобы вынести ему приговор. Таким образом, в «Этюдах о нравах» заключены типизированные индивидуальности; в «Философских этюдах» — индивидуализированные типы. Я всему придам жизнь: типу, индивидуализируя его, индивиду, типизируя его. Я придам мысль фрагменту; мысли же я придам жизнь индивида.

Позднее, после *следствий* и *причин*, придет черед «Аналитическим этюдам» (в состав которых входит «Физиология брака»), ибо после *следствий* и *причин* должны быть определены *начала* вещей. *Нравы* — это спектакль, *причины* — это *кулисы и механизмы сцены*. *Начала* — это автор; но по мере того как произведение достигает высот мысли, оно, словно спираль, сжимается и уплотняется. Если для «Этюдов о нравах» потребуется дзадцать четыре тома, то для «Философских этюдов» нужно будет всего пятнадцать томов, а для «Аналитических этюдов» — лишь девять. Таким образом, человек, общество, человечество будут без повторений описаны, рассмотрены и подвергнуты суждению в произведении, которое явится чем-то вроде «Тысячи и одной ночи» Запада.

Когда все будет окончено, моя церковь Мадлен оштукатурена, фронтон вылеплен, леса убраны, последние удары кисти сделаны, тогда выяснится, был ли я прав, или ошибался. После того как я покончу с поэтическим воссозданием целой системы жизни, я займусь ее научным описанием в «Опыте о силах человеческих». И этот дворец я, *дитя и весельчак*, украшу огромной арабеской из «Ста озорных рассказов»!

Полагаете ли вы после этого, сударыня, что у меня есть лишнее время, которое я могу терять у ног какой-нибудь парижанки? Нет; мне пришлось сделать выбор. И я открыл вам сегодня свою единственную возлюбленную, я сорвал с нее покровы. Вот произведение, вот бездна, вот кратер, вот предмет, вот женщина, вот то, что поглощает мои дни и ночи, и это придает цену моему письму, которому я с наслаждением отдал часы, предназначенные для работы. Умоляю вас: никогда не подозревайте меня ни в чем ничтожном, низком и мелком! Ведь вам дано измерить размах моих крыльев! Итак, еще раз прощайте. Пусть помнят о резчике, литейщике, скульпторе, золотых дел мастере, каторжнике, художнике, мыслителе, поэте, о ком угодно — те, кто любит его; а если вы хотите знать истинную цену участия, которое вы в нем принимаете, представьте себе всю силу привязанности одинокого человека: он подобен пальме в пустыне, пальме, что̀ устремляется к небесам в поисках прохлады. Наступит день, когда я окончу свой труд, и тогда мы, наконец, предадимся веселью. Но сегодня надо работать.

ГАНСКОЙ

Париж, воскресенье, 23 августа 1835 г.

Мои письма, говорите вы, становятся краткими, и вам даже не известно, с кем я вижусь. Но я не вижусь ни с кем и работаю так напряженно, что у меня нет ни одной свободной минуты, чтобы написать письмо. Зато мне знакомы часы полного изнеможения, и я не могу не думать о них. Когда-нибудь вы будете изумлены, что я успевал столько сделать и находил еще время писать своей приятельнице.

Чтобы покончить с этой темой, прошу вас, задумайтесь над тем, что я скажу. Вальтер Скотт писал по два

романа в год, и считалось, что удача сопутствует ему: его плодовитости дивилась вся Англия. Я за этот год напишу: 1. «Отца Горио»; 2. «Лилию долины»; 3. «Воспоминания новобрачной»; 4. «Цезаря Бирото». Я подготовлю три книжки «Этюдов о нравах» для г-жи Беше и три книжки «Философских этюдов» для Верде. Наконец, я закончу третий десяток «Озорных рассказов» и «Серафиту». Но останусь ли я к будущему году в живых, сохраню ли рассудок? В этом я сомневаюсь. Временами мне кажется, что мозг мой воспламеняется. Я, верно, паду жертвой этого непрерывного напряжения ума.

И, однако, все эти усилия не спасают меня от денежного кризиса. Ужасающего количества книг, которые повлекли за собой множество корректур, оказывается, было недостаточно, чтобы расплатиться с долгами. Для этого следует обратиться к театру, где можно получать огромные доходы — по сравнению с теми, что нам приносят книги.

Я не могу сообщить вам ничего такого, чего бы вы не знали. Меня удивляет отсутствие известий о том, что вы получили мою посылку. Что касается меня, то я озабочен необходимостью закончить три тома форматом в 1/8 листа для «Ревю» и книгоиздателей. Но что поделаешь? В восемнадцатом веке писателю требовалось десять лет, чтобы сочинить десять томов. Я напишу в этом году четырнадцать, и никто на это внимания не обратит. Один лист (а их двадцать пять в каждом томе) стоит мне двадцати часов труда, а из Ишля приходит письмо, в котором меня спрашивают: «Чем вы заняты? Почему вы мне не пишете?» — и это говорится тогда, когда я, удрученный необходимостью уплатить шестнадцать тысяч франков в течение сорока дней, с беспримерным мужеством веду борьбу, не имея других ресурсов, кроме своего пера!

Поле битвы, на котором сражается разум, страшнее, чем поле битвы, где умирают, его труднее возделывать, чем пашню. Вам надлежит это хорошо знать. Франция ныне иссушает мозг у людей подобно тому, как некогда она рубила головы аристократам.

Да, я способен лишь на то, чтобы написать вам несколько страниц, и скоро я стану присылать вам только страницы, полные отчаяния, ибо мужество постепенно по-

кидает меня. Я устал от этой борьбы без передышки, от этого непрерывного процесса творчества, не приносящего мне материального успеха. До чего приятно вызывать духовные симпатии в то время, когда у тебя мать и брат нуждаются в хлебе насущном! До чего приятно выслушивать глупые комплименты по поводу произведений, написанных собственной кровью, и знать, что книги эти не продаются, тогда как сочинения г-на Поль де Кока расходятся в количестве трех тысяч экземпляров, а «Иллюстрированный сборник» — в количестве шестидесяти тысяч! Мы вновь увидимся лишь в том случае, если я восторжествую, но я сомневаюсь в успехе!

Г-ЖЕ ЗЮЛЬМЕ КАРРО

Сашэ, воскресенье, 26 июня 1836 г.

Cara! [1]

Здоровье, подорванное работой последнего времени, мой судебный процесс, тревоги — все это забросило меня в Турень, где на меня целительно действует родной воздух. В Париж, может быть, поеду через Лош, Валансей и милый Иссуден. Очень хотелось бы побывать во Фрапеле, пока я снова не вернусь к своим битвам и самоистреблению.

Не знаю, увижу ли вас, но во всяком случае сейчас мне очень нужны сведения об Ангулеме; будьте добры, ответьте поскорее, так как в Сашэ я пробуду не больше недели. Мой адрес: Сашэ через Азей ле-Ридо (Эндр и Луара).

Мне нужно знать название улицы, по которой вы ходили до площади Мюрье, где жил ваш жестянщик; название улицы, ведущей от площади Мюрье мимо Дворца правосудия к первому дому г-на Берже; название ворот, что около собора; название улочки, тянущейся вдоль крепостной стены и ведущей к Минажу. Она начинается около ворот собора, где, помните, стоит дом, откуда иногда доносились звуки фортепьяно.

Если возможно, хотелось бы еще узнать название других ворот, через которые спускаются прямо к Умо.

---

[1] Дорогая! *(итал.)*

Вот и все. Мне очень нужны все эти сведения. Было бы прекрасно, если бы майор набросал план этих улиц. Посылаю вам тысячи нежных дружеских пожеланий. Лора чувствует себя неважно. Мать умирает от горя, которое причиняет ей Анри. Я борюсь, как утопающий, но боюсь, что вот-вот захлебнусь. Сейчас работаю в Сашэ по шестнадцати часов в сутки, чтобы освободиться от двух последних томов, обещанных г-же Беше. Подстрекаемая моими врагами, которые, кажется, поклялись меня погубить, она грозит начать против меня процесс. Не позднее 10 июля я должен быть в Париже с готовыми рукописями. За две недели нужно написать два тома in-octavo, и если что-нибудь окажется неудачным, все погибло. Судите же сами о моем положении. Я не в состоянии был ни ответить Огюсту, ни помочь ему в его денежных делах, хотя и обещал это. В Париже я работал дни и ночи, спал не больше двух часов в сутки. Наконец «Лилия» вышла в свет. В карету я садился полумертвым. Расскажите ему об этом, чтобы он не упрекал своего любящего и преданного друга, также и вашего верного друга Оноре. Тысячу раз я начинал писать ему письмо и бросал его, оно и сейчас лежит на моем столе в Париже. Я не знал, куда адресовать его. По всему этому можете сами судить о моей жизни. Как солдат, который, идя на Ваграм, не имел времени ни поспать, ни написать своей милой, так и я не имел времени дописать и запечатать это письмо. Всеми силами стремлюсь покончить с такой жизнью, и если через год все не разрешится, лучше идти в подручные к каменщику. Тысячи добрых пожеланий и дружеское рукопожатие майору. Целую обоих ваших сыновей. Хотел побывать у вас, но доктор Наккар прописал мне воздух родных мест.

Оноре.

ГАНСКОЙ

Париж, 8 июля 1837 г.

Получил ваше двадцать девятое письмо, в котором слово «наконец» заставило меня задрожать. Вот уже почти месяц, дорогая, как я вам не писал. Только что я сжег начатое письмо, которое уже утратило значение. Мое мол-

чание объяснит вам «Выдающаяся женщина» — она заняла 75 колонок в «Прессе», и я писал ее день за днем целый месяц. Я проработал все тридцать ночей этого проклятого месяца, спал за все это время не больше шестидесяти часов, у меня не было времени даже побриться, и я, враг всего крикливого, хожу теперь с бородой на манер «Молодой Франции».

Закончив письмо, я не без страха приму первую ванну, так как боюсь реакции после такого крайнего напряжения сил, а мне ведь нужно приниматься за «Цезаря Бирото», который стал предметом шуток из-за постоянных моих оттяжек. К тому же вот уже два месяца, как газета «Фигаро» заплатила мне за него деньги.

Дней через десять я наконец закончу третий десяток «Озорных рассказов».

Вам будет трудно даже представить себе сумасшедшее напряжение моей работы; любой ценой я хочу добиться свободы, так как еще один такой год — и я издохну от усталости.

За этот месяц я написал «Неведомых мучеников», «Массимиллу Дони» и «Гамбара». Когда закончу «Цезаря Бирото», мне останется «Банкирский дом Нусингена и К°» и еще одно произведение, чтобы покончить с кабалой, которая требует столько работы и поглощает все деньги.

Я все же успел проследить за упаковкой и отправкой моего портрета, который вы, наверное, уже получите, когда дойдет это письмо. Долгая задержка вашего двадцать девятого письма ко всем моим огорчениям добавила беспокойство за ваше здоровье. Вы не поверите, в какой тревоге я живу. Я так боюсь, что вас коснется ядовитое дыхание злословия или клеветы, что вам наскучат огорчения такой жизни, поэтому малейшая задержка в письмах выбивает меня из колеи.

Не буду рассказывать вам о трудностях своей жизни, так как начатое дело, о котором вы знаете, сделало их колоссальными и почти что непереносимыми.

В то время, как я работаю днем и ночью, чтобы освободить свое перо, мои издатели ничего мне не платят, желая принудить меня работать на них, и я все больше влезаю в долги, и мои денежные затруднения все увеличиваются. Банкротство Верде меня совершенно убило; я

очень неосмотрительно подписал гарантийные обязательства, и меня теперь преследуют. Чтобы не попасть в тюрьму, мне пришлось немедля раздобыть денег для оплаты долга Верде и, следовательно, опять задолжать. Только этого мне не хватало при такой работе.

Я не хочу больше расстраивать вас подробностями этой битвы. Потребовались бы целые тома, чтобы вам все объяснить и описать. Я не живу в полном смысле этого слова. У меня только одна работа! Подобную жизнь я выдерживаю не больше трех-четырех месяцев. Дела у меня еще на полтора месяца, после чего я, совершенно обессиленный, поеду восстанавливать свое здоровье в тиши Украины, если только на то будет божья воля. Надеюсь к тому времени закончить «Цезаря Бирото» in octavo. «Выдающаяся женщина» составляет два толстых тома. Журнальный вариант полностью готов, но для отдельного издания я должен над нею еще поработать, хочу прибавить четвертую часть.

Через некоторое время вы ее прочтете, а также «Руджери», «Неведомых мучеников», «Сына меховщика», «Массимиллу Дони» и «Гамбара»! Надеюсь на это! А ведь еще есть «Цезарь Бирото» и третий десяток «Озорных рассказов».

Думаю, что у меня достанет сил закончить «Утраченные иллюзии». Это трудно, но совершенно необходимо, так как наступает срок ежемесячного взноса полутора тысяч франков в счет погашения долга. Передо мной по-прежнему зияющая бездна нищеты и страшная пучина дел. Я столько раз отдавался надеждам, но теперь, как я вам говорил, я уже устал. Я во власти глубокой безнадежности и замкнулся в полном одиночестве.

Вскоре, однако, мне предстоит большое дело в связи с выходом в свет полного иллюстрированного собрания моих сочинений на условиях завлекательных и интересных для публики. Часть процентов с прибыли от переизданий получат подписчики, которые будут разделены на категории в зависимости от сроков их участия в издании. Участие в течение десяти лет дает право на один процент, двадцати лет — на десять процентов, тридцати лет — на двадцать, сорока лет — на тридцать, пятидесяти лет — на сорок, шестидесяти лет — на пятьдесят, семидесяти лет — на шестьдесят и восьмидесяти лет —

на семьдесят процентов. Таким образом, подписка даст возможность приобрести прекрасное, с точки зрения типографского искусства, издание и получить ренту в тридцать тысяч франков. Право на ренту переходит по наследству. Это хорошая идея, но нужно иметь три тысячи подписчиков разных категорий, чтобы ее осуществить.

Вы понимаете, что после всех полученных мною ударов судьбы я не могу спокойно думать об этой затее, несмотря на присущий мне пыл воображения. Необходима огромная сумма денег на рекламу и сто тысяч франков на рисунки. В это издание под общим названием «Социальные этюды» войдут полностью «Этюды о нравах», «Философские этюды» и «Аналитические этюды». Все будет напечатано за четыре года. Рисунки помещаются в тексте, по 75 в каждом томе, что помешает перепечаткам за границей. Успех всего предприятия будет зависеть от решения ряда организационных вопросов. Да будет угодно судьбе, чтобы все успешно закончилось!

Медлить нельзя! Я чувствую: еще несколько дней, подобных последним, и я признаю себя побежденным. Я, хорошо знающий, что такое бедность, я взываю к вам из своего кабинета: радуйтесь независимости, которую вам дарит г-н Ганский и которую вы так справедливо хвалили. Всеми силами своей души, имеющей для этого еще достаточно сил, желаю вам никогда не знать бедствий, выпавших на мою долю.

Если наше дело выгорит и будет иметь успех, вы первая об этом узнаете из письма столь радостного, что подобное еще никогда не пересекало Европу. Но теперь я не очень верю в успех таких предприятий. Через несколько дней вы прочтете «Выдающуюся женщину», и если я когда-либо нуждался в серьезном и искреннем отзыве, то именно теперь. Ежедневно журнал получает до двадцати ругательных писем от читателей, отказывающихся от подписки, заявляющих, что они никогда не видели ничего более скучного, что все написанное мною — лишь глупая болтовня. И все эти письма пересылают мне! Мне попалось письмо человека, называющего себя большим поклонником моего таланта, и он тоже пишет, что не может *постигнуть глупости такого рода произведений.* Если это справедливо—значит я жестоко ошибся. Эта не-

удача, все эти неприятности приводят меня в состояние духа, мало благоприятное для работы над «Цезарем Бирото», которого я сегодня начинаю и должен закончить как можно скорее.

Я лишил вас рукописи и гранок «Выдающейся женщины» в пользу Cara sorella [1], у которой еще ничего не было. Она увидела переплетенные для вас гранки, которые мне принесли, и печально заметила: «А я, наверное, никогда ничего не получу»,— и тогда я решил отдать ей гранки «Выдающейся женщины», для вас же я приберегу гранки переиздания.

Оторвавшись от изнурительной работы этих сорока пяти дней, я благоговейно записал мысли вашей дорогой Анны в книгу «Подражание Иисусу Христу». Одно ее высказывание, записанное на кусочке желтого пояска, лежит там уже давно.

Сколько событий и мыслей пронеслось за последние семь лет! И какой страх постоянно испытываешь, когда идешь вперед, а буря еще не утихла. Лучше и не думать о счастливых миражах, что вырисовываются впереди, особенно если душа все еще в трауре.

Посылаю вам тысячу наилучших пожеланий и надеюсь,что на вашу долю выпадет все то счастье, что так упорно меня избегает.

Теперь мне совершенно ясно, что вся моя жизнь пройдет в работе и что надо находить радость в трудах, в которых я буду жить. Но все же, когда мое перо через два или три месяца обретет свободу, я еще раз попробую составить себе состояние, сделаю последнюю попытку. Если я на нее решусь, то потому только, что уже ничем больше не рискую. Если же опять ничего не выйдет, я уединюсь куда-нибудь в тихий уголок и буду жить как сельский священник, забытый прихожанами, свободный от забот, отдавшийся всецело только любви и мечтам, этим двум главным двигателям жизни. Нужно ли добавлять, что вам в них будет принадлежать главное место.

Дописывая «Раскаяние Берты», я вспоминал на каждой странице, что этот рассказ я начал писать с упоением еще в Пре л'Эвеке в январе 1834 года, почти четыре года

---

[1] Дорогой сестры *(итал.)*.

тому назад. Я должен был бы уже освободиться от долгов, жить как каноник где-нибудь на Украине, заботясь лишь о том, чтобы изгонять ваших *blues devils* и *blues devils* [1] г-на Ганского да ежегодно писать по десятку «Озорных рассказов». Это была бы чудесная жизнь. Однако между мной и блаженным покоем стоят двенадцать тысяч долга, и чем дальше, тем эта сумма все увеличивается.

Шатобриан умирает с голоду. Он продал издателям свое авторское прошлое и будущее. Будущее ему приносит двенадцать тысяч франков ренты, если он ничего не пишет, и двадцать пять тысяч, если он публикует что-нибудь новое. Для него это нищета, а ему уже 70 лет, возраст, когда гений угасает и расцветают лишь воспоминания юности. Вот почему мы любим дважды: в реальности и в воспоминаниях.

Addio cara [2]! Надо расставаться с вами, чтобы засесть за *десяток* и за «Цезаря Бирото». Не знаю, чем только я не пожертвовал бы — кроме нашей дорогой дружбы, конечно,— чтобы эти два произведения были уже закончены. Помимо поношений, они ничего мне не принесут. Я очень удивлен, что вы даже в июне не получили моего новогоднего подарка, ведь полковник Франковский вернулся уже три месяца тому назад.

Поцелуйте Анну от имени самой спокойной *клячи*, что когда-либо стояла в ее конюшне. Напомните обо мне г-ну Ганскому, всем, кто сейчас рядом с вами, а также тем, кто в отъезде. Вам я ничего не посылаю и, как всегда, остаюсь парижским мужиком — вашей полной собственностью.

Вчера я задумал произведение, глубокое по мысли, но небольшое по объему, постараюсь его закончить как можно скорее. Повесть назову мужским именем. Это будет что-нибудь вроде «Юлия, или Нового Абеляра»,— письма двух влюбленных, которых любовь приведет в конце концов в монастырь — настоящий героический роман в духе Скюдери.

Шлю тысячи нежных приветов. Я писал это письмо четыре дня, каждый час меня отрывали корректуры.

---

[1] Синих дьяволов *(англ.)*, то есть дурное настроение.
[2] Прощайте, дорогая! *(итал.)*

ГАНСКОЙ

Шайо, 7 ноября 1837 г.

Вплотную приступил к работе над комедией; но после того как определились ее основные линии, я встретился с трудностями, и это наполняет меня чувством глубокого восхищения перед великими гениями, которые оставили театру свои создания.

Вчера я слушал «Симфонию до-минор» Бетховена. Бетховен — единственный человек, который внушает мне чувство зависти; он одарен божественной силой. Я хотел бы скорее быть Бетховеном, нежели Россини или Моцартом. В финале чудится, что какой-то волшебник возносит вас в сказочный мир, где в великолепнейших дворцах собраны чудесные образцы всевозможных искусств; по мановению его руки отворяются врата, напоминающие двери флорентийской часовни, и перед вашим взором возникают невиданные красавицы — феи фантазии. Дивные создания, наделенные красотою женщины, порхают вокруг на своих радужных, как у ангелов, крыльях, и на вас изливаются волны горнего воздуха, который, по словам Сведенборга, звенит и благоухает, наделен цветом и осязаем; струясь, он наполняет душу блаженством!

Нет, гений писателя не приносит подобных наслаждений: то, что мы можем передать пером, принадлежит конечному, определенному, а Бетховен возносит вас в пределы бесконечного. Увы, я знаю пока только «Симфонию до-минор» и небольшой отрывок из «Пасторальной симфонии»; в Женеве мы слышали однажды, как кто-то бренчал на рояле на втором этаже, терзая эту симфонию, но я ничего не различал, ибо в двух шагах от вас незнакомый юноша, вытаращив глаза, с ошеломленным видом спрашивал меня, не знаю ли я, кто эта прекрасная иностранка, а то были вы, и я гордился, словно сам был женщиной — молодой, красивой и тщеславной.

Я живу так уединенно, что ничего не могу рассказать вам о жизни Парижа: ни описать парижское общество, ни пересказать парижские сплетни. Я могу говорить лишь о себе, а это — предмет бесконечно грустный.

Домик мой строится: работы будут завершены к 30 ноября. Но поселиться там можно будет не раньше чем месяца через три-четыре.

Нищета моя в настоящее время просто смехотворна, ибо я располагаю всеми внешними признаками богатства. Мой верный Огюст, сомневаясь в моей состоятельности, покидает меня, ссылаясь на родительскую волю, которая якобы понуждает его оставить должность слуги ради торгового поприща; но истинная подоплека этого бегства — его неверие в мое грядущее процветание и своеобразная уверенность в том, что моя нынешняя нужда затянется, а это помешает ему обделывать свои делишки. Я не задерживаю его, но горюю при мысли о необходимости взять в услужение другого плута: я предпочитаю тех, кого уже знаю, хотя Огюсту до меня столько же дела, сколько до прошлогоднего снега. Он ничуть обо мне не заботится и как-то оставил меня на целый день больного, в постели, не подав даже питья; когда же он был болен, я нанял для него сиделку, а в этом году уплатил тысячу франков, чтобы освободить его от призыва на военную службу. Я уже не мог больше терпеть нерадивость Огюста, так что его неблагодарность мне на пользу.

Знаете ли вы, что вот уже три года у меня на руках находится некая ирландская мисс, по фамилии Патриксон, которой взбрело в голову переводить мои произведения и распространять их в Англии. Это довольно забавная история. Г-жа де К..., сердившаяся на меня по многим причинам, вздумала сыграть со мной дурную шутку. Она наняла эту мисс, чтобы обучать английскому языку Р..., и заставила ее написать мне любовное письмо за подписью леди Невиль. Я беру английский «Альманах» и не нахожу в нем ни лорда, ни сэра Невиля. К тому же само письмо показалось мне крайне подозрительным. Вы знаете, когда такие послания притворны, в них бывает сказано или слишком много, или слишком мало, так что я сразу определил истинную цену этого письма. Я строчу пылкий ответ, и мне назначают свидание в Опере. В этот же день я отправляюсь к г-же де К..., которая оставляет меня обедать. Я ссылаюсь на то, что у меня дело в Опере. «Прекрасно, поедемте вместе»,— отвечает она и, не сдержавшись, обменивается взглядом со своей компаньонкой; этого взгляда мне было достаточно. Я угадываю все: она готовит мне ловушку, она хочет навсегда обратить меня в посмешище. Отправляюсь в Оперу. Никого. Наконец, я пишу письмо, которое и

приводит ко мне эту мисс, старую, отвратительную, с чудовищными зубами; она, оказывается, полна угрызений совести по поводу своей роли и испытывает привязанность ко мне, а к маркизе — отвращение и презрение. Хотя письма мои были проникнуты иронией и написаны с целью заставить покраснеть женщину, перерядившуюся в мнимую леди, она унесла их с собой. Я одержал верх над г-жой де К... В конце концов она догадалась, что потерпела поражение в этой интриге. С того дня она прониклась ко мне ненавистью, которая угаснет лишь вместе с жизнью. Она еще, чего доброго, встанет из могилы, чтобы оклеветать меня. Маркиза никогда не раскрывала «Серафиты» — из-за посвящения; ее ревность такова, что она бы заплакала от радости, если бы могла уничтожить эту книгу.

Словом, безобразная, старая и зубастая мисс Патриксон, считая, что она обязана загладить свой проступок, видит теперь цель жизни в переводе моих книг. Я встретил в Пуасси некую г-жу Сен-Клер, дочь какого-то английского адмирала, сестру г-жи Дельмар, которая также увлекается переводом моих произведений и предлагает мне выгодный договор с английскими журналами; я не говорю ни да, ни нет — из-за моей Патриксон. Но так как вот уже три года бедная мисс бьется над тем, в чем видит смысл своего существования, то я решил, что она охотно воспользуется этой помощью. И вот как-то в среду вечером я отправляюсь к ней. Она живет на шестом этаже; что ж, я не знаю ничего, что было бы величественнее несчастья! Я поднимаюсь, вхожу... и обнаруживаю, что бедняжка пьяна, как сапожник! Никогда за всю свою жизнь я не был в большем смятении; она отвечает сквозь зубы, не понимает, о чем я ей говорю; наконец, разобрав, что речь идет о сотрудничестве в переводе, заливается слезами и говорит мне, что если эта работа не останется за ней целиком, она убьет себя, что в этом — вся ее жизнь, вся ее слава; и она поведала мне о своих горестях. Мне не приходилось слышать ничего более страшного, и я ушел от нее, оледенев от ужаса, не понимая, пьет ли она из пристрастия к алкоголю или чтобы избавиться от сознания нищеты. Вот почему я отклонил предложение г-жи Сен-Клер. Вы не можете представить себе, в какой грязной и запущенной конуре жи-

вет эта девица! Жилище еще безобразнее обитателя. Вот самый яркий эпизод истекшей недели.

В пустыне своей жизни девица эта узрела в моих произведениях спасительную смоковницу, но смоковница сия пребудет для нее вовеки бесплодной, а у меня нет денег, чтобы ей помочь. Между тем я вчера случайно проходил под руку со знакомой англичанкой по улице Невде-Люксембург, на которой расположена английская кондитерская, где приготовляют чудесный паштет с устрицами. И кого же я увидел за столиком? Мою Патриксон, занятую едой и питьем. Конечно, я не монах, не глупец и понимаю, что чем человек несчастнее, тем больше он нуждается в утешении,— и счастлив тот, кто способен обретать его в кондитерских! Особа, с которой я шел под руку, уверяла меня, что сидящая за столиком женщина *пьет джин*, ибо у нее манеры человека, приверженного к *джину*. Я, конечно, не сказал ей, что это моя переводчица. Однако, пьет ли она джин или нет, она от этого не меньше нуждается. Остается выяснить: бедствует ли она оттого, что *пьет джин*, или же пьет *джин* оттого, что бедствует. Что до меня, то несчастья других ранят мое сердце. Я никогда не осуждаю несчастных. Я стоически отношусь к собственным невзгодам и способен поделиться с ближним последним куском хлеба. Так неоднократно бывало, но те, кому я оказывал услуги, проявляли неблагодарность. Пример: Жюль Сандо, который вот уже два месяца ни разу у меня не был; да он и не придет, если даже я буду в агонии. Ну что ж, я все это знаю, однако не извлекаю нужных уроков. Если я женюсь, надо будет, чтобы жена управляла моим состоянием и становилась между мною и остальным миром, ибо я способен раздать другим все сокровища Аладина. К счастью, у меня ничего нет. Но, если что-нибудь заведется, останется только одно — прикидываться скупым.

Я отвез матушку в Пуасси, в очень приличный пансион. Ехали мы по железной дороге; движение по ней совершается не особенно быстро. Сердце мое обливалось кровью, когда я вез ее туда: ведь я мечтаю о том, чтобы она провела в достатке и покое свои последние годы, но богатство ко мне что-то не приходит, наоборот, бедность моя, как я уже говорил, становится просто смехотворной. Для того чтобы запастись на месяц дровами, мне при-

шлось проявить больше дипломатических способностей, чем потребуется для того, чтобы лет через десять подписать мирный договор между Францией и любой другой державой. Работа над комедией, видимо, пойдет медленно. С ней получается, как с пересылкой моего портрета. Вчера я узнал, что он все же куда-то прибыл, но экспедитор не знает, куда. Надеюсь, в Броды. Впрочем, уже сделан запрос, чтобы выяснить, где он находится, и к тому времени, когда придет ответ, вы, без сомнения, сообщите мне, что портрет уже у вас. Дай бог, чтобы так же было и с пьесой! Мне уже сейчас ясно, какая широта суждений необходима автору комедий. Надо, чтобы каждое его слово звучало, как приговор нравам эпохи. Не следует выбирать мелких и незначительных сюжетов. Нужно проникать в сущность явлений, постоянно иметь в виду общественный порядок и, пользуясь формой комедии, вершить над ним суд. Существуют тысячи вещей, о которых хочется сказать, но говорить должно лишь о самых достойных, и говорить так, чтобы за каждой фразой, сохраненной автором в произведении, стояли тысячи отброшенных им слов и мыслей. Такая работа приводит меня в священный трепет. Разумеется, я имею в виду произведение гениальное; что же касается тридцати тысяч пьес, которые появились у нас за последние сорок лет, то нет ничего легче, чем сочинять их. Работа над комедией меня захватила, я думаю только о ней, но с каждым новым шагом трудности возрастают. Однако написать ее— это еще не все: надо добиться, чтобы она была поставлена; а вдруг она провалится? Я в отчаянии, что не мог уединиться этой зимой в Верховне, чтобы вынашивать свою пьесу в атмосфере вашей почти монашеской жизни. Я поступал бы, как Бомарше, который, сцена за сценой, читал свои произведения женщинам и переделывал их, следуя полученным советам.

Я в глубокой печали. Кофе мне ничуть не помогает: он не в состоянии вызвать к жизни мой дух, остающийся в своей темнице из костей и плоти. Моя сестра больна, а когда Лора больна, мне кажется, что весь мир пришел в расстройство. Ведь она так много значит в моей грустной жизни! Я с трудом работаю. Я не верю в то, что именуют моим талантом, и предаюсь отчаянию все ночи напролет.

«Банкирский дом Нусингена» лежит передо мною в корректуре, а я не могу заставить себя приняться за него, хотя это—последнее звено цепи, и ценою трехдневной работы его можно было бы разорвать. Мой мозг бездействует. Я выпил две чашки крепкого черного кофе, право, с тем же успехом я мог бы выпить воды! Надо попробовать переменить обстановку — думаю съездить в Берри к г-же Карро, она ждет меня к себе уже два года, и я каждые три месяца обещаю навестить ее. Мой домик будет закончен лишь в декабре, рабочие дождутся моего возвращения.

В довершение бедствий совсем не получаю от вас писем. Вы могли бы писать мне каждую неделю, а пишете не чаще, чем раз в две недели. Ведь у вас куда больше времени, чем у меня: в вашей степи нет ни симфоний Бетховена, ни асфальтированных бульваров, ни Итальянцев, ни периодических изданий, в коих надо сотрудничать, ни книг, которые нужно писать, ни корректур, которые надо править, ни невзгод,— вместо всего этого вокруг тянутся ваши леса площадью в сто тысяч арпанов. Господи, если бы вы владели такими лесами вблизи Парижа, они приносили бы вам доход в два миллиона, ибо стоимость их достигала бы пятидесяти миллионов! Все складывается одно к одному: я нахожусь здесь, вы — там.

ГАНСКОЙ

Шайо, 12 ноября 1837 г.

Поправка относительно бедной мисс: она пьет одну лишь воду. Оказывается, мой неожиданный визит буквально опьянил ее. Я зачеркиваю все, что написал тогда; впрочем, нет, лучше оставлю для собственного наказания. Но вы ведь не станете из-за этого думать обо мне ни хуже, ни лучше...

Я намерен поехать в Марсель, затем—на Корсику, а оттуда — в Сардинию; постараюсь вернуться в первых числах декабря. Меня призывает туда дело, связанное с возможностью приобрести крупное состояние; я расскажу вам о нем лишь в случае неудачи, если же преуспею, то шепну обо всем тихонько, на ушко. Вот уже три недели, как я думаю об этом путешествии, но у меня нет денег,

чтобы его предпринять, и я не знаю, где достать их. Потребуется около тысячи двухсот франков, то есть сто двадцать червонцев, чтобы выяснить «да» или «нет»: речь идет о том, чтобы очень быстро, в несколько месяцев, составить себе состояние. Addio, cara [1]. Пишу уже третье письмо, а от вас получил лишь одно. Я никогда не видел ни Прованса, ни Марселя и надеюсь, что поездка немного развлечет меня. К морю я отправлюсь в почтовой карете, а остальной путь проделаю на пароходе; так что рассчитываю управиться за две недели. Не следует, чтобы мое отсутствие было замечено: издатели стали бы ворчать.

Надежды на небывалую удачу отпали; мое произведение появится просто и скромно — отдельными книжками с гравюрами на металле, помещенными прямо в тексте. Таким образом, мы возвращаемся к обычной манере изданий, которая в ходу во Франции вот уже целое столетие.

ГАНСКОЙ

Фрапель, 2 марта 1838 г.

Cara contessina [2], я живу здесь, ничего не делая, кажется, мне удалось немного подлечиться, вот и все. Я был болен болезнью, о которой любовь предпочитает не говорить. Болезнь была вызвана водой, содержащей растворенную известь. Эта вода совершенно растворила и мои умственные способности, и так уже расстроенные чрезмерным умственным напряжением. Г-жа Карро считает, что я счастливо избежал серьезной болезни, я же думаю, что избежал опасности написать комедию или плохой роман. Я узнал, что Жорж Санд сейчас у себя в Ноане, недалеко от Фрапеля, и поехал ее навестить; итак, у вас будут два желанных автографа. Сегодня я посылаю автограф Жорж Санд, в следующем письме вы получите другой, Авроры Дюдеван.

Любопытное существо нашего времени будет теперь у вас под своими двумя личинами, но у него есть и третье имя — имя дружбы — доктор Пиффель. Когда я получу автограф Пиффеля, я вам также его пришлю. Так как ва-

---

[1] Прощайте, дорогая *(итал.)*.
[2] Дорогая графиня *(итал.)*.

шему любопытствующему Достоинству присуще достойное любопытство, то расскажу о своей поездке.

Приехал я в замок Ноан в субботу на масляной, около половины восьмого вечера. Я нашел своего приятеля Жорж Санд в халате, курящую послеобеденную сигару у камина в огромной пустой комнате. На ней были красивые жёлтые туфли с бахромой, кокетливые чулки и красные шаровары. Вот и все, что я могу сказать о ее моральном облике; если же говорить о внешности, то она отрастила себе двойной подбородок подобно канонику. Несмотря на пережитые ею ужасные несчастья, у нее нет ни одного седого волоса; оливковый цвет лица не изменился; прекрасные глаза блестят, как и раньше; у нее глуповатый вид, когда она задумывается, и я ей сказал, изучив ее физиономию, что вся ее прелесть только в глазах. Жорж Санд живет в Ноане вот уже год, очень грустит и невероятно много работает. Она ведет почти что мой образ жизни: ложится в шесть часов утра и встает в полдень, я же ложусь в шесть часов вечера и встаю в полночь. Но тут я, конечно, приспособился к ее привычкам, и мы в течение трех дней болтали после обеда, с пяти часов вечера до пяти часов утра, так что за эти три беседы мы узнали друг друга лучше, чем за четыре прошлых года, когда она изредка меня навещала; как раз в период ее увлечения Жюлем Сандо, а после — Мюссе. Она меня очень хорошо встретила, оценив особенно, что я приехал к ней издалека. Я очень рад, что ее повидал. Мы откровенно поговорили о Жюле Сандо. Я и тогда меньше всего порицал ее за то, что она покинула его, теперь же я испытываю к ней только глубокое сочувствие; это же чувство испытаете и вы, когда узнаете, с кем нам пришлось иметь дело: ей — в любви, а мне — в дружбе.

Но еще более несчастна была она с Мюссе, и вот теперь живет отшельницей, проклиная и брак и любовь, ибо и брак и любовь принесли ей лишь разочарования. Ей очень трудно найти мужчину по себе — вот в чем все дело!

Это тем более трудно, что она не очень обаятельна и поэтому в нее трудно влюбиться. Она хороший товарищ, талантлива, великодушна, благородна, преданна, скромна — у нее все лучшие достоинства мужчины, ergo [1], она

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

не женщина. Откровенно беседуя с ней в течение трех дней, я, как и раньше, совершенно не ощутил той легкой влюбленности, которую во Франции и Польше считается обязательным испытывать к каждой женщине. Я разговаривал с товарищем. Ей присущи высокие добродетели, но общество воспринимает их в искаженном виде. Мы обсуждали серьезно, доброжелательно, искренне, доверчиво, как это подобает великим пастырям, пасущим людские стада, великие вопросы брака и свободы. Она заявила с большой гордостью (сам я не осмелился бы так о себе подумать): «Мы своими требованиями подготовляем революцию в нравах будущего. Я огорчена несовершенством брака не менее, чем несовершенством нашей свободы». Всю ночь мы проговорили об этих проблемах. Я стою за свободу девушек и за полную покорность женщин, то есть я хочу, чтобы девушка, вступая в брак, хорошо понимала, что ей предстоит, чтобы она во всем отдавала себе отчет; но после того, как она подписала брачный контракт, ознакомившись до этого со всей сложностью супружеских отношений, она должна быть верна своему слову. Я хотел заставить госпожу Дюдеван признать необходимость брака, я уверен, что она к этому придет, и считаю, что поступил правильно, убеждая ее в этом.

Она прекрасная мать, дети ее обожают, однако она зря воспитывает свою дочь Соланж как мальчишку. В *нравственном* отношении Жорж Санд так же внутренне *чиста и неиспорченна*, как двадцатилетний юноша, ее манеры богемы — все это лишь внешнее. Она слишком много курит, может быть, чересчур увлекается ролью владетельной княгини, и я уверен, что она себя очень верно описала в образе княгини из «Личного секретаря».

Она говорит о своем творчестве то же, что и я о нем думаю, хотя я ей об этом ничего не сказал: у нее нет силы обобщения, нет дара композиции, умения добиться жизненной правдивости, она не обладает искусством патетики, но она прекрасно владеет стилем, хотя далеко не в совершенстве знает французский язык. Все это именно так. Она так же, как и я, посмеивается над своей славой и глубоко презирает публику, называя ее Giumento [1].

---

[1] Вьючным животным *(итал.)*.

Потом я расскажу вам о тайной великой преданности этой женщины и Сандо и Мюссе, и вы тогда подтвердите, что не может быть ничего общего между ангелом и демонами. Все глупости, которые она совершила, с точки зрения общества, являются на самом деле поступками человека прекрасной и благородной души и служат лишь к ее славе. Она была одурачена г-жой Дорваль, Бокажем, Ламенне и т. д. и т. д.; была обманута Листом и г-жой д'Агу, но теперь она раскусила эту пару так же, как и г-жу Дорваль. Жорж Санд принадлежит к тем умам, что сильны, размышляя в своем кабинете, и беспомощны в жизни. Рассказывая о Листе и г-же д'Агу, она подсказала мне сюжет романа «Каторжники, или Вынужденная любовь», который я непременно напишу, так как ей самой в ее положении его написать нельзя. Сохраните этот секрет.

В общем, она мужчина, тем более, что и хочет им быть, она отказалась от роли женщины и уже больше не женщина. Женщина притягивает, а она отталкивает. Я до мозга костей мужчина, и если на меня она производит такое впечатление, то и все мужчины, подобные мне, должны испытывать то же самое, и поэтому она всегда будет несчастна. Теперь она любит мужчину, который намного ниже ее. Этот союз принесет ей, женщине с возвышенной душой, лишь разочарование и огорчение. Женщина всегда должна любить человека, стоящего выше ее, или же должна быть так увлечена им, чтобы верить, что это действительно так.

Мой визит в Ноан остался не без последствий, я вывез оттуда страшный порок — Жорж Санд научила меня курить *кальян* и латакье. Это стало теперь для меня необходимостью. Новое увлечение поможет мне отказаться от кофе, разнообразить возбуждающие средства, которые мне так необходимы во время работы. В связи с этим у меня к вам большая просьба. Мне очень нужен красивый, хороший *кальян* и к нему на смену несколько трубок. Будьте добры, достаньте мне в Москве *кальян*, так как самые лучшие *кальяны* бывают только там и в Константинополе. Будьте другом, напишите, не мешкая, в Москву, чтобы я как можно скорее получил посылку. Но это лишь при условии, что вы мне напишете, что́ я должен прислать вам из Парижа,— я хочу получить *кальян* только

в обмен. Если вам удастся достать в Москве настоящий латакье, пришлите мне его побольше, фунтов пять или шесть, так как оказии из Константинополя очень редки. Осмелюсь ли попросить вас не забыть прислать мне также *караванного* чая, который вы обещали. Раз уж речь зашла о посылках, то племянник г-жи Деланнуа, моей второй матери, сможет — как мне сказали — передать одному коммерсанту в Риге мои рукописи для вас. Из Риги вам уже будет нетрудно их получить. Точнее об этом я узнаю в Париже, куда завтра поеду.

Вы уже хорошо знаете, что я ребенок, поэтому, если можно, достаньте мне кальян, украшенный бирюзой, которую я очень люблю. Я постараюсь приспособить к кальяну набалдашник с моей палки, все равно я не могу с ней больше ходить,— она приобрела уж слишком громкую известность.

Если хотите, я пришлю вам колье из парижского жемчуга, которое вам хотелось иметь. Оно будет так искусно сделано, что, хотя это всего лишь парижский жемчуг, вы получите настоящее произведение искусства. Ну что вы на это скажете? Если меня любите, скажите — да. Да, не правда ли?

Из Парижа напишу вам несколько слов, так как мне придется ехать в Сардинию. Молитесь богу, чтобы все кончилось удачно. Если поездка будет успешной, то на крыльях радости принесусь в Верховню. Я обрету свободу! Не будет больше ни забот, ни денежных затруднений. Я буду богат!

Итак, addio, cara contessina [1], ведь у почты свои определенные, нерушимые часы. Подумать только: через две недели я буду на Средиземном море, а оттуда до Одессы — только море (как у нас в Париже говорят, только мостовая), а от Одессы до Бердичева всего один шаг. Посылаю вам тысячу поцелуев, тысячу дружеских пожеланий г-ну Ганскому и тысячу приветов вашим милым приятельницам.

Сейчас, когда я вам пишу, вы, наверное, наслаждаетесь Буланже, с нетерпением жду вашего sacro sainct dict [2] произведению художника.

---

[1] Прощайте, дорогая графиня *(итал.)*.
[2] Высокого святого приговора *(лат.)*.

Знайте, что я всегда молюсь только за вас, и если, опустив капюшон, прошу чего-нибудь у бога, то только для вас, и что этот толстый монах — крепостной мужик вашей высокой и могущественной Светлости.

Прочитали ли вы «Бирото»? После этой книги я решил приняться за «Старшую продавщицу», затем за любовный легкий роман — «Вынужденная любовь».

Те, кто имеет редкое счастье любить, согласно законам сердца, пожалеют этих каторжников любви.

Addio, cara carina! Надеюсь, что вы, Анна и Великий Маршал находитесь в добром здравии.

ГАНСКОЙ

Кальяри, 17 апреля 1838 г.

Только что объехали всю Сардинию, и то, что я видел, напоминает рассказы о гуронах и полинезийцах. Целое королевство — в состоянии полного запустения, жители — настоящие дикари; заросли диких пальм и ладанника; повсюду козы, которые объедают все почки и не дают молодым побегам подняться над оградой. Мне, не ездившему верхом уже четыре года, приходилось проводить в седле по семнадцать-восемнадцать часов подряд; при этом я не встречал и признаков жилья. Склоняясь к самой шее коня, я с опасностью для жизни пересекал девственные леса: чтобы выбраться из них, надо было продвигаться по руслам речек, прямо по воде, под низко нависавшими сводами из лиан и ветвей, грозившими оставить меня одноглазым, выбить мне зубы, проломить голову. Повсюду гигантские деревья, пробковые дубы, лавры, кустарники в тридцать футов вышиной. И никакой пищи.

Не успел я возвратиться из этой поездки, как мне тотчас же пришлось думать о новом путешествии. Не отдохнувши, я опять вскочил в седло, чтобы направиться из Альгьеро в Сассари, второй по величине город острова. Оттуда вот уже два месяца отправляются дилижансы; один из них и доставил меня сюда, в этот порт, где стоит пароход, отплывающий в Геную. Но нас задерживает дурная погода, и придется ждать здесь еще дня два. Путь из Сассари лежал по средней части Сар-

динии. Она повсюду одинакова. В одном из округов жители пекут ужасный хлеб, превращая желуди в муку и смешивая ее с глиной. И происходит это в двух шагах от прекрасной Италии. Мужчины и женщины ходят полуголыми, с обрывком холста на бедрах, едва прикрывая отрепьями свою наготу. В день пасхи я видел множество людей, толпившихся у стен своих жалких лачуг под лучами палящего солнца. Ни в одном доме нет печки: огонь разводят прямо посреди жилья, и пол покрыт вместо ковра слоем сажи. Женщины весь день трудятся над тем, чтобы на ручной мельнице смолоть зерно и испечь хлеб, мужчины стерегут коз и пасут стада, а земля в этой плодороднейшей стране остается невозделанной. Кругом — глубочайшая и неискоренимая нищета, и все же попадаются селения, которые поражают своей живописностью.

ГАНСКОЙ

Милан, 20 мая 1838 г.

Дорогая графиня!

Вы знаете, что означает эта дата: начинается год, в конце которого я буду принадлежать многочисленному сонму покорившихся душ, ибо в дни моей горькой юности, в дни бесплодной борьбы и напрасных надежд, я поклялся самому себе, что не буду больше бороться против чего бы то ни было, когда достигну сорокалетнего возраста. Этот ужасный год начался сегодня утром, вдали от вас, вдали от родных, в смертельной печали, ибо изменить свою судьбу сам я не в силах, а в какие-нибудь счастливые события не верю. Моя философия — дочь усталости, а не отчаяния.

Сюда я приехал, чтобы найти случай вернуться во Францию, но остался здесь и буду писать давно задуманную вещь, ибо неожиданно ко мне пришло вдохновение, к которому я тщетно взывал вот уже несколько лет. Мне никогда не приходилось читать книгу, в которой была бы описана счастливая любовь. Руссо слишком насыщен риторикой; Ричардсон слишком резонер; поэты слишком цветисты; романисты-рассказчики слишком увлекаются событиями, а Петрарка слишком занят сво-

ими образами и своими concetti [1]. Он больше думает о поэзии, чем о женщине. Только бог мог бы описать любовь на берегах озера, омывающего остров святого Петра. Поп в своем стихотворении заставил Элоизу слишком много сожалеть о прошлом. Никто не описал беспричинную ревность, бессмысленные опасения, величие самопожертвования. В общем, я хочу закончить свою молодость картиной всей своей молодости, произведением, выходящим из ряда всех моих произведений, книгой, стоящей особняком; пламенная и невинная, описывающая и вину и жестокое раскаяние, светская и религиозная, полная утешений, полная слез и радостей, книга эта найдет путь ко всем сердцам; я хочу, чтобы она была безымянной, как «Подражание Иисусу Христу». Я хотел бы написать ее здесь. Но придется возвращаться во Францию, опять в свою лавку торговца фразами,— здесь же я способен делать только наброски.

С тех пор как я писал вам, не произошло ничего нового; я снова смотрел Миланский Duomo [2], погулял по Корсо. Ознакомился со всеми химерами большого паникадила в алтаре богоматери, который раньше осматривал лишь поверхностно; со святым Варфоломеем, который держит свою кожу, как плащ; с несколькими чудесными ангелами, поддерживающими хоры; вот и все. Слышал в театре «Ла Скала» Боккабадати в «Зельмире». Больше я никуда не хожу. Графиня Босси отважно атаковала меня на улице, напомнив мне наши прекрасные вечера у Сисмонди в Шен. Она стала неузнаваема. Это заставило меня с ужасом подумать о самом себе.

Вот уж два месяца я не получаю от вас известий. Мои письма остаются в Париже; никто мне не пишет, потому что я бродил в местах, куда почта не доходит. Ничто не могло бы лучше доказать мне, что я животное, жаждущее любви и ласки, совершенно как собака. Поверхностные приятельские отношения мне не нужны: они утомляют меня и еще больше убеждают в том, каким сокровищем обладают сердца, которым я принадлежу. В смысле легкости характера я совсем не француз.

---

[1] Замыслами *(итал.)*.
[2] Собор *(итал.)*.

Гостиница стала для меня невыносима, и теперь я, милостью его высочества князя Порчиа, живу у него в маленькой комнатке, окнами в сад, где я работаю и чувствую себя свободно, как у настоящего друга. Альфонсо Серафино, principe [1] ди Порчиа — человек моих лет, влюбленный в графиню Болоньини, в этом году влюбленный еще больше, чем в прошлом. Он холост и не собирается вступать в брак, пока не сможет жениться на графине, а она замужем, хотя и живет с мужем раздельно. И все же они счастливы! Графиня очень остроумна. У князя есть сестра, графиня Сан-Северино, о которой я, кажется, вам уже говорил.

Милан возбужден коронованием императора, в качестве короля Ломбардии, и австрийскому дому придется пойти на расходы и in fiocchi [2].

Хотя я видел Флоренцию лишь в течение каких-нибудь трех дней, жизнь во Флоренции мне нравится больше, чем в Милане. Если бы мне выпало счастье быть горячо любимым какой-нибудь женщиной, которая пожелала бы связать свою судьбу с моей, я укрылся бы с нею на берегах Арно. Но в конце концов, несмотря на романы моего друга Жорж Санд и мои собственные, не часто встретишь такого счастливца, как князь Порчиа, который настолько богат, что может жить, где ему вздумается. Что касается меня, я беден, и у меня есть свои нужды. Я должен работать, как каторжник. Я не могу сказать Арабелле д'Агу (читайте «Письма путешественника»): «Приезжайте в Вену, и три концерта дадут нам десять тысяч франков. Едемте в Санкт-Петербург, и клавиши моего рояля дадут нам дворец». Мне нужен этот злопыхатель Париж и его издательства и типографии; двенадцать часов одуряющей работы в день — для меня необходимость. У меня есть долги, а долговая расписка — это особа, которая любит меня слишком нежно. От нее невозможно отделаться; она упорно встает между любовью, покоем, праздностью и мной. Такая судьба слишком безотрадна, чтобы наградить ею кого бы то ни было,— врагу своему не пожелаю! Есть только одна-единственная женщина, от которой я мог бы что-нибудь принять, так как я уверен в том, что любил ее всю

[1] Князь *(итал.)*.
[2] Празднества *(итал.)*

жизнь. Но если бы она не любила меня так же, как я, я убил бы себя при одной мысли о роли, которую мог бы играть. Как видите, нужно на несколько месяцев повести жизнь в духе Лафонтена. Куда ни взглянешь — всюду трудности, работа, напрасные надежды. У меня нет возможности провести два года на вилле Диодати, на Женевском озере, я состарился в трудах и так и умру в них. Да и кто захотел бы мне помочь? Я похож на птицу в клетке, которая долго билась о прутья,— она замирает без сил на своей жердочке, а белая рука натягивает вверху зеленую сетку, чтобы птица не разбила себе голову. Вы не поверите, на какие мрачные размышления наводит меня счастливая жизнь князя Порчиа здесь, на Корсо де Порта Ориентале, в десяти домах от Болоньини. А мне тридцать девять лет, у меня пятьдесят тысяч франков долгу; Бельгия овладела миллионом, который заработал я, и... У меня не хватает мужества докончить свою мысль, ибо я чувствую, что было бы слишком жестоко омрачать письмо, говоря о печали, снедающей меня; я должен пощадить дружбу и скрыть тоску в своем сердце.

Завтра, после того как я заставлю своих любовников написать несколько писем, я стану веселее, а благоразумие мое может вывести из себя даже святого.

ГАНСКОЙ

Милан, 23 мая 1838 г.

Дорогая, я болен тоской по родине. Под великолепным синим небом Милана я вспоминаю Францию и наше почти всегда серенькое небо, и от этого воспоминания щемит сердце. Украшенный тонкой резьбой Duomo оставляет меня равнодушным; Альпы также ничего не говорят моей душе. Здешний воздух, какой-то вялый и пряный, порождает во мне ощущение разбитости; я слоняюсь без цели и смысла, не умея объяснить самому себе, что творится со мною; если так будет продолжаться еще две недели,— я погиб! Объяснить это невозможно. Хлеб, который я ем, кажется мне пресным, мясо не насыщает; вода почти не утоляет жажду; воздух расслаб-

ляет. На самую прелестную женщину я смотрю так, словно она чудовище, я даже не испытываю того чувства, какое дает созерцание цветка. Работа заброшена. Я мечтаю вновь очутиться по ту сторону Альп, я надеюсь быть через неделю в самом сердце дорогого мне ада. Что за ужасная болезнь ностальгия! Она непостижима, она не поддается описанию. Я бываю счастлив лишь в те минуты, когда пишу вам, когда вспоминаю, что исписанный мною листок бумаги попадет из Милана в Верховню; лишь тогда мрачное мое существование заливают яркие лучи солнца, исчезает безучастность, ослабляющая все нити жизни. Только письма к вам поддерживают во мне бодрость духа.

ГАНСКОЙ

Жарди, 10 октября 1838 г.

Вот уже около семи лет каждый раз, когда я читал произведения, в которых речь шла о Наполеоне, и находил в них новую и поражающую воображение мысль, высказанную им, я тотчас же записывал ее в большую конторскую книгу. Она постоянно лежит на моем письменном столе поверх знакомой вам книжечки, куда я вношу наброски сюжетов и свои первоначальные замыслы; эта книжечка — увы! — быть может, скоро будет навсегда принадлежать вам. В один из дней жестокой нужды (это было совсем недавно), оставшись без денег, я поинтересовался, сколько набралось у меня записей о Наполеоне. Их оказалось пятьсот. И вот — самая великолепная книга нашего времени: я имею в виду издание «Мыслей и изречений Наполеона». Я продал свой труд бывшему торговцу вязаными изделиями, который крепко связан с властями своего округа и слывет там важной особой; он жаждет получить орден Почетного легиона и добьется его, посвятив эту книгу Луи-Филиппу. Она вскоре появится; достаньте ее себе. Вы станете обладательницей одного из самых замечательных произведений наших дней: мысли, душа великого человека после долгих разысканий раскрыты в ней вашим мужиком Оноре де Бальзаком. Ничто еще не заставляло меня так смеять-

ся, как мысль, что я доставлю орден одному из породы лавочников, который, чего доброго, будет представлен вашей Милости, ибо он занимает пост председателя какого-то благотворительного комитета. Наполеон принесет мне четыре тысячи франков, а торговец вязаными колпаками сумеет заработать на нем тысяч сто. У меня так мало уверенности в себе, что я не решился попробовать извлечь выгоду из собственной идеи. И слава и прибыль достанутся торгашу. Вы узнаете руку своего раба в посвящении Луи-Филиппу. Да простит меня тень Наполеона!

АНРИ БЕЙЛЮ

Вилль-д'Аврэ, 20 марта 1839 г.

Сударь,

Я уже прочел опубликованный в «Конституционеле» отрывок из «Обители», который ввел меня в грех зависти. Да, я испытывал чувство зависти, читая великолепное и правдивое описание битвы,— такое, о котором я мечтал для «Сцен военной жизни», самого трудного раздела моего творения; этот отрывок привел меня в восторг, огорчил, восхитил, поверг в отчаяние. Чистосердечно признаюсь в этом. Созданная вами картина достойна Боргоньона и Вувермана, Сальватора Роза и Вальтера Скотта. Поэтому не удивляйтесь, что я, не задумываясь, принимаю ваше предложение и посылаю за книгой; можете быть уверены, что я откровенно выскажу вам свое мнение. Прочитанный мною отрывок сделает меня требовательным. Но, имея дело с вами, можно почти без опасений заранее поручиться, что произведение будет примечательным.

Я читатель настолько непосредственный, так легко поддающийся очарованию, столь снисходительный, что мне невозможно высказывать свое мнение сразу после чтения; я — самый доброжелательный критик на свете и охотно прощаю пятна на солнце; способность к хладнокровному суждению возвращается ко мне лишь несколько дней спустя.

Тысяча дружеских приветов.

АНРИ БЕЙЛЮ

Вилль-д'Аврэ, 6 апреля 1839 г.

Сударь!

Никогда не следует запаздывать, если хочешь доставить удовольствие тем, кто доставил удовольствие тебе. «Обитель» — великая и прекрасная книга; говорю это без лести, без зависти, ибо я был бы неспособен написать ее, а то, что не является нашим ремеслом, можно хвалить от души. Я пишу фрески,— вы же изваяли итальянские статуи. Во всем, чем мы вам обязаны, есть *движение вперед*. Вы помните, что я говорил вам о «Красном и черном»? Так вот, здесь все оригинально и ново.

Моя хвала безоговорочна и искренна. Я с особым удовольствием пишу вам эти строки, ибо вижу, сколько писателей, слывущих мастерами, впали в состояние полной литературной и старческой немощи.

А теперь вот вам мои не критические замечания, а пожелания.

Вы совершили ошибку, написав «Парма»; не нужно было называть ни *государство*, ни *город*, предоставив воображению читателя угадать князя Моденского и его министра или любого другого политического деятеля. Никогда Гофман не изменял этому закону, этому правилу романа, не знающему исключений,— даже он, самый фантастический из писателей! Оставьте в реальной обстановке некоторую неопределенность, и все станет реально; услышав слово «Парма», никто не согласится с вами.

Есть длинноты, я вас за них не порицаю, замечание это не касается людей умных, выдающихся — они за вас, это им нравится; но я имею в виду pecus [1], его это оттолкнет. После первого тома длиннот уже нет. Дальше все выражено с полной ясностью. Ах! Это прекрасно, как все итальянское, и если бы Макьявелли написал в наши дни роман, это была бы «Обитель».

Немного в своей жизни я написал хвалебных писем, поэтому можете верить тому, что мне так приятно высказать. Если превосходство вашей книги над другими позволит вам увидеть вскоре второе издание, нужно будет иметь мужество перенести в конец некоторые необ-

[1] Здесь — в смысле «глупец» *(лат.)*.

ходимые рассуждения и уничтожить длинноты в начале. А в конце действие разворачивается слишком быстро в противоположность эпическому великолепию Тассо. Затем не хватает физической стороны в обрисовке некоторых персонажей, но это пустяки,— несколько мазков.

Вы выразили душу Италии.

Как видите, я не сержусь на вас за ту неправду, которую вы написали на моем экземпляре, хотя тогда на мой лоб и набежали тучки; я не опасаюсь, что вы сочли меня ограниченным человеком, но я все же знаю, чего мне не хватает, и вы это знаете также; об этом-то и нужно говорить мне. Вы видите, я обращаюсь с вами, как с другом.

ГАНСКОЙ

Жарди, декабрь 1839 г.

Я потрясен. Только что нашел письмо, которое и прикладываю к этому. Я думал, что это письмо давно уже отправлено, но в хлопотах оно попало под чистые листы «Пьеретты». Закончив «Пьеретту», я убирал на своем бюро и увидел письмо, которое давно должно было быть у вас. Теперь я понимаю, почему вы мне больше не пишете. Вы, наверное, думаете, что я умер и меня похоронили. Вчера моему авторскому самолюбию было нанесено жестокое оскорбление. Газета «Сьекль» отказалась печатать «Пьеретту». Уверю вас, что это — жемчужина, выстраданная во время моих несчастий, ведь я весь — страдание. Не удивительно, что, думая отправить вам письмо, я забыл его на бюро. Я забываю даже жить.

Я баллотировался в Академию (мне предстояло нанести тридцать девять визитов!). Сегодня я снял свою кандидатуру в пользу Виктора Гюго, посылаю вам его автограф по этому поводу *.

---

* Вот это письмо:

Секретно.

Поскольку вы хотели обо всем узнать лично от меня, спешу сообщить, что со вчерашнего вечера обстоятельства изменились в мою пользу. Я буду баллотироваться, но, ради бога, поверьте мне, вы не должны снимать свою кандидатуру. Вы знаете мое отношение к этому вопросу. Тысячи дружеских пожеланий.

Виктор Гюго.

Я работаю восемнадцать часов в сутки и сплю шесть; работаю, когда ем, и мне кажется, что не прекращаю работать даже и во сне,— не раз, оставив до пробуждения какое-нибудь трудное место, я, проснувшись, легко с ним справлялся, так что мой мозг работает даже, когда я сплю. Надеюсь все же при первой передышке поехать в Берлин, в Дрезден и к вам.

У меня было тринадцать корректур «Пьеретты», одна вслед за другой,— иными словами, я ее переделывал тринадцать раз. Семнадцать раз переделывал «Цезаря Бирото». «Пьеретту» закончил за десять дней, судите сами, сколько я работал, тем более что мне приходилось заниматься не только ею одной.

Я превратился в некое подобие паровой машины, но, к несчастью, у этой машины есть сердце, оно страдает, отзывается на все происходящее вокруг, его многое огорчает, ранит, возбуждает, заставляет сильнее биться, многое ему причиняет боль. Ничто больше не может утешить меня, горькая чаша испита до дна. Я не верю больше в счастливое будущее и бреду вперед, ведомый лишь суровой рукой долга.

Отчаявшийся и исстрадавшийся, я протягиваю вам издалека руку и желаю вам всегда сохранить хорошую, тихую и спокойную жизнь. Знаете ли вы, что, думая о ней, я душевно отдыхаю.

Да, сгибаясь под своей ношей, я нередко воображаю, что я у вас, несколько недель живу в этом оазисе Украины без всяких забот, во всяком случае, без неприятностей.

Тысячи наилучших пожеланий всем вашим близким. Верьте в вечную признательность вашего более чем обычно несчастного крепостного мужика от литературы.

ГАНСКОЙ

Париж, 15 марта 1840 г.

Я вернулся от Жорж Санд, она никогда не видела графа Адама Ржевусского и ничего о нем не слышала. Я расспрашивал ее и допытывался с большой настойчивостью. Вот уже три года, как ее близким другом является пианист Шопен. Вы понимаете, что прославлен-

ный поляк, помнивший Леонса и его брата, мог бы запомнить и вашего дорогого Адама, к тому же Гржимайло, возлюбленный госпожи Z, Гуровский и все поляки, которыми она напичкана, знали бы, что тот Адам и есть Адам Ржевусский.

Не подавайте виду, что вам все известно, иначе вы мне создадите врагов, так как все люди становятся злыми, если затронешь их самолюбие. В прошлом году Жорж Санд не выезжала из Парижа. Она живет на улице Пигаль 16, в глубине сада, позади каретного сарая и конюшен дома, выходящего фасадом на улицу. В столовой у нее мебель резного дуба. Ее маленькая гостиная цвета кофе с молоком, а гостиная, в которой она принимает, уставлена прекрасными китайскими вазами, полными цветов. Цветы всегда и в жардиньерке, на мебели зеленая обивка, в горке масса всевозможных редкостей, на стене висят картины Делакруа и ее портрет работы Каламатта.

Расспросите вашего брата и узнаете, видел ли он все это. Оно так бросается в глаза, что не заметить его нельзя.

В гостиной стоит прекрасный большой рояль палисандрового дерева. За ним обычно сидит Шопен. Жорж Санд курит теперь только *пахитоски* и ничего другого. Встает она в четыре часа пополудни, когда Шопен заканчивает занятия с учениками. В ее комнату ведет крутая лестница, которую называют здесь *мельничной*.

Спальня ее коричневого цвета, спит она на турецкий манер на двух матрацах, лежащих прямо на полу. Ecco contessa![1] У нее красивые маленькие-малюсенькие детские руки. В столовой висит поясной портрет возлюбленного госпожи Z., изображенного в виде польского магната.

Больше, пожалуй, у нее ничто не привлекает внимания. Если ваш брат выпутается из всего этого, вы узнаете правду. Но не дайте себя провести. Ох уж эти мне путешественники! Если бы вы только знали, сколько бывает Бальзаков на парижских карнавалах и публичных балах! Сколько мне приписывается приключений! В этом году я славно перехитрил всех: я ни разу нигде не был.

---

[1] Так вот, графиня! *(итал.)*

Тороплюсь отослать вам это письмо, чтобы подтвердить получение вашего и заверить вас, что мое желание приехать за это время только возросло.

Ваш брат прав лишь в одном: в Париже действительно необыкновенная атмосфера, идеи там так и носятся в воздухе. Каждый день и каждый час возникает что-нибудь новое, но если человек попадает на бульвары,— он погиб, его закружит вихрь развлечений.

ГАНСКОЙ

Париж, март 1840 г.

Я в постели, в доме сестры. Заболел я на следующий день после первого представления «Вотрена» и поднялся только сегодня — впервые за десять дней. За мной здесь заботливо ухаживали. Болезнь моя, которая теперь уже подходит к концу, оказалась приступом мозговой невралгии; в поезде меня продуло, и в том душевном состоянии, в каком я тогда находился, это, естественно, должно было вызвать ужасную лихорадку и жестокие невралгические боли.

Вам уже, несомненно, известно, что «Вотрен», к несчастью, был запрещен Луи-Филиппом; он усмотрел карикатуру на свою особу в четвертом акте пьесы, где Фредерик Лемэтр создал образ посла Мексики. Так что я могу рассказать вам лишь о единственном представлении. К сожалению, директор Порт-Сен-Мартена был вынужден продать значительную часть мест никому не известным иностранцам; немало мест занимали мои недруги — журналисты, и лишь около трети — мои друзья, друзья актеров и директора. Я ожидал резко выраженного противодействия; но вопреки стараниям наших противников стало ясно, что нам обеспечен крупный денежный успех. Именно этого я желал и для театра и для себя, как вдруг последовало запрещение. И вот я, считавший себя в воскресенье обладателем шестидесяти тысяч франков, в понедельник оказался ни с чем; со всеми денежными волнениями было покончено, а мое положение сделалось еще более опасным. Виктор Гюго поехал вместе со мной к министру, и мы убедились, что тот не играл никакой роли в запрещении пьесы: все сделал

Луи-Филипп. В этих обстоятельствах — и во время представления и у министра — поведение Гюго во всем было поведением настоящего друга, мужественного и преданного; когда он узнал, что я болен, то приехал проведать меня. За мной трогательно ухаживали Жорж Санд и г-жа де Жирарден. Фредерик был величествен. Но намеренное сходство созданного им образа с Луи-Филиппом было, возможно, выпадом с его стороны, направленным против директора Порт-Сен-Мартена, Ареля, падения которого он желал, чтобы самому занять его место. Это пока еще остается для меня тайной. Но так или иначе — несчастье произошло. Я нахожусь в более бедственном положении, чем когда бы то ни было. Доктор Наккар упорно настаивает на шестинедельном путешествии. Быть может, я приеду к вам.

Теперь о том, что произошло дальше. Журналисты вели себя подло: они утверждали, что пьеса возмущает своей безнравственностью. Скажу вам только одно: прочтите ее сами! Она, может быть, и не очень хороша, но в высшей степени нравственна. Между тем министерство, чтобы скрыть, по-видимому, королевскую ярость, избрало в качестве предлога для запрета пьесы ее безнравственность; это и жестоко и трусливо. Вы можете быть уверены в том, что я теперь перейду в грозное наступление против этого шаткого трона, за который и гроша ломаного не дам. Я стану соратником и надежным помощником г-на де Корменена, и вы скоро увидите результаты моего перехода от состояния мира к состоянию войны. Я буду действовать без отдыха и срока, пока мне не удастся вонзить...

ГАНСКОЙ

Париж, май 1840 г.

Ничто не рисует мою жизнь лучше, чем это оборванное письмо. Лишь через шесть недель удается мне закончить фразу в письме, оставшемся недописанным на моем столе, ибо до сих пор мне некогда было подумать о нем. Вот конец этой фразы: «...стальные когти в сердце!» Я продолжаю свой рассказ.

Меня посетили и предложили для начала пять тысяч

франков в виде возмещения за понесенные убытки. Я покраснел до корней волос и ответил, что не принимаю милостыни; что за те годы, когда я создал двенадцать или пятнадцать прекрасных произведений, которыми внесу свою лепту в сокровищницу славы Франции XIX столетия, я приобрел двести тысяч франков долгу; что в продолжение трех месяцев я только и делал, что репетировал «Вотрена», а в эти три месяца я мог бы заработать двадцать пять тысяч франков; что меня по пятам преследует свора кредиторов, но раз я не могу удовлетворить их всех, мне совершенно безразлично, будут ли меня терзать пятьдесят или сто человек: чтобы противостоять им, потребуется одинаковое мужество.

Каве, директор департамента Изящных искусств, удалился, как он сам об этом сказал, полный уважения и восхищения. «Вот первый случай,— заявил он мне,— когда я сталкиваюсь с отказом». «Тем хуже»,— ответил я.

С тех пор как я написал вам две страницы предыдущего письма и вплоть до сегодняшнего дня, я вел жизнь затравленного оленя. С помощью друзей я вернулся в Париж. И теперь, без гроша за душой, намерен возобновить борьбу. Фредерик хочет собрать несколько актеров; мне предоставлена возможность написать новую пьесу в пяти актах для одного из закрытых театров; через шесть недель мы снова появимся, и тогда — посмотрим!

ГАНСКОЙ

Июнь 1841 г.

Дорогая графиня!

Совершенно не понимаю причины вашего молчания. Вот уже несколько дней безуспешно жду ответа. После вашего последнего письма я написал вам уже дважды. Опасения и неуверенность охватывают меня во время работы. Я бросаю писать, спрашивая себя, что с вами и что вы делаете. Может быть, вас не было в Верховне, быть может, вы только что приехали. Я ужасно страдаю, и в моей трудной жизни мысль о вас преследует меня и подчиняет себе все. Она вселяет в меня поистине страшную тревогу, ибо касается чувства, которым я живу.

Я уже вкратце рассказывал вам, что я сделал, как выпутался из затруднительного положения. Моральная и физическая усталость, вызванная всеми этими делами, заставила меня совершить небольшое двухнедельное путешествие по Бретани в апреле — начале мая. Вернулся я совсем больным. Весь конец мая провел в ванной комнате, принимая ежедневно трехчасовую ванну, чтобы приостановить грозившее мне воспаление печени. Теперь сижу на изнуряющей диете, которая меня совершенно ослабила и поэтому ничем мне не помогла.

Я не мог работать, у меня не было сил, до начала этого месяца я жил приятной жизнью устрицы. Но как только доктор Наккар успокоился, я принялся наконец за работу и только что закончил «Воспоминания двух молодых жен» и «Урсулу Мируэ». Вы скоро сможете прочитать это произведение для избранных. Теперь я примусь за книгу на премию Монтиона.

Рассказать вам мою жизнь, дорогая, это значит перечислить все мои работы, и какие работы! Издание «Человеческой комедии» (таково название всего моего труда, отдельными фрагментами которого были ранее написанные вещи) потребует два года и будет состоять из пятисот листов, напечатанных убористым шрифтом, и мне надо будет трижды их перечитать! Это все равно, что прочитать полторы тысячи листов убористой печати, причем это не должно задержать выхода в свет моих очередных произведений. Издатели решили дать в каждом томе иллюстрации. Полный пересмотр всех моих работ, их классификация, завершение отдельных частей задуманного здания — все это делает мою работу всепоглощающей. Только мне одному понятна сейчас вся ее трудность.

Дорогая, вот что я закончу в этом году: Primo: «Сельского священника», Secondo: «Темное дело», Tertio: «Кальвиниста-мученика», Quatro: «Баламутку», Quinto: «Урсулу Мируэ», Sexsto: книгу на Монтионовскую премию. Кроме этих десяти томов, я написал еще два тома отдельных статей. Чтобы иметь деньги на жизнь, мне нужно написать еще два романа, необходимых для первой части моего издания «Сцен частной жизни». Сцены эти должны состоять из двадцати произведений. В общем, за год напишу восемнадцать томов. Вам

понятно, что моя жизнь заключается лишь в чернилах, гранках и творческих муках. Я очень мало сплю. Мне кажется, что, как Митридат, я погибну от кофе. Если поверенный успокоит меня по поводу моих дел, я думаю, что смогу уехать в сентябре или октябре и на несколько дней приехать к вам. Все всецело зависит от моей работы. Все, что я получаю от издателей, поступает к моему поверенному для уплаты долга, а живу я только на гонорар от произведений, печатающихся в газетах.

Судите сами, как трудно работать на двух хозяев, когда тебя подгоняют необходимость и долги!

ГАНСКОЙ

Париж, сентябрь 1841 г.

Дорогая графиня,

Вот уже десять месяцев, как я не получаю от вас писем. Я вам пишу уже пятое письмо, не имея ответа. Мало сказать, что я тревожусь, я просто не знаю, что и думать. На этот раз у меня хорошие новости:

Primo: наконец-то я расплатился с долгом, отравлявшим мне жизнь и парализовавшим все мои усилия. Уплачено сто тысяч франков людям, с которыми я подписал роковой контракт 1836 года.

Secondo: дом в Жарди продан другу, он мне его сохранит.

Tertio: никто меня больше не будет терзать, мои долги остановились на определенной цифре. Я больше ничего не трачу и через восемнадцать месяцев выплачу все, если только позволят мне силы и здоровье.

Quatro: три издательских фирмы — Дюбоше, Фюрн, Этцель и Полен — объединились и предпринимают иллюстрированное издание всех моих произведений большим тиражом и по необычайно дешевой цене. «Человеческая комедия» появится, наконец-то, прекрасная, исправленная и почти полная. Мои произведения можно будет купить, в то время как теперь никто не знает, где их достать, да они и очень дороги. Они стоят теперь триста франков, а тогда за лучшее издание надо будет заплатить не больше восьмидесяти. Одно это издание сможет покрыть все мои долги. Но я особенно не рассчитываю на это, а только на свое перо, на свои новые произведения.

К слову сказать, только за этот год я напечатал тридцать тысяч строк в газетах. В 1842 году я опубликую тысяч сорок, и если мне заплатят по три франка за строку, то полученной суммой я оплачу все свои долги. Кроме того, у меня готова пятиактная пьеса для Французского театра, да есть еще комедия «Меркаде», которую уже приняли. Всего за этот год я написал шестнадцать томов!

Если мою комедию поставят, я поеду в Германию и к вам, и вы мне объясните, за что вы наложили на меня епитимью и лишили хлеба насущного. У меня было столько хлопот в связи с продажей Жарди и с издательскими делами, мне нужно было так много сделать, что, понимая всю *необходимость* поездки, я все же не мог урвать для нее ни времени, ни денег. Теперь я смогу уехать только, когда подготовлю к печати несколько томов, чтобы от моего отсутствия не пострадало издание полного собрания сочинений. Мне надо еще дополнить схему. Не хватает нескольких произведений в «Сценах частной и парижской жизни». Что же касается «Сцен политической, военной и деревенской жизни», то там надо дописать еще две трети. Я должен все это закончить за семь лет, иначе никогда не завершу «Человеческую комедию» (таково название моей истории общества, изображенного в действии).

Но я страдаю не столько от этих забот, дел, *непрекращающихся неприятностей*, сколько от вашего молчания, и эта боль с каждым днем делается все острее. Теперь я уже не ищу причин вашего молчания, я просто жду. Я понял, что, оставаясь во Франции, я смогу выпутаться из дел благодаря преданности моего поверенного Гаво, члена парижской коллегии адвокатов, но что к его помощи в денежных делах необходимо присоединить осязательные результаты моей работы. Тогда я удвоил решимость и пожертвовал поездкой к вам, но сейчас же известил вас об этом письмом и поделился с вами своими надеждами. В этом году я сделал первый шаг к успеху. Я добьюсь победы... хотя бы перед смертью, но мой последний взгляд увидит спасающихся бегством римлян.

Какими словами рассказать вам о том леденящем холоде, что сжимал мое сердце во время этих напряженных битв. Я не мог ни жаловаться, ни писать вам, мне остава-

лось лишь страдать. Какими только причинами не объяснял я себе ваше молчание, но все они были обидными и оскорбительными для меня.

С тревогой жду от вас хотя бы слова. Письмо это отправляю в сентябре. Вы его получите в октябре или ноябре, так что раньше января я не могу ждать ответа.

Целых пять месяцев неуверенности, опасений, а моя жизнь и так ужасна, лихорадочна, напряжена до крайности. Ведь я создаю целый мир.

Сможете ли вы понять страдания борющегося Прометея, сердце которого разрывает невидимый для посторонних глаз жестокий коршун.

Бывают минуты, когда я даже не знаю, что и подумать, чтобы объяснить себе ваше молчание.

Я перебрал мысленно всевозможные причины его, и каждая кажется мне горше другой.

В этом году я спал не больше двухсот ночей. И чтобы завоевать себе свободу, в будущем надо все повторить снова. Люди правы, делая из свободы священного идола!

Ну все же прощайте! Посылаю вам тысячи воспоминаний и бесконечную нежность. Напомните обо мне всем, кто меня знает среди ваших близких. Г-ну Ганскому я посвящаю одну из книг «Человеческой комедии».

«Воспоминания двух молодых жен» появятся через десять дней. Мой адрес прежний: Г-ну де Брюньоль, улица Бас 19, Пасси, департамент Сены.

ГАНСКОЙ

Пасси, 20 апреля 1842 г.

Я все еще испытываю невралгические боли в голове из-за злосчастного зуба, который начал портиться, а также, быть может, вследствие бесконечных огорчений, доставленных мне «Кинолой». Рассчитывать на две тысячи червонцев и не получить даже трехсот — это для меня непоправимое несчастье, особенно при том состоянии изнеможения, в котором находится мой мозг. Меня охватывает непреодолимая тоска при мысли, что надо приниматься за работу; я постоянно колеблюсь; я больше не ощущаю в себе той свежести, той живости мысли, которые были мне свойственны лет десять назад. И это вполне естественно. Мне нужен отдых, чтобы освежить мозг, но

чтобы отдохнуть, надо путешествовать, но чтобы путешествовать, нужны деньги, а чтобы иметь деньги, надо работать, творить и т. д. Словом, я нахожусь в порочном круге, откуда мне невозможно выбраться.

Моя матушка проявляет ко мне еще больше жестокости, чем обычно; из-за нее я бы совсем потерял голову, если б голова моя не была так крепка.

«Надежды Кинолы» появились у Суверена с ангельски кротким предисловием. И все же они тотчас сделались предметом новых страшных нападок со стороны большинства газет. Этот удвоенный поток ненависти, оскорблений и клеветы, обрушенный на человека бедного, на труженика, скромно живущего в своем углу,— одно из самых любопытных зрелищ, которые являет нам литературный мир. Особенно злобствуют по поводу моего характера, его стремятся всячески опорочить. В довершение всего в журнале «Ревю Эндепандант», издающемся Ж[орж] Санд, появилась, без ее ведома, отвратительная статейка, что побудило ее написать мне письмо на четырех страницах, в котором она приносит извинения за свою невнимательность. Я отправился к ней, желая объяснить, в какой степени несправедливость идет на пользу таланту. Она сказала, что хочет посвятить моему творчеству большую критическую работу, и я пытался отговорить ее, указав, что она вызовет страшную ненависть к себе. Она, однако, настаивала, и тогда я попросил ее написать предисловие к «Человеческой комедии» (таково общее заглавие собрания моих сочинений), предоставив ей время для принятия окончательного решения. Затем я снова побывал у нее. Хорошенько поразмыслив, она выразила согласие и намеревается дать исчерпывающую оценку моих произведений, моего замысла, моей жизни и характера; это явится ответом на все низости, которые пишут по моему поводу. Она хочет отомстить за меня, а когда она горячо воодушевлена, перо ее становится красноречивым. Мне придется поехать в ее поместье Ноан-Вик, куда она возвращается, и привезти ей все необходимые сведения. Одно только чтение моих произведений — немалый труд; они занимают много томов, и давно уже пора выпустить их в менее громоздком и более доступном для приобретения издании. Две первые заставки для «Человеческой комедии» прелестны. Ж[орж] Санд просит два месяца, чтобы закончить свою работу о моем творчестве.

В то время когда меня вновь преследуют, мой бедный Гаво также сделался объектом недостойного преследования; он — стряпчий города Парижа, и его положение вызывает зависть. Его хотели бы лишить этого звания и ищут предлога. Гаво очень несчастен, его бесконечно терзают, и я удручен, видя в печали одно из самых самоотверженных сердец, какие мне когда-нибудь доводилось встречать: он за последние десять лет вложил в мои дела, быть может, десять тысяч франков собственных денег. Увы! Почему мы столько страдаем?.. И за тех, кого любим, и из-за собственных горестей!

ГАНСКОЙ

Пасси, 21 апреля 1842 г.

Как я уже сообщал вам, в собрании Шарпантье переиздаются «Луи Ламбер» и «Серафита». Я только что получил первые листы корректуры. Эти произведения я исправлял уже семь раз; и вот я в восьмой раз тружусь над ними. Само собой разумеется, я имею в виду лишь работу для печати, ибо перечитывал я их раз сто. И что же: я обнаружил двенадцать погрешностей на тридцати шести страницах! Пусть себе говорят, что я загордился, но, право, у меня во время чтения были слезы на глазах.

Новый взрыв яростных нападок заставляет меня решительно отказаться от мысли опубликовать произведение, о котором я вам говорил: оно называется «Разлука», я хотел описать в нем семейные столкновения. Я намереваюсь дать в первом томе «Человеческой комедии» важный урок для *мужчины*, не примешивая к нему урока для *женщины;* я собираюсь также показать, как, придавая сначала слишком большое значение жизни в обществе, утомляя в ней и ум и сердце, люди в конце концов приходят к отказу от того, что им казалось некогда смыслом жизни. То будет «Луи Ламбер», однако в другой оболочке. Это небольшое, но важное произведение я назову «Альбер Саварюс»; мне хочется превратить его в прекрасную и поэтическую страницу, чтобы привести в ярость критиков. Мое единственное мщение всегда заключалось в том, чтобы отвечать на их лай каким-нибудь прекрасным произведением, и, создавая «Альбера Саварюса», я надеюсь создать такое произведение.

ГАНСКОЙ

Пасси, 21 ноября 1842 г.

Важная новость! Я обедал у Виктора Гюго, предупредившего, что цель этого обеда — познакомить меня с нашим прославленным скульптором Давидом, который хочет высечь из мрамора мой бюст огромного размера, чтобы присоединить его к скульптурным портретам Шатобриана, Виктора Гюго, Ламартина, Гете, Купера. Это для меня утешение во многих скорбях, дорогая графиня, ибо Давид и за сто тысяч франков не станет трудиться над бюстом какого-нибудь лавочника-министра вроде Кюнен-Гридена или Мартена и прочих. Он трижды отклонял предложение адъютанта Луи-Филиппа сделать скульптурное изображение самого короля. Но подумайте, что за совпадение! В то самое время, когда Давид уже в третий раз за последние пять лет возобновляет попытку добиться моего согласия позировать для него, Этекс, другой скульптор, пишет мне письмо, которое я вам пересылаю, где просит о том же. Давид не только первый среди наших скульпторов, он и обратился ко мне первым. Напишите же, что все это радует вас, и ваше короткое письмецо станет для меня дороже всех статуй мира. Ах, если бы это могло смягчить ваши горести! Скажите мне, что, чувствуя себя столь любимой, вы больше не испытываете ни горя, ни забот, но разве лишь чувство неудовлетворенности. О! Как я жажду освободиться от своих проклятых обязательств! Кому, как не вам, я могу признаться, что ста тысяч франков было бы достаточно для уплаты всех моих долгов; я вскоре сделался бы членом Академии и уже года через три был бы обеспечен до конца дней своих суммой в пятнадцать тысяч франков ежегодно! Все эти надежды драгоценны для меня лишь ради вас, ради вас, моя единственная мечта!

У меня сейчас возникла уверенность, что через два месяца я смогу оплатить стоимость Жарди и освободиться таким образом от ужасной ответственности, которую взвалил на плечи архитектора, на чье имя я вновь купил Жарди. Когда совершаешь сумасбродство, надо по крайней мере сохранить плоды, достигнутые такою ценой. Жарди обойдется не дешевле стоимости целого поместья,

и в первую минуту это ужасает; но если прикупить еще немного земли, то, вооружившись терпением, можно со временем сделать из него очаровательный уголок. Его можно будет превратить в *загородный дом Луизы де Шолье*, так как там нетрудно вырыть пруд. Жарди, дом в Париже и на двадцать четыре тысячи франков государственной ренты — может ли быть более великолепная жизнь на свете! Ведь я буду ежегодно получать от Института пятнадцать тысяч франков, и мое перо, если я стану работать всего лишь по шесть часов в день, всегда будет приносить мне двадцать тысяч франков в год еще добрых лет десять; это позволит мне скопить некоторую сумму.

Вы сказали мне, что «Альбер Саварюс» — творение мужчины; отчего бы вам не сказать тогда, что «Урсула Мируэ» — творение девочки?

Я сильно устаю и постоянно ощущаю нервное подергивание век, что меня очень тревожит, ибо я вижу в этом признак какого-то нервного заболевания. Мне крайне необходимо отдохнуть и рассеяться, но я не могу этого сделать, потому что надо работать! Если б вы знали, как трудно создавать такие произведения, как «Провинциальный депутат», где отсутствует элемент страсти! Попробуйте сделать драматичной и занимательной игру корыстных интересов!

Вы не описали мне, дорогая, как устроена ваша квартира; я вас не вижу, я вас не чувствую в домашней жизни! Если у вас есть часы, когда вы предоставлены самой себе, пишите мне! Расскажите, как проходит ваша жизнь. Надеюсь, мне удастся доставить вам приятный вечер: я не сомневаюсь, что Лист послушает моего совета и приедет к вам с визитом.

ГАНСКОЙ

Пасси, 21 декабря 1842 г.

С большим трудом начал я вновь работать; но все же я тружусь, тружусь вследствие непрерывного и все более свирепого давления со стороны моей супруги — Необходимости. Когда же я овдовею? «Депутат от Арси» начат. Я сделаю из него два романа; они станут исто-

рией — историей этой отвратительной буржуазии, которая вершит всеми делами. Это будет куда любопытнее, чем «Провинциальная знаменитость в Париже», ибо кухня палаты депутатов менее известна, чем литературная кухня, и затрагивает она большее число заинтересованных лиц. Надо нарисовать портрет *буржуа — политического деятеля.*

Не знаю, сможете ли вы себе когда-нибудь представить, что значит написать за двадцать пять дней триста пятьдесят листков моим почерком; это — крайнее напряжение, при котором рискуешь собственным здоровьем; однако оно необходимо. Я — в тисках, подобных тем, что заставляли Россини создавать свои оперы. Надеюсь, что мне удастся хорошо показать, какими различными путями устремляются из провинции в Париж поэты, дворяне и буржуа. «Музей древностей», «Депутат от Арси» и «Утраченные иллюзии», которые вместе составят два тома «Человеческой комедии», достойным образом изобразят нашу эпоху. Вы уже должны были получить в Петербурге первый том «Человеческой комедии» (я видел, как его упаковывали). И можете прочесть в нем «Предисловие», а также еще одну вещицу, которая вам незнакома. Она называется «Мнимая любовница»; это одна из тех новелл, которые настолько трудно создавать, что их немного встретишь в творчестве писателя. Я даже думаю, что мои издатели разослали и второй том. Если Шарпантье прислал вам «Луи Ламбера», прочтите это произведение в его новом одеянии. Вы уже должны были получить сейчас «Двух братьев», и трудно предположить, что Беллизар не поместил в своем «Ревю» «Злых деяний святого».

Помимо «Депутата от Арси», я чрезвычайно занят статьей, посвященной описанию различных особей и типов «Французской периодической печати», статьей, которая немало позабавит иностранцев.

Нежно целую тысячу раз. Мне еще необходимо сегодня поработать и попытаться придумать что-нибудь остроумное. Ведь Париж питается жареными мозгами.

Самая свежая новость — это представление пьесы Гюго под названием «Бургграфы». О ней говорят, как о наиболее лирическом его произведении. Но лирика на сцене

мало драматична, и Гюго начинает поступать так же, как поступал Расин, которого он презирает! В «Роше де Канкаль» Гюго привел в замешательство обедавшего с нами приезжего из России, заявив: «Я утверждаю, что Расин — человек посредственный, хотя знаю, что огорчу этим Бальзака, ибо он чтит Расина...» «И буду чтить до последнего вздоха,— ответил я ему,— ибо Расин — совершенство. Его «Береника» никогда не будет превзойдена; «Аталия» — самая романтическая из всех существующих пьес и самая смелая, а в «Федре» дана самая сильная трагическая роль театра нового времени».

Ну вот, я болтаю в то время, когда мне надо работать. Прощайте же, на сегодня довольно.

ГАНСКОЙ

Пасси, понедельник, 1 мая 1843 г.

Вчера своего *подопечного* навестил Гаво. Как всегда, он был очень заботлив. Мы говорили о моих делах. Гаво мучает ужасное предчувствие, что после всех этих невероятных трудов я свалюсь с ног. Я же, дорогая, совершенно уверен, что мой долг к июню уменьшится с двухсот пятидесяти тысяч франков до ста пятидесяти тысяч. Освободив свое перо, я заработаю с октября по май будущего года еще сто тысяч. Если объединить гонорары, которые я получу: 1) в газете, 2) от издателя, 3) за «Человеческую комедию» и за роман — один из тех десяти, уже начатых, что я должен написать для «Человеческой комедии» (около десяти тысяч франков),— то в общем все это и составит сто тысяч франков.

«Человеческая комедия» (благодаря России, где на нее большой спрос) становится выгодным делом. Ее продают все больше и больше. Уже разошлось тысяча восемьсот экземпляров. Было бы прекрасно, если бы удалось продать больше двух тысяч! А ведь мои издатели не потратили на объявления и двух су. Книги говорят сами за себя. Это мой большой триумф! Если издатели не поскупятся на хорошую рекламу, то тираж сможет подняться до шести тысяч экземпляров, и одна «Человеческая комедия» оплатит все мои долги, а когда

долги будут выплачены, я смогу получить еще сотню тысяч франков. Ах, ах, госпожа де Бальзак!

Мне нужно будет отдохнуть по крайней мере месяцев пять. «Давид Сешар», «Любовь старого банкира», «Госпожа де ла Шантери» и «Жена ученого» (чтобы покончить с моими обязательствами «Прессе») — эти пять работ, что мне надо закончить в мае,— доведут меня до полного изнеможения. Я уеду полумертвый.

Мой дорогой ангел, это, наверное, последнее письмо, что я вам пишу, так как во время такой сумасшедшей работы один час, потраченный на что-либо другое, кроме писания двухсот пятидесяти листов этих пяти произведений, может сорвать мой отъезд. А мне ведь еще предстоит править корректуру шестидесяти листов — двух томов «Человеческой комедии», не считая других неотложных дел. Это будет как бы вторым изданием тех дней, когда я писал «Бирото».

Ответьте мне: должен ли я привезти принадлежащие вам рукописи, которые составляют целую библиотеку и занимают огромный ящик? Мне необходимо это знать.

Дорогая моя, я уверен, что после этого последнего усилия, вернувшись из целительного путешествия, я обрету сверхчеловеческое мужество, чтобы расплатиться с долгами.

Завоевав свободу пера, я добьюсь и финансовой свободы и надеюсь, что уже недалек тот день, когда перо поможет мне составить *наше* состояние (*наше* состояние!), особенно если я буду по-прежнему жить столь же скромно и расчетливо, как теперь.

Леку (которому я отдал девяносто две тысячи франков) утверждает, что «Человеческая комедия» принесет мне семьсот тысяч в течение десяти лет, считая со дня ее окончания; а если удастся покончить с бельгийскими перепечатками, то эта сумма утроится. Раньше всего рассчитаемся со всеми. Еще пятнадцать тысяч дукатов, считая на польские деньги, и эта великая задача будет выполнена.

Продать Жарди трудно, но, быть может, выгоднее сдать дом внаем. Я поговорю об этом до отъезда с моим *опекуном* Гаво. Итак, завтра принимаюсь за работу. Если я не получу от вас письма в среду, 3 мая, то отправлю это в четверг, 4-го.

ГАНСКОЙ

Санкт-Петербург, август 1843 г.

Дорогая,

Одолжите мне первый том «Гете и Беттины»: в том, что я вам сейчас пишу, вы без труда обнаружите множество мыслей, возникших при пробуждении, которое было наполнено вами и расцвечено воспоминаниями о вчерашнем дне; посылаю вам тысячу нежных поцелуев.

ГЕТЕ И БЕТТИНА

То, что юная девушка влюбляется в великого человека, в поэта, в крупного полководца, которого она никогда не видела, явление настолько обычное, что любовь Беттины к Гете не может даже претендовать на исключительность. Все девицы в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет именно так и начинают свою жизнь, словно пробуя силы в проявлении нежности, которая должна эту жизнь заполнить. Если в восемнадцать лет не влюбляются в мужчину или в женщину, то восторгаются какой-нибудь страной, каким-нибудь явлением или образом, искусством, наукой или религией. Но мадмуазель Беттина Брентано этим не ограничилась: она написала Гете, увидела его, как выражаются биографы, in anno aetatis 62 [1], продолжала его любить после этой встречи — самое лестное из всего, чем мог насладиться патриарх,— а поэтому и писать ему письма. Отсюда их переписка, опубликованная сначала в Германии, где она произвела фурор, затем, в наши дни, переведенная во Франции. Милая Германия, бедная Франция!

У грозного рубежа, за которым интимное предается гласности, тайное становится явным, священное подвергается осмеянию,— в комнатке фактора типографии почтенная женщина, которая готовилась предать юную девушку, испытала угрызения совести: надо воздать ей должное. Она заявила: «Это книга для добрых, а не для злых», что означало: «Я совершаю дурной поступок, публикуя свои письма (что куда хуже, чем написать плохую книгу); пусть же все те, кто станет смеяться надо мною, прослывут людьми злыми, а те, кто сочтет мой по-

[1] В возрасте 62 лет *(лат.)*.

ступок хорошим и мои письма возвышенными,— людьми добрыми!»

Я со своей стороны добавлю: чрезвычайно хорошими, просто прекрасными людьми, и мне хотелось бы иметь их в числе своих друзей. Они так неприхотливы и нетребовательны! Но я готов немало простить божественной Беттине, и в числе прочего — скуку, которую она на меня навеяла, за ту восхитительную сжатость слога, с какой она резюмировала все авторские предисловия прошлого, настоящего и будущего: «Книга эта написана для людей добрых, а не для злых!» Эти десять слов, без сомнения, избавят нас раз и навсегда от предисловий, которые, по-моему, авторы всегда писали без всякого удовольствия. Нужно быть ей признательными за столь сжатую формулу, подобно тому, как мы признательны Карему за превосходный способ приготовления блюда, которое до него приготовлять было бесконечно скучно. Браво, Беттина! Лютер, Кальвин, эти неистовые фанатики, признали бы тебя своей последовательницей, даже не заглянув в исполненные глубокого неверия и пантеизма страницы твоей переписки! Я-то до сих пор считал себя человеком добрым, но вот стоило мне только открыть эту книгу, как я превратился в злого человека. Что за чудо! Одни лишь сибиллы были способны на столь ловкие проделки. О госпожа фон Арним, разве Беттина, немецкая проказница (вот два слова, которые буквально вопиют), поступила бы таким образом? Как бы она в этом случае посмеялась сама над собой! На чьей же стороне истина? На стороне мрачной г-жи фон Арним, которая говорит мне, как говорили в 1793 году: восторгайся или ступай в ад (братство или смерть),— или на стороне смеющейся юной девушки, которая брала чистый лист бумаги всякий раз, когда ей нечего было сказать.

Эта очаровательная фраза юной Беттины служит мне путеводной нитью в критике опубликованной ею переписки, ибо Беттина слишком уж часто брала чистый лист бумаги.

В том, что Гете мог сказать: «Опубликуйте после моей смерти эти письма»,— нет ничего удивительного. Все люди, и даже великий поэт, могут хотеть, чтобы их продолжали обожать и тогда, когда они отойдут в загроб-

ный мир. Но самое поразительное, что публикует письма сама г-жа фон Арним. Размышляя над этим кощунственным поступком, я нашел ему объяснение. Она несомненно придавала своей переписке важное *эстетическое* значение; ей хотелось также превратить свою переписку в пугало для юных девиц,— чтобы раз и навсегда помешать им предаваться первым и таким трогательным порывам восторженности,— показав пустоту и скуку, которые проистекают из подобных безрассудных поступков, когда они завершаются литературным произведением. В этом отношении нравственность многим обязана г-же фон Арним, и современные поэты, великие люди наших дней, на свое счастье или несчастье, потеряют немало обожательниц. И вправду, братья мои, говорю я вам: это издание — Варфоломеевская ночь для всех Беттин, которым вздумалось бы наводить на нас скуку своими чистыми листами бумаги.

Уже Мериме нанес «Двойной ошибкой» яростный удар головной любви. Но честь сразить это чудовище была уготована женщине. От удара кинжалом, полученного от Мериме, чудовище истекало кровью, но более ловкая г-жа фон Арним отравила его опиумом. Так что, как говорил я вчера, пародируя слова Одри в «Жонглерах»: «Это уже выходит за пределы литературы и относится к области фармакологии».

В самом деле, чтобы изображение любви (я разумею литературное изображение) сделалось произведением и к тому же произведением возвышенным (ибо в этом случае допустимо лишь возвышенное изображение), любовь, повествующая о себе, должна быть совершенной: она должна выступать в своей тройственной форме, захватывая мозг, сердце и тело; она должна быть одновременно духовной и чувственной, и изображать ее следует умно и поэтично.

Кто говорит «любовь», говорит «муки» — муки ожидания, борьбы, разлуки, размолвок. Любовь уже сама по себе — драма, возвышенная и патетическая. Счастливая любовь безмолвствует. Итак, причина скуки, которая щедро изливается со страниц этой книги, легко будет обнаружена любящей душой: Гете не любил Беттину. Поставьте на место Гете огромный камень, Сфинкс, которого никакими силами не извлечь из песков пустыни, и

письма Беттины прекрасно могли бы существовать. В противоположность легенде о Пигмалионе, чем больше пишет Беттина, тем более каменным становится Гете, тем более ледяными делаются его письма.

Конечно, если бы Беттина замечала, что ее листы падают на гранитную почву, если бы она приходила в ярость, впадала в отчаяние,— она создала бы поэму. Но нет, так как она и сама не любит Гете, так как Гете — лишь повод для писем, то она и продолжает их писать, продолжает вести свой девичий дневник, а нам приходилось читать куда более очаровательные (при этом отнюдь не предназначенные для печати) дневники, и не однажды, а десятки раз.

Есть в этой переписке один факт из области домашней жизни, который я склонен высоко ценить, ибо я порядком разочаровался в подтяжках, которые вышивают для нас самоотверженные любовницы, да и во всей восхитительной подарочной галантерее. О Гете! Да ты просто преступник! Письма Беттины сопровождались отменно теплыми жилетами, домашними туфлями и прочими милыми пустяками, которые женщины вышивают и изготовляют для своих возлюбленных, увы, равно, как и для своих мужей. Я надеялся, что с помощью попыток одеть Гете.., но нет: жилеты, как и проза, оказались малозажигательными. Однако — и на этот оттенок следует обратить внимание — Гете куда больше благодарит Беттину за жилеты, чем за письма, он выказывает значительно больше чувствительности к изделиям иглы, нежели к цветам ума. На все и вправду непостижимые теории Беттины по поводу музыки он отвечает ей: «Сумасбродка, сумасбродка!» Но по поводу жилетов, домашних туфель и всего, что она ему посылала, он говорит: «Милая Беттина, ты предстаешь со своими дарами, словно добрый ангел. Ты и на этот раз доставила нам огромное удовольствие, за что все тебя благодарят». Так что Беттина, как видите, всегда остается сумасбродкой, проказницей, пока она пишет об искусстве, и становится добрым ангелом, когда вышивает жилеты.

Гете был не только великий поэт, но и премилый шутник и очень тонкий критик. Шарль Нодье и тот не придумал бы ничего лучшего, чтобы посмеяться над какой-нибудь одна тысяча десятой музой Франции.

ГАНСКОЙ

Пасси, среда, 20 декабря 1843 г.

Работал мало. Виделся с Леку и говорил с ним относительно переизданий форматом 1/18 листа. Можно будет выпустить десяток томиков. Я хочу посвятить себя разработке лесных массивов своих сочинений, чтобы извлечь оттуда несколько тысячефранковых билетов. Думаю предложить Дидо осуществить роскошное издание первых трех десятков «Озорных рассказов» и выпустить в свет четвертый десяток, работа над которым сильно продвинулась. Моя заветная мысль — достать при помощи переизданий двенадцать тысяч пятьсот франков в уплату за Жарди и за счет новых работ уплатить десять тысяч франков *более чем обременительного долга*. Но деловые хлопоты отнимают у меня все время.

Все же я внес исправления в текст «Шуанов» для очередного, третьего издания. Решительно, это — великолепная поэма; я ее никогда не читал. Прошло десять лет с тех пор, как я вносил исправления в этот роман, когда он выходил вторым изданием. Я испытал удовольствие, прочитав, наконец, собственную книгу и составив о ней суждение. Здесь—весь Купер, и весь Вальтер Скотт, и сверх того — страсть и своеобразный дух, которых нет ни у одного из них. Чувство здесь возвышенно, и я понимаю теперь, почему у вас создался своего рода культ в отношении этой книги. Весь край и война обрисованы в ней превосходно,— так удачно, что я был поражен. Словом, я доволен.

Получил письмо от Бельжиозо, который близко связан с одной газетой; посылаю вам это письмо. Бельжиозо — католический писатель, папа внес его имя в список запрещенных авторов за его сочинение об «Отцах церкви».

Г-ЖЕ ***

1844 г.

Время посвящений прошло. Теперь писатель заменил проповедника, он облачился в хламиду мученика, он страдает от тысячи зол, он берет свет в алтаре и несет его в лоно народов: он князь, он нищий; он утешает, он проклинает, он просит, он пророчествует, его голос звучит не

только в соборе, он может порой прогреметь на весь мир, из конца в конец. Человечество, ставшее его паствой, слушает его поэмы и размышляет о них; одно слово, один стих весят сейчас на политических весах не меньше, чем некогда весила победа. Пресса организовала мысль, и мысль вскоре завладеет миром; листок бумаги, хрупкое орудие бессмертной идеи, может изменить лик земли. Жрец этой ужасной и величественной силы не восхваляет ни королей, ни великих мира сего; он получил свою миссию от бога; его сердце и ум объемлют мир и стремятся объединить народы в единую семью. Подлинное произведение искусства нельзя отметить гербом клана, отдать на забаву финансисту, продать продажной женщине; стихи, орошенные слезами, плоды трудов и бдений, поэт не бросит к ногам власти, он сам облечен властью.

Писателю принадлежат все формы творчества; ему — стрелы иронии, ему — нежные легкие слова, падающие мягко, как снег на вершины холмов, ему — театральные персонажи, ему — необъятные лабиринты сказок и вымыслов, ему — все цветы, ему — все шипы; он возлагает на себя все одежды, проникает в глубь всех сердец, испытывает все страсти, постигает все интересы. Душа писателя стремится к миру и отражает его. Книгопечатание приблизило к нему будущее, все выросло: кругозор, зрение, слово и человек.

Итак, я не написал посвящения, но все же послушался вас. Почему? Это я знаю и расскажу вам.

ГАНСКОЙ

Пасси, вторник, 6 февраля 1844 г.

Вчера мне пришлось побегать, ибо надо постараться, чтобы типограф напечатал «Мелких буржуа» за счет нового издателя. Я пришел к преемнику Гаво и там обнаружил вызов в суд от этого ужасного плута Локена. Нет никого нахальней мошенника! Он кричит: «Держи вора», чтобы послать на виселицу свою собственную жертву. Это вызвало у меня сильнейшее раздражение, а так как я был на ногах с трех часов утра, то почувствовал себя очень усталым. Я лег в шесть часов, с тем чтобы подняться в четыре. Вечером прибыл долгожданный *дневник*, я оставил его до пробуждения и только что прочел.

Однако все эти противоречивые переживания — одни доводящие до отчаяния, другие сладостные, если не сказать божественные,— очень плохо подействовали на меня. Я чувствую себя разбитым, а это бывает со мной не часто.

В девять часов утра я должен быть у Гаво, посоветоваться с г-ном Пикаром, его преемником, относительно дела Локена. Но чтобы явиться туда в девять, позавтракать нужно в семь. А я еще должен написать пять страничек для Этцеля, которые обещал ему дать сегодня утром, но отложил, решив подумать над ними после *спокойно проведенной ночи!* Нужна свежая голова, а у меня в голове все вверх дном.

Отвечаю вам кратко, что выражение «госпожа и подруга», которое мне не нравится, так же как и вам, будет уничтожено и дальше по ходу рассказа будет только «госпожа».

От Гаво я направлюсь еще к Жаниссе, потому что дело становится серьезным. Будьте добры, спросите у Валада, когда был в посольстве курьер, который выехал 10 декабря (по вашему стилю, у нас это было 22-е), и потребуйте ящичек, посланный на имя мадмуазель Борель г-ном Бретейлем из Парижа; в этом ящичке «Эстер». Его необходимо найти. Я не стану писать ответы, которые летят по почте, овеянные запахом нарцисса, распустившегося на моей жардиньерке. Г-жу Киселеву я не вижу, я обедал у нее и был с визитом. Вот и все.

Не огорчайтесь статьями в журналах: было бы даже плохо, если бы все шло по-другому. Во Франции писатель погиб, если его венчают при жизни. Проклятия, клевета, непризнание и т. д.— все это меня не страшит. Придет время, и люди узнают, что я жил только своим пером и в мой кошелек не попало ни одного незаработанного гроша, что и хвала и осуждение оставляли меня равнодушным, что я создавал свое творение среди криков ненависти, среди литературной перестрелки и строил его бестрепетной рукой.

Моя месть состоит в том, чтобы напечатать в «Деба» своих «Мелких буржуа» и снова заставить моих врагов сказать с яростью: «Мы думали, он уже опустошил свои запасы, а он написал шедевр». Это сказала госпожа Рейбо, когда прочла «Онорину» и «Давида Сешара».

Вы прочтете необычную комедию «Эстер», я пришлю ее вам после тщательной правки, и вы увидите парижский мир, который был и всегда будет вам неизвестен, совсем не похожий на вымышленный Париж «Парижских тайн», мир, в котором непрерывно разыгрывается комедия, мир, в котором писатель, по словам Жорж Санд, ударом бича срывает все завесы и лохмотья, прикрывающие язвы.

Какой это том, дорогая! В него включены «Банкирский дом Нусингена», «Пьер Грассу», «Тайны княгини Кадиньян» и «Любовь старого миллионера». Между нами, я горжусь этим томом. Вы увидите, что развращающее влияние испанского аббата было необходимо в книге, чтобы перейти к рассказу о жизни Люсьена в Париже, который кончится ужасающим самоубийством. Люсьен послужил нитью, позволившей мне описать журналистику. Теперь он послужит для описания живописного сословия содержанок: продажность тела, продажность ума! Затем последуют «Мелкие буржуа» и в заключение «Братья утешения». Тогда в моем Париже не будет только *Художников, Театра и Ученых*. Я опишу огромное современное чудовище со всех сторон.

Вот в общих чертах игра, которую я веду. Три человека заслужат бесконечную жизнь: Наполеон, Кювье, О'Коннель,— и я хочу быть четвертым. Первый жил жизнью Европы, он сросся с армиями! Второй объял земной шар! Третий воплотил в себе народ! Я отражу все общество в своей голове! Лучше уж жить так, чем повторять каждый вечер: «Пики, козырь, черви» — или раздумывать, почему госпожа такая-то поступила так или этак. Но будет во мне нечто более великое и счастливое, чем писатель,— это любовник! Моя любовь прекраснее, больше, совершеннее, чем все, что я сделал. Без такой полноты сердца я не выполнил бы и десятой доли своего произведения, не было бы у меня такого несокрушимого мужества. Почаще думайте об этом в минуты грусти, и по результатам работы вы поймете все величие моего замысла.

Ваш *дневник*, дорогая, я прочел с радостью и буду перечитывать его завтра. Уже шесть часов; хочу попробовать написать обещанные пустяки для Этцеля. Тысяча нежных приветов.

ГАНСКОЙ

Пасси, четверг, 29 февраля 1844 г.

Вчера я сидел за столом после того, как написал вам письмо, и у меня полилась кровь из носу. С трех часов ночи до трех часов дня я, не отрываясь, занимался правкой шести листов «Человеческой комедии» («Чиновники»),— мне нужно было вставить отрывки из «Физиологии чиновника»,— этой моей книжки вы не знаете. Такая работа почти равна тому, чтобы написать за двенадцать часов обычный том in octavo; она-то и довела меня до этого приступа. Кровь шла у меня носом со вчерашнего дня до нынешнего утра. Разумеется, для меня это благо. Утром я отправился за корректурой всего написанного для «Мелких буржуа». Типография, где они печатаются, помещается на хорах Сен-Жермен-де-Пре. Мне захотелось пройти через церковь, где расписывают сейчас купол, и там я помолился за вас перед алтарем богоматери. Когда я просил бога сохранить вам здоровье, слезы выступили у меня на глазах. Мысль моя устремилась к берегам Невы; быть может, вернувшись на землю, я унес с собой отблеск небесного престола, перед которым мы все простираемся, и этот луч обогреет вас. Как горячо я вас люблю!

На обратном пути я купил на набережной за четырнадцать су «Мемуары Лозена». Раньше я никогда не читал их. Я просмотрел их в омнибусе, возвращаясь в Пасси, где ваш Норэ водворился в своем кресле и в ожидании обеда пишет вам.

Какая низость со стороны человека, смелого, мужественного, наделенного чувствами, так бесчестить всех женщин, с которыми он был близок, да еще намекать, что он не пожелал любви Марии-Антуанетты! Да этот человек никогда не был любим. Вспомните, как покинула его княгиня Чарторыйская. Ужасно! Прочтя все это, я воскликнул, что счастлив лишь тот, кто любит одну-единственную женщину. Я настаиваю на моем мнении. Да и мнение ли это? Я люблю со всей силой разума, ибо изучаю вас с величайшим хладнокровием и прихожу к *разумному* выводу, что нет никого лучше вас. Но что сказать об этой одержимости, сейчас еще более властной, чем в 1833 году, о волнах крови, приливающих к сердцу при

одном взгляде на страницы этого дурацкого Топфера, который всю мою жизнь пролежит у меня на столе, об опьянении, которое охватывает меня при виде Даффингера? Ах! Вы не знаете, что сталось со мной, когда в глубине двора, в котором каждый камешек, каждая доска, каждый сарай врезались в мою память, я увидел в окне ваше лицо!.. Я потерял голову, я заговорил с вами в каком-то ошеломлении. Это ошеломление, подобное затишью бурного потока, который замер на мгновение, чтобы потом ринуться с новой силой, продолжалось два дня. «Что подумает она обо мне!» — как безумный, твердил я в ужасе. Нет, мой *волчишко*, я все еще не привык к своему счастью. Понадобятся годы. Ты могла в этом убедиться за эти два месяца: я уезжал в том же упоении, в каком был первый день. Из всех лиц, которые я видел, в памяти у меня не удержалось ни одно: все исчезло, не оставив следа; но я могу с точностью описать любую мелочь вашей обстановки, число ступенек на лестнице, цветочные горшки на лестничной площадке! От моей квартиры у г-жи Тардиф не осталось в памяти ничего! Ничего от Петербурга, разве только скамейка в Летнем саду, где мы сидели, ступени лестниц на Дворцовой набережной, где я подавал вам руку! О! Если б вы знали, как дорога мне ваша булавка, упавшая на гранит набережной! У меня на камине, в футляре из красного бархата, лежит листок плюща, вашего плюща, который пугал вас. А меня этот листок погружает в бесконечные грезы.

Госпожа де Брюньоль зовет меня обедать! Вот к чему привело чтение «Мемуаров Лозена»! До завтра.

ГАНСКОЙ

Пасси, среда 13 марта 1844 г.

Только что ушел Этцель. Он в восторге от моей мебели. Я же, дорогая, в восторге от другого. Я нашел изумительный буффонный сюжет для Фредерика (Леметра), нечто неслыханное, но у меня нет времени писать. Вот о чем идет речь: написать «Отставших от французской армии» в 1813—1814 годах, то есть описать изнанку войны, всю гниль, что тащится за армией. Создать пьесу, которая стала бы для эпохи Наполеона тем же, чем

был «Дон Кихот» для рыцарства, показать Сганарелей, Фронтенов, Маскарилей и Фигаро армии, всех, кого называют *проходимцами*, людей, которые любят говорить о войне, хотя за пятнадцать лет они ни разу не нюхали пороха. Они бегут от русских войск в Эльзас (я опишу их путь). Их преследуют и русские солдаты и французские жандармы. Это будет шутовская эпопея и с Фредериком (Леметром) в роли Ахилла в отрепьях славы, она принесет немало денег.

Признайтесь, дорогая, что мои головные боли закончились удачно, тем более, что написать такую комедию можно шутя. Завтра увижусь с Гозланом, он единственный человек, способный выдумать подобные фарсы. Я предложу ему еще одну хорошую комедию для Французского театра. Я пишу до пятнадцати страниц в день! До завтра.

ГАНСКОЙ

Пасси, четыре часа утра, 19 марта 1844 г.

Я решил дописать письмо после завтрака, но во время завтрака на меня обрушилась лавина гранок «Человеческой комедии». Уже четыре часа!

Я-то думал, что просижу немного, а очнулся только в четыре часа! Понадобилось шесть часов, чтобы все прочитать и выправить. Речь идет о «Чиновниках» («Выдающаяся женщина»). Столько изменений и добавлений, что, можно сказать, я заново написал книгу. И так ведь не только в гранках, но даже когда я перечитываю уже чистые листы этого издания,— опять многие страницы покрываются поправками. Окончательный текст, таким образом, будет подготовлен мной только к следующему изданию. И вот, вместо того, чтобы написать или переписать несколько листов новой рукописи, я потерял целый день! Разве это не ужасно! Я рассчитывал написать десять — пятнадцать страниц, но день уже погиб. Вместо того, чтобы отправить это письмо на почту, я теперь задержал его до завтра. Я оторвался от корректур, воскликнув: «Она будет ждать, она подумает, что я заболел!» Огонь в камине давно уже погас, я заметил это, лишь почувствовав холод, поползший по ногам.

Вот вам моя жизнь, или, вернее, набросок дня моей жизни.

До завтра. Я попрощаюсь с вами завтра, в среду, когда Гозлан придет обедать и принесет с собой план пьесы.

ГАНСКОЙ

Пасси, среда, 20 марта, девять часов утра 1844 г.

Милая, дорогая, ненаглядная, я встал в половине третьего и не заметил, что просидел до девяти. Я закончил «Чиновников» и написал необходимые письма. И вот я опять с вами, хочу попрощаться еще раз, сказать вам о моей безграничной нежности и поделиться своими огорчениями. Природа не выдерживает натиска моей силы воли: начали дергаться нервы глаз, и я чувствую их необычайную усталость. Когда я напишу несколько вещей, необходимых, чтобы дополнить первые двенадцать томов «Чел[овеческой] Ком[едии]», я, очевидно, вынужден буду бросить работу, и не на месяцы, а по крайней мере на год, иначе превращусь в никчемную рухлядь.

Меня слишком дергают: семья и др.— все доставляет мне невиданные огорчения. Это мучает меня больше, чем работа, но когда к этому прибавляются еще муки творчества, то это уже невыносимо. Я не могу ограничить свою работу, так как мои обязательства ужасны. Но знайте, дорогая и любимая, что всем я обязан только вам; без вас, без того, что нас соединяет, я уже не жил бы в этом мире. Знайте же, что вы — жизнь, надежда, поддержка и сила вашего Норэ. Пусть эта мысль, как вечное благословение, живет в ваших поступках, в вашем сердце, в вашей душе. Знайте же тайну счастья, что вы мне дарите, и пусть оно, приумножась, достигнет своего источника. Чувствуете ли вы мой взгляд, обращенный на север к вам, взгляд, ищущий вас, в то время, как мысль моя обнимает вас и отдается вам. Любите меня так же, как я люблю вас.

Прощайте, до завтра. Завтра начну новый *дневник*. Он будет тонким, так как у меня много работы. Легкость конверта будет для вас знàком, что я поглощен рукописями. О если бы вы только слышали все нежности, что я шепчу своей к(иске). Замолкаю, чтобы вас не смущать.

ГАНСКОЙ

Пасси, пятница, 19 июля 1844 г.

Возобновляя сегодня, дорогая графиня, свой *дневник*, я вспомнил то чувство радости, с которым в этот же день садился в дилижанс в Дюнкерке; ведь сегодня годовщина моего отъезда. Никогда у меня не было такого праздника, никогда надежда не дарила мне таких чудесных грез. Чтобы понять это, надо знать о Геркулесовых подвигах, что я тогда совершил. В один месяц я написал двадцать шесть листов «Человеческой комедии», это почти том, да еще какой том! Вы поймете это, прочитав в XI томе «Блеск и нищету куртизанок». Я верил тогда, что кончилась моя беспокойная жизнь, состоящая из неслыханных радостей и горестей. Я надеялся, что райские дни придут теперь на смену самой злосчастной юности, которая когда-либо выпадала на долю живого существа, и аду шестнадцати лет работы. И вот теперь работы у меня еще больше, чем в прошлом году, а надежды исчезли под крепом отчаяния. Этот год, как мне кажется, не принесет мне счастья и будет лишь заполнен работой. От этой каторжной жизни я слабею день ото дня. Меня поддерживает только неукротимое желание выплатить пятьдесят тысяч удручающего меня долга.

Утром я закончил «Модесту Миньон» и, когда вы будете читать ее в «Чел[овеческой] ком[едии]», вы увидите, что я исполнил свое обещание и что «Модеста» относится к лучшим моим созданиям. Третья часть, которую полностью вы сможете прочитать в вашей газете, по-моему, превосходна. В ней выражена вся истина гетевской истории Тассо. В сентябре я надеюсь поехать в Турень к господину де Маргонну подышать родным воздухом, там буду ждать от вас известий о дрезденской зиме, хотя и не очень верю, что получу их.

Потихоньку буду писать книгу «Театр без прикрас», которой и завершу свою работу над первыми двенадцатью томами «Человеческой комедии»; гонорар, полученный за них, поможет мне устроить мои дела.

Прощайте, прощайте, хотя я полностью никогда и не расстаюсь с вами, ведь вы — сердце моей жизни.

Надо бежать в типографию, *идти все вперед*, как учил Боссюэ.

ГАНСКОЙ

Пасси, суббота, 20 июля 1844 г.

Вчера и сегодня я во власти мрачных раздумий и сопоставлений. То, что я вчера написал вам, вызвало у меня тысячи удручающих мыслей: жизнь стала для меня тягостной. Я во власти безграничной тоски, которая знакома и вам, тоски, когда все кругом видится в черном цвете, и ни во что больше не веришь. Работа изматывает и, так как у меня нет никаких радостей, которые могли бы возместить опустошение, вызванное страшным напряжением мысли,— я чувствую пустоту в сердце. Я много читаю, чтобы отвлечь себя от пучины, в которой так легко погибнуть, если потеряешь спасительный канат надежды. После того, как я вновь вернулся к черному кофе, возобновилось дерганье глаз. Боюсь, что у меня не хватит сил, чтобы достигнуть цели; поймите, ведь монотонная *жизнь*, что я веду, заключается только в работе, и это невыносимо. У меня нет ничего заработанного, так как если я получаю тысячу франков, я ее не откладываю, а предпочитаю заплатить долг. Мне надо закончить три произведения: «Госпожу де ла Шантери», «Беатрису» и «Мелких буржуа», не считая «Крестьян» и романа «Блеск и нищета куртизанок». Когда я начинаю думать о всех своих обязательствах и долгах, сердце мое замирает. Мне необходимо отдохнуть года два, а чтобы это стало возможным, надо закончить все эти вещи, да еще «Театр без прикрас».

Не принимайте близко к сердцу все, что я вам пишу. Это вырвалось у меня, потому что мне послышался шум парохода, увозившего меня год тому назад.

Я так страдаю, моя жизнь так неотделима от этого счастья, приносящего мне лишь Танталовы муки, что порой мне кажется, что только один я люблю и умею любить.

Позаботился ли я о перчатках? Боже мой, я только и мечтаю теперь, чтобы *мой волчишко* получал бы от меня все свои ленты, платья, кружева, белье! Как радостно говорить себе: «Если она куда-нибудь пойдет, она наденет перчатки, что я выбрал, заказал для нее и т. д.».

Я хотел бы, чтобы это относилось ко всему. Надеюсь, вам понятно, что означают слова — *восемнадцать месяцев!*

Я не отвечаю за горестные последствия столь долгого ожидания. Вы видели меня спокойным и мягким, я и здесь такой же, но моя фантазия неудержимо разыгрывается, она может заставить меня разбить себе голову. Я уже не говорю о сердце. Оно там, где вы.

МОЛОДОМУ ДРАМАТУРГУ

Париж, 5 ноября 1844 г.

Сударь!

Я ответил бы вам раньше, если бы два легких недомогания, последовавшие одно за другим, не удержали меня в постели. Я получил ваш драматический набросок и прочел его с удовольствием; однако вам известно, что если публика восстает против драматической правдивости прозаических наших сочинений, то показать на сцене даже римлян такими, как они были, без ходуль, которыми наделили их великие гении, почти невозможно.

Я очень благодарен вам за все лестные слова, которые вы соблаговолили сказать о моих сочинениях, тем более что я не привык к такого рода любезности. Вечный труженик, изнемогающий в борьбе с препятствиями, не имеет времени продавать каждому встречному на грош восхвалений, чтобы получить взамен груду золота, именуемую славой; но, как бы ни был я занят, я всегда горячо откликаюсь на искренние, идущие от сердца слова, да еще потребовавшие таких хлопот, как писание писем. Имена, стоящие под ними, мне очень дороги. Вы позволите мне не принимать целиком столь блистательные похвалы, а дружески поблагодарить вас за чувство, которому я ими обязан. Я принадлежу к тем, кто говорит всем людям доброй воли: «Работайте! Мы-то ведь уходим, а дело нужно продолжать».

Примите же, сударь, уверение в лучших моих чувствах.

Г-ЖЕ ЗЮЛЬМЕ КАРРО

Январь 1845 г.

Дорогая!

Вы не пишете мне чуть не целых три месяца! Вы покидаете меня, когда я сгораю в пылу гигантской работы, которая лишь возрастает с каждым моим усилием. И не стыдно вам? Вчера я долго беседовал о вас с одним молодым учителем, который хотя и не был розой, но жил подле нее в Фрапеле, и мы сложили хвалебный гимн в вашу честь.

Вы не представляете себе, что такое «*Человеческая комедия*». В литературе это огромнее, чем Буржский собор в архитектуре. Я тружусь вот уж шестнадцать лет, мой дорогой неблагодарный друг, и нужно еще не меньше восьми лет, чтобы этот труд завершить! Как только будет закончено настоящее издание, я пошлю его вам, но при условии, что вы сожжете все книги, которые я давал вам раньше, они полны ошибок и недостойны предстать перед лицом такого небесного совершенства, как вы.

Борже приходит ко мне раз в год! В Гавре я встретил Периолà; ему уготована ниша в «Человеческой комедии», как и всем, кто будет мне хорошим другом, услужливым и обязательным. Через два месяца издание в шестнадцати томах будет закончено, а через месяц я отправлюсь на полгода в Германию; итак, это письмо почти прощальное.

Говорят, Иван прелестный мальчик, а Борже не привел его ко мне!..

Тысячи нежных пожеланий вам и дружеский привет майору.

Пожалейте меня; я работаю по шестнадцати часов в сутки и все еще должен более ста тысяч франков! И мне сорок пять лет! Вот что печально.

Когда я снову увижу вас в моей мастерской? Вы оставили в ней аромат ваших духов, и он будит тоску по вас.

Ну, прощайте!

ГАНСКОЙ

Пасси, четверг, 27 ноября 1845 г.

Никаких сведений о покупках из Амстердама. В мое отсутствие прибыло письмо от некоего судовладельца из Гавра, который просит меня о встрече. Я написал г-ну Периола, чтобы он осведомился о моем грузе и узнал, чего хочет судовладелец. В ответ получаю от него письмо: он сообщает, что о грузе ничего не известно, а судовладелец, оказывается, строит корабль и хочет назвать его «Бальзак». Периола настаивает, чтобы я написал судовладельцу любезное письмо, ибо тот преклоняется передо мной. Так что, *волчишко*, твой Норэ будет изображен на носу корабля, и все народы получат возможность лицезреть его толстую физиономию. Что ты на это скажешь?

Я уже отработал сегодня восемь часов: с двух ночи до десяти утра. После завтрака выходил из дому по разным делам. Пишу тебе перед обедом; в шесть часов вечера собираюсь лечь в постель, ибо сильно устал. Расстояния убивают меня.

Прочел в газетах объявление о продаже дома, приносящего восемь тысяч франков дохода; помещается он на Королевской площади. Я бы мог там поселиться (объявленная цена—сто двадцать пять тысяч франков). Подумываю об этом. Дом служил бы мне одновременно *жильем, источником дохода* и *имущественным цензом!* Но Королевская площадь — это еще хуже Пасси. Париж разрастается в определенном направлении и никогда не пойдет вспять.

Новости! Арель чертовски разъярен, и Карр — также. Очень боюсь за Дюма и Ламартина!.. Подают обед.

ГАНСКОЙ

Пасси, воскресенье, 14 декабря 1845 г.

Вчера, мой *волчишко*, я подробно осматривал Консьержери, видел камеру королевы (Марии-Антуанетты), камеры мадам Элизабет и, очевидно, вашей тетки. Это ужасно. Я все тщательно разглядел. Осмотр занял все утро, и я не успел зайти на улицу Дофине по поводу на-

секомых Жоржа. Случилось так, что когда я зашел в зал суда присяжных, там судили госпожу Коломес, племянницу маршала Сульта, женщину сорока пяти лет, которую я давно хотел увидеть. И вот на скамье подсудимых я увидел как бы живой портрет г-жи де Берни. Это меня потрясло. Она была без ума от одного молодого человека и ради него, чтобы достать ему деньги, которые он транжирил с актрисами театра Порт Сен-Мартен, пошла на *подлог*, продавая векселя с подделанными подписями. Она всю вину взяла на себя (он в бегах) и не позволила своему адвокату в чем-нибудь его обвинять.

Я никогда не слышал, как выступают адвокаты, и остался послушать Кремье, который очень хорошо ее защищал.

Чтобы раздобыть денег для своего возлюбленного, несчастная отдавалась ростовщикам, старикам!.. Кремье мне сказал, что она говорила своему любовнику: «Прошу тебя, обманывай меня, только так, чтобы я все же могла верить, что я любима». А ведь эта женщина — племянница брата маршала, жена депутата, главного инженера ведомства путей сообщения. Мне было так интересно видеть на скамье подсудимых настоящую героиню романа, что я просидел рядом с этой женщиной до половины пятого. Она очень красива, и рыдала она, как Магдалина, иногда я слышал ее раздирающие душу вздохи: «ах, ах, ах».

Месье Лебель, начальник Консьержери, запирающий двери за всеми преступлениями последних пятнадцати лет,— внук Лебеля, открывавшего некогда двери дворца Людовика XV всем красоткам Оленьего парка. Когда вы будете в Париже, я обязательно покажу вам Дворец правосудия. Он интересен так же, как сам Париж, и к тому же совершенно неизвестен.

Теперь я могу писать свою книгу. Дома я узнал, что упустил Каптье, друга Кларе. Представляется возможность приобрести на хороших условиях участок на улице Жана Гужона. Это на расстоянии ружейного выстрела от площади Конкорд, аллеи Антен и аллеи, что загибается от Елисейских полей к Олимпийскому цирку; если архитектор не найдет ничего более привлекательного, я воздвигну там особняк *волчишки*. Но я так дорожу *сокровищем волчишки*, что не хочу его трогать. За участок запла-

чу деньгами, оставшимися от гонорара за «Человеческую комедию» и за «Последнее воплощение Вотрена», а также пятью тысячами франков, полученными за «Крестьян». Поставщикам надо будет платить лишь перед нашим отъездом в мае. Дом будет кирпичный с каменной прокладкой, в нем можно будет жить уже в 1847 г. Дом в Пасси сохраню до апреля 1847 лишь как склад для мебели, и во время отъезда ничего не буду тратить на его содержание. Как только станут известны размеры комнаты, я закажу библиотечные шкафы стоимостью в десять—двенадцать тысяч франков; когда начнутся внутренние отделочные работы, начну заказывать основную мебель. Мебель будет стоить столько же, сколько участок и постройка. Но в конце концов мы устроимся очень дешево, так как все годовые расходы по дому будут не больше трех тысяч семисот франков, часть этой суммы будем погашать процентами с оставшегося капитала. Если в январе поеду в Неаполь, то возвращусь оттуда уже с планом и посоветуюсь с Кларе. Наследники Дюжарье все еще ничего не платят.

Посещение Консьержери и суда присяжных немного отвлекло меня вчера от моей ностальгии, сегодня я с головой уйду в работу.

Да, особняк *волчишки* будет стоять среди сада — никакого неприятного соседства. В глубине сада устроим небольшую оранжерею; но за счет *мадам*, так как это ее личная прихоть. Над дверными пилястрами везде будут изображения *волков!*

Тысячи поцелуев, надо работать! Вы и не знаете, что я втихомолку подбираю королевскую мебель. Пока не буду об этом говорить. Я открою свои карты позже, и Ева окажется в достойной ее обстановке. До завтра.

Г-НУ А. КОЛОМБУ

Париж, 30 января 1846 г.

Сударь,

Прошу простить меня за то, что я с таким опозданием отвечаю на ваше письмо от 2 ноября 1845 года; ваше письмо пришло, когда я ездил в Неаполь, и оно затерялось в груде бумаг, скопившихся у меня на столе. Все это

время я был занят неотложными делами и лишь на днях приступил к разбору своих бумаг. К тому же письмо было вложено в вашу брошюру о жизни Бейля, и я увидел его, лишь когда приступил к чтению вашей статьи. В моей занятой жизни бывают свои случайности и превратности, а если вы подумаете о том, что всегда я работал один, что никогда у меня не было ни секретаря, ни помощника, вы поймете, почему я отвечаю лишь 30 января 1846 года на письмо, написанное в ноябре прошлого года.

То, что я написал о Бейле, было написано с полным беспристрастием и убежденностью; вы можете располагать моей статьей, как вам заблагорассудится; единственное мое условие состоит в том, что я хотел бы иметь экземпляр его произведений, которые так люблю.

Это один из самых замечательных умов нашего времени, но он недостаточно заботился о форме; он писал, как птицы поют, а наш язык — это своего рода г-жа Онеста, для которой хорошо лишь то, что безупречно, отчеканено, отделано.

Его внезапная смерть меня глубоко огорчила; мы должны были пройтись резцом по «Пармской обители», и тогда второе издание сделало бы ее произведением совершенным и безупречным. Но все равно это превосходная книга, книга для избранных умов.

Продолжайте, сударь, начатое вами дело; будьте верны другу, которого больше нет; я счастлив, что могу внести в это начинание свою лепту.

Примите выражение моего самого глубокого уважения.

ГЕОРГУ МНИШЕКУ

Париж, август 1846 г.

Дорогой Гренгале!

Старый Бильбоке обладает благодаря вам одним из тех блистательных шедевров, которые, подобно «Скрипачу», являются солнцем галереи. Вы не можете вообразить себе всю прелесть выбранного вами «Мальтийского рыцаря», так же как и невежество и подлость римских торговцев. Мингетти затемнил картину бистром, чтобы скрыть изъян на лбу, капли воска на руках, испугавшие его, а главное, густой слой копоти, оставшийся от чада

свечей и прочих экклезиастических причин на этом великолепном полотне. Помните, Шнетц находил несоответствие между руками и лицом, и сами вы, дорогой Георг, опасались подделки. Да нет же, все гармонично, как в хорошо сохранившемся оригинале Тициана. На руки падает больше света, чем на лицо, вот и все. Но больше всего вызывает восхищение одежда, которую вы едва разглядели,— чувствуется, по выражению знатоков, что она *надета на живого человека.* Когда пришел рекомендованный мне реставратор (славный старичок, который любит живопись, как Паганини любил музыку), он сказал: «Сударь, это шедевр; но что мы найдем под всем этим?»

И ушел взволнованный.

Через три дня он вернулся, на этот раз со своими снадобьями. Разложил «Рыцаря» на столе, составил сильную смесь и сказал: «Итак, приступаем! Начнем с угла».

Он смочил снадобьем вату, потер: масляная краска запенилась, и все побелело. «Отлично,— сказал он,— теперь можно идти дальше».

Он протер всю доску и за час снял с нее добрый фунт ваты в виде черных шариков. «Вот,— сказал он,— что намазал римский торговец. (Ничего еще не было видно.) Но зачем? Зачем? У него были причины: картина, возможно, испорчена, полна подмалевок, может быть, ее вообще не существует, ибо вот новая корка! Это уж посерьезней. Идти ли нам дальше?»

Он пошел дальше, взял три новые снадобья, и краска давай пениться, белеть и исчезать в этой битве снадобий. Он надел свои двойные очки и заявил: «Теперь я отвечаю за картину!»

Я же видел только пивную пену. Наконец, с торжествующим видом он спросил мягкую зубную щетку и мыла. «Сейчас вы увидите,— сказал он,— настоящий шедевр!»

Я по-прежнему не видел ничего, кроме пивной пены. «Но кроме того,— добавил он,— мы узнаем, почему римский торговец наложил свой бистр».

И вот от стирки славного старика картина засияла, как солнце, во всем своем блеске. Я вижу тона трепещущего тела, сияющие оттенки; золото цепей и шпаги, руки, одежда, фон открылись мне внезапно, как восход весенней зари.

Он обмыл картину водой и сказал: «Взгляните!» Действительно, то было воскресение,— под губкой появился человек, написанный с такой потрясающей правдивостью, что, казалось, в гостиной присутствует кто-то третий. Трудно представить себе этот образ; уверяю вас, дорогой Жорж, он выступает из полотна! Старик вынес картину в сад, чтобы просушить на солнце: это был человек, настоящий мальтийский рыцарь во плоти. Несчастная картина, возродившаяся на моих глазах через триста лет, казалась законченной только вчера.

Тут, с лупой в руках, он обнаружил редину в холсте, начинающуюся на лбу и исчезающую под глазом,— она образовалась из мелких дырочек, как бы наколотых иголкой,— затем восковое пятно на лбу и капли воска на руках. Когда картина высохла, он взял иголку и с поразительной легкостью снял острием пятна, снимая только воск и не касаясь краски. Затем кончиком кисти ввел краску в дырочки. Наконец, он смазал весь портрет какой-то смесью,— его секрет,— которая, не пропитывая краску и ничуть не изменяя ее, придает ей прочность, проявляет и закрепляет ее. За неделю все стало ярким и свежим: настоящее чудо!

Многие думают, что я мистификатор и что картина написана вчера. Реставратор утверждает, что Себастьян дель Пьомбо был неспособен написать это; он согласен с вашим мнением и говорит, что это, должно быть, какой-нибудь фламандец, ученик Рафаэля; я же льщу себя надеждой, что картина написана Альбрехтом Дюрером во время поездки в Рим. Во всяком случае, это одно из прекраснейших произведений итальянского Возрождения; это школа Рафаэля, но лучше по колориту. Наконец, мой старикашка считает картину одним из драгоценнейших произведений искусства потому, что находит в ней последнее слово трех школ: Венеции, Рима и Фландрии.

Я должен был рассказать вам об этом, дорогой Жорж, но, конечно, предпочел бы явить вашему восхищенному взору само полотно. Славный старичок так полюбил меня, что уступил мне за бесценок (относительно) великолепную находку, недавно им сделанную,— портрет жены Греза, написанный Грезом и послуживший ему моделью для знаменитой «Деревенской невесты». Пока вы его не уви-

дите, поверьте, вы не будете знать, что такое французская школа. В известном смысле Рубенс, Рембрандт, Рафаэль и Тициан не выше. Это трепетная плоть, это сама жизнь, и здесь нет труда,— это вдохновение, это furia francese [1], помогающее нам восторжествовать даже над ошибками, на которые оно само нас толкает; это набросано за два часа остатками палитры, в порыве страсти и восторга; Грез подарил набросок жене, запретив продавать его. Она завещала его сестре. Сестра эта была жива еще двадцать лет назад. Случайно полотно продырявили, и она, решив что картина погибла, отдала ее соседке, которая, в свою очередь, сбыла ее с рук, как вещь бесполезную и обременительную в ее скудном хозяйстве.

Мой реставратор зашил или, вернее, заштопал, полотно, следов не осталось, и, уверяю вас, в своем жанре, это так же прекрасно, как «Мальтийский рыцарь». Моя коллекция обогатилась недавно: 1) «Авророй» Гвидо, в сильной его манере, когда он был еще совсем Караваджо, и 2) «Похищением Европы», которое, как заверял меня Лизар, принадлежит Доменикино, а как мне кажется,— скорей Аннибалу Караччи.

Хотел бы я увидеть вас перед этими картинами, вас, не любящего болонскую школу; уверяю, они не уступят лучшим творениям в галерее Боргезе. Эти две станковые картины, по впечатлению, кажутся мне величиной в двадцать футов; по силе воздействия они равны (в известном смысле и при соблюдении всех пропорций) маленькой и несравненной картине «Видение Иезекииля». Моя «Аврора» Гвидо — рослая дама, одетая, как одевает их Веронезе, удобно расположившаяся на облаке с левой стороны картины. Фон изображает великолепную виллу, нечто вроде виллы Памфили; на переднем плане бассейн, украшенный статуями, или, вернее, фигурками, льющими воду. Эта часть картины по игре света и тени написана в манере Каналетти или по крайней мере напоминает ее, но более величественна; вода течет великолепно. Справа — Аврора, в углу — убегающий Амур с цветными крыльями печально смотрит на Аврору, тетива на его луке спущена; нимфы бегут в рощи, как бы напуганные и удивленные. В общем, на мой взгляд по крайней мере, это несрав-

---

[1] Французское неистовство *(итал.)*.

ненно, это блестяще! В Риме запросили бы две тысячи луидоров за это полотно.

Подведем итоги: вместе с моим «Судом Париса» «Фламандка», Грез, «Мальтийский рыцарь», «Венецианка», Ван-Дейк, «Аврора», «Похищение Европы» составляют уже неплохое начало галереи. Когда придут знатоки и dilettanti [1], я скажу им: «Вот этой головой и вот этой картиной я обязан одному молодому профессору энтомологии; очаровательный молодой человек, полный ума и чувства, который утопает сейчас в счастье и науке среди бескрайних степей Украины. Он знает толк в картинах, и это сущее благословение для его друзей! Ручаюсь, он один понимает больше, чем все эксперты Парижа, вместе взятые. «Как зовут его?» — Гренгале.— «Невероятно!» Так же верно, как то, что я зовусь Бильбоке.

До скорого свидания, дорогой Жорж! Я привезу вам целый ящик восхитительных насекомых и пробуду с вами... увы! лишь пять-шесть дней, как в Бадене. Я приеду, чтобы меня пожалели, только и всего.

Если вам нужно что-нибудь из Парижа, вы еще успеете написать мне.

Дружеский привет.

ГЕОРГУ МНИШЕКУ

Париж, декабрь 1846 г.

Спасибо, славный мой Жорж, за ваши два письма! Спасибо, дорогая очаровательная Анна! Итак, вы уже отпраздновали свадьбу и теперь развлекаетесь и заботитесь о вашей дорогой матушке! Как я горюю, сидя здесь в одиночестве, без моей стаи. Пусть Жорж успокоится: его библиотека куплена не будет за отсутствием места; ведь разместить ее дело нешуточное. Наконец-то я мог насладиться зрелищем великолепной китайской вазы Жоржа; по моей оценке, она идет непосредственно за моими большими мандаринами; она приводит в восхищение всех торговцев, которые все спрашивают, где нахожу я такие вещи; а я отвечаю им: «О, у меня знаменитые коммивояжеры!..» Ваза нигде не надбита и не надтреснута — это большое достоинство. Блюдо Анны — лучшее из всех, ка-

[1] Любители искусства *(итал.)*.

кие я видел. Известному бронзовщику Пайару дан заказ поставить его стоймя,— его будут держать в лапах два льва. Торжественно водруженное на голландском буфете, купленном в присутствии Жоржа в Амстердаме, это блюдо будет красоваться между вазой Жоржа и вазой Босберга. Все, мои дорогие друзья, прибыло в прекрасном состоянии, без единой царапины, а добрая парижская таможня, приняв буквы ff (флорины) за франки, спросила с меня лишь сорок восемь франков пошлины.

Большое надтреснутое блюдо будет реставрировано, его вставят в круглый столик. Вот вам известия о ваших безрассудных покупках, о Зеферина! о Гренгале! счастливые сумасброды, быть может, слишком открыто показывающие свое счастье на родине фарфора. Знаете ли, какая мне выпала невероятная удача? За семьдесят пять франков я пополнил висбаденский чайный сервиз: теперь у меня есть сахарница и молочник, совершенно подходящие и помеченные тем же номером; вы не знали, так же как и я, что это сервиз Ватто. Наша Атала, доверившись своему прелестному чуткому носику, наложила свою прекрасную лапку на эти сокровища. И вы с изумлением узнаете, что за полный сервиз предлагают две тысячи франков... Но никакое бедствие не заставит папашу Бильбоке расстаться с подобными сувенирами. Все, к чему вы прикасались, все, что напоминает мне двух обожаемых обезьянок, двух влюбленных, двух цыганят,— все это для меня святыня! Покидаю вас,— иду пить свой ядовитый кофе из чашки с крышкой, которую подарила Анна. Вам приходилось видеть, как я работаю! Так вот, это ничто по сравнению с нынешними моими обязательствами и трудами. Все нужно заработать, все оплатить кончиком вот этого пера, которое сейчас посылает вам тысячу ласковых слов и тысячу пожеланий счастья.

Я купил для комнаты друзей кровать, якобы принадлежавшую госпоже де Помпадур; не знаю, чья она в действительности, но уверяю вас, она великолепна; сейчас ее золотят заново. И наконец, гостиная особняка Бильбоке показалась столь жалкой по сравнению с двумя комнатами с резными куполами, расписанными в стиле Людовика XVI, что я купил целую гостиную резного дерева. В смысле искусства это верх великолепия: сомневаюсь, чтобы нечто подобное нашлось в Париже. Резчикам того време-

ни натурой служили живые цветы — это видно по расположению и легкости резьбы. Но для того чтобы позолотить все это, увы! у меня нет денег, к тому же позолота придавит комнату, которая не так уж высока.

Прощайте; горячо обнимаю вас. Ваша дорогая матушка завтра получит большое письмо.

ГАНСКОЙ

Пасси, среда, 20 января 1847 г.

Боже мой, будь благословенна тысячу раз, моя обожаемая Ева! Бывают дни, когда я снова верю в жизнь, в счастье, в прекрасное будущее, когда я вновь становлюсь молодым, талантливым, окрыленным надеждами, способным завершить «Человеческую комедию». Это тогда, когда я тебя обретаю, когда я знаю, что ты моя. Все это я пережил, узнав, что через несколько дней ты будешь в пути во Франкфурт и что в первых числах февраля мы увидимся. Получив твое письмо, тысячу раз благословенное, тысячу раз перечитанное, письмо, где ты — это *я*, где ты любишь, все забывая, я вновь дышу, я ожил, как засохший цветок, напившийся воды. Страницы чудом пишутся сами собой, я написал их уже сорок за эти два дня! «Последнее воплощение Вотрена» закончу завтра (восемьдесят страниц) и затем до 25-го закончу «Кузена Понса», которого Верон (грррозный Верон, великолепный Верон, Верон требовательный, Верон сумасбродный) считает бóльшим шедевром, чем «Кузину Бетту».

Волчишко, это твое искусство, твои чудеса!

И пусть это скажет тебе, как я тебя люблю, до какой степени ты — вся моя жизнь! (Возможно, это огорчит тебя.) Ты настолько моя жизнь, что я не перенесу больше трех месяцев разлуки. Когда ты поедешь в апреле в Верховню, я последую за тобой, пока будет можно; доеду тайком до Галиции..., а позже приеду за тобой, чтобы ослабить воздействие страшной душевной болезни, вызываемой *разлукой* и проявляющейся в самой ужасной ностальгии, неизвестной еще медицине. Чем больше воспоминаний, тем смертельнее и невыносимее становится болезнь. Я не писал тебе: «да свер-

шится воля неба и т. д.», я говорил о делах, о тряпках, но тайно умирал. *Волчишко* мой, я умер бы без громких слов, без позы. Ни в сердце, ни в мозгу, ни в желудке, ни в голове — нигде не было жизни, она отлетела от меня, как и ты.

Теперь я возродился, я работаю, я верю в судьбу, в то, что устрою свои дела. Надежда, которую наша церковь чтит как добродетель, осенила меня пальмовой ветвью, и я уверен в своем таланте, в успехе [Кузена] Понса и [Последнего Воплощения] Вотрена. Так не медли же! Приходи же, ангел моей жизни, приходи, дорогая и горячо любимая, ты, почувствовавшая силу моего нетерпения, приходи! приходи! приходи!

От Франкфурта до Парижа это будет только одно долгое объятие. Нет, ты даже не представляешь себе, каково мое душевное состояние!

Я и раньше горел этим пламенем, этой страстью ребенка, но я не знал тогда, что моя дивная кошечка отвечала на это чувство и что она может превзойти все желания ребенка, мужчины, любовника, поэта, мужа! Тридцать лет взаимных объятий не утолят мою жажду, рожденную четырнадцатью годами ожидания! Разве можно пресытиться божественным? Ты для меня — существо полубожественное; с человеческой точки зрения — совершенное, ты из тех, что достойны поклонения до самой смерти, достойны обожания всех и любви одного. Ты мой дорогой прекрасный идеал!

Почувствуй в этом восклицании всю мою душу, мои желания, мою жизнь, которые я тебе посылаю!

Теперь прощай! Я должен работать, как говорят, *до упаду*.

Акции Севера упали до шестисот. Оправдываются мои предсказания, акции упали на двести франков по сравнению с тем, что мы за них платили. Надо будет постараться в середине февраля купить сто акций, они пойдут за пятьсот пятьдесят, и тогда я возмещу убытки.

Смогу ли я это сделать? — все будет зависеть от моей работы.

До свидания, до завтра. Это мое последнее письмо в Дрезден.

ГАНСКОЙ

Париж, среда, 7 июля 1847 г.

Опять ни строчки! Даже потоки кофе не могут возбудить мой мозг, а час сдачи рукописи в «Прессу» все приближается. Я не знаю, что делать. Я теряю голову, ибо мой отъезд откладывается, и с каждым днем все усиливается моя ностальгия. Я могу думать только о своей дорогой *труппе*. Вчера, дойдя до последней степени отчаяния, я пошел к Лоран-Жану, но и он, несмотря на все свое остроумие, не сумел меня развеселить. Что ж вы хотите? Я совершил ошибку, вкусив жизни, о которой я мечтал как раз в то мгновение, когда она должна была прерваться. Мой дом кажется мне могилой, всегда перед глазами одинокая постель, все вызывает горестные мысли. В полном смысле слова я умираю от не описанной в медицине болезни, вызванной разлукой с любимым существом, лишь мельком увиденным. Поборю ли я эту болезнь? Я делаю для этого неслыханные усилия. Бедный встревоженный Лоран-Жан, чтобы меня развлечь, купил мне «Сверчка на печи» Диккенса.

Сегодня вставляли стекла в библиотечные шкафы, и мне надо заплатить по небольшим отдельным счетам более восьмисот франков. Вчера был у матери и просил ее посчитать мои строчки в «Конститюсьонеле», чтобы получить за них остаток причитающихся мне денег.

Мой милый пухленький секретарь, где ты? У меня осталось только две спички из Вилема, и это огорчает меня, как ребенка.

Все бежит от меня из дома Грефина, кроме воспоминаний и записок, которые я берегу как архив счастья.

Скорей заканчивайте ваши дела и приезжайте! Я примусь за работу и смогу уехать.

До свидания, до завтра.

ГАНСКОЙ

Париж, вторник, 27 июля 1847 г.

Вчера, дорогая, я не мог писать. Пришли два рабочих от Фабра и целый день устраивали в комнате, что ведет на галерею, библиотеку, о которой вы знаете. Они

стучали, заколачивали, наполнили смрадом весь дом. Все это время я читал. Ну и выдался денек, придется еще провести немало подобных дней. Надеюсь, что к концу месяца все будет кончено. Я все время думаю о нас, сила воспоминаний делает мое одиночество совершенно невыносимым. Моя ностальгия не уменьшается, а, наоборот, все усиливается. Я не знаю, что мне делать. Иногда на глаза невольно набегают слезы, я чувствую сильное сердцебиение, физически страдаю от душевной боли, которая проникает всюду. Я уже не хозяин своим мыслям, да, по правде говоря, у меня и мыслей-то теперь нет. У меня только сердце, и оно страдает. Вот вам рассказ о моем вчерашнем дне.

С нетерпением ожидаю я благотворного воздействия родного воздуха. Собственно говоря, я не живу, источник жизни находится вне меня. Счастливое время, что мой дорогой *волчишко* подарил мне и о котором он жалеет или притворяется, что жалеет, делает мою теперешнюю жизнь невыносимой, наконец, вы этому, наверное, не поверите, так как это расстроило бы все ваши теперешние планы, но вид дома, построенного для жизни, о которой я столь долго мечтал,— для меня смертельный яд, и я еду к г-ну Маргонну, где, может быть, без этого яда в сердце мне будет легче дышать. Меня убивают вещи, что у меня перед глазами, говорящие мне о жизни, о которой я мечтал и которая так далека от меня.

Если в Сашэ я поправлюсь, то, вернувшись, сниму в предместье дю Руль за двести франков в год мансарду шагах в двух от дома и попробую, смогу ли я там работать. Если я смогу писать, я спасен. Возможно, это покажется странным. Кто поверит, что в сорок восемь лет я люблю, как «Больной юноша» Шенье? Я спрашиваю себя, не результат ли это необычайной силы моего воображения. Но, щупая пульс, я чувствую свою болезнь. Она живет во мне. Я люблю, как женщина, но с силой мужчины. В наших интересах нужно, чтобы я оставался здесь, работал и достиг бы цели. Это мне говорит разум, это мне твердят цифры, что я пишу на бумаге. Но что можно противопоставить полному упадку всех физических и умственных сил? Мои силы не вернулись даже от килограмма только что выпитого кофе. Если бы вы только знали, как страстно я мечтаю работать!

Как я хочу доказать вам, что я способен ничего не тратить, выплатить долги и сохранить нетронутым сокровище *волчишки!* Но нет больше ни *волка*, ни киски, нет писем, если не считать очень редких; остались только восемьсот лье, которые необходимо преодолеть, чтобы повидать всю *труппу*, и мои обязательства к определенным срокам!

Разве это не пытка на колесе! Изо дня в день меня четвертуют! Я не могу ни с кем говорить, я пожираю сам себя, я не вижу и не хочу никого видеть.

Конечно, я должен был иметь достаточно силы, чтобы все скрыть от вас, ведь я вам причиняю горе, если только вы не скажете, читая все это: «*Строчи, строчи, мой дорогой месье!*» Думайте так, если хотите. У меня нет сил сердиться, я отупел от страданий. Со всей горечью раскаяния выслушал я ваши ужасные упреки, брошенные в момент, когда вы потеряли самообладание, и я повторяю себе, что я их заслужил, что я должен был лучше беречь мое *сокровище*.

Я не обвиняю злосчастный случай. Меня терзает горе, я ничего себе не прощаю. Мои муки возрастают от воспоминаний и времени.

Я полная противоположность другим натурам. Все мои проступки невольны. Это результат невезения, случая. Но они породили страдания, настоящие муки, они причинили горе той, которой я хотел бы доставлять только радость, которую я люблю так, как еще никто не любил, которая должна была бы гордиться мной, но вместо этого смотрит на меня с презрением. Ее чистая и благочестивая душа потрясена. Я ничего от себя не скрываю, я сам терзаю свое сердце еще более безжалостно, чем могла бы это сделать она. Все дни проходят в этих муках.

Я отчаялся в возможности счастья, душа моя задавлена горою скорби. О, как я хотел бы забыться в работе!

Работа, спасавшая меня столько раз от тысячи несчастий, бессильна перед этими страданиями, что длятся уже три месяца, ведь я немало выстрадал и во Франкфурте, во время этого путешествия я старательно скрывал от вас свою душевную рану, которую вы теперь так жестоко бередите!

Но надо кончать. Если бы я мог сказать вам все, мне пришлось бы написать тома, и эти тома огорчили бы вас. Я не хочу продолжать в этом тоне и закончу завтра, если смогу говорить о чем-нибудь другом. Сейчас до свидания. Тысячи поцелуев и до завтра. Вы часто писали мне о своих горестях, узнайте же мои. Будьте здоровы. Да сохранит бог вашу красоту и молодость!

Г-НУ ТЕОФИЛЮ ГОТЬЕ

Париж, 20 июня 1850 г.

Мой дорогой Теофиль,

Сердечно благодарю за ваше внимание ко мне. Если вы меня не застали, когда заходили последний раз, то не потому, что мне стало лучше, просто, вопреки запрещениям врача, я потащился на таможню, так как мне было совершенно необходимо получить багаж. Сегодня я избавился от бронхита и болей в печени. Итак, можно говорить о некотором улучшении. На мою основную болезнь, поразившую сердце и легкие, назавтра готовится врачебная атака. Это внушает мне большую надежду на выздоровление. Но все же я должен по-прежнему лежать молча и без движения подобно мумии, и это продлится еще не менее двух месяцев. Пишу вам этот отчет о своей болезни, так как очень ценю вашу дружбу, особенно теперь, в одиночестве, куда меня ввергли врачи Факультета. Если вы соберетесь ко мне, сообщите заранее день и час, чтобы я мог иметь удовольствие вас принять и порадоваться вашему приходу — ведь я так давно вас не видел.

Сердечно ваш

(Эти строки были продиктованы Бальзаком жене, затем писатель добавил своей рукой:

«Я не могу ни читать, ни писать».

Это последние слова, написанные Бальзаком.)

ПРИМЕЧАНИЯ

ОЧЕРКИ

Очерки Бальзака сопутствуют всем главным его произведениям. Они создаются параллельно романам, повестям и рассказам, составившим «Человеческую комедию».

Первые очерки были написаны Бальзаком в 1825—1826 годах. Они составили два цикла: «Кодекс честных людей, или Искусство не оставаться в дураках» и «Маленький критический и анекдотический словарь парижских вывесок». Эти очерки представляют собой обширную панораму самых различных социальных типов и отличаются своими крупными размерами («Кодекс» превышает 10 печатных листов).

Преследуя якобы задачу предостеречь читателей от опасности быть ограбленными, Бальзак дает в «Кодексе» ряд зарисовок людей различных социальных положений. Здесь и мелкий карманный воришка, и уличный мошенник, и громила-взломщик, и великосветская дама, и франт, и адвокат, и нотариус, и много других. Все они одержимы одним стремлением — присвоить чужое имущество. Жизнь представляется писателю как «непрерывная битва богатых и бедных». Существующий социальный порядок объявляется непосредственным результатом того, что «каста богатых» в данный момент гораздо сильнее «массы отверженных». Но если карманные воры и громилы-взломщики в какой-то степени оправданы Бальзаком уже самой своей принадлежностью к тем, «кто голоден», к тем, у кого «нет других способов заработка», то никакого оправдания не находит Бальзак, когда он касается великосветских бездельников и обеспеченных юристов. Завсегдатаи великосветских гостиных оказываются не менее опасными для «честных людей», нежели профессиональные воры. К числу противников «честных людей» относятся у Бальзака и нотариусы, нагло обворовывающие вкладчиков, и поверенные, «обделывающие свои собственные делишки, управляя чужими», и адвокаты, использующие незнание законов своими клиентами. Опасны все они уже тем, что в отличие от профессиональных воров действуют под покровом «законности», тем, что «ловкие воры приняты в свете и слывут любезными людьми». Бальзак задевает мимоходом и торговцев, обирающих своих

покупателей, и биржевых маклеров, посредников, дельцов. Но основные удары наносит он дворянам, аристократам, а также тем, кто кормится возле них, подражает им, следует за ними.

Критику и разоблачение аристократов и их прислужников продолжает Бальзак и в очерках, написанных в самом начале 1830 года. Среди них следует выделить «Праздного и труженика», «Мадам Всеотбога», «Несчастного». В «Несчастном» обличаются праздность и расточительность дворян, их презрение к труду и к людям, занимающимся какой-либо полезной деятельностью, их паразитический способ существования. В «Праздном и труженике» высмеян молодой аристократ-бездельник, день которого заполнен до отказа разговорами с сапожниками, парикмахерами, лакеями, участием в увеселительной загородной поездке. В очерке «Мадам Всеотбога» Бальзак обрушивается на католическую церковь, оказывавшую в период Реставрации чрезвычайное влияние на политику правительства.

Важное место в очерковом наследии Бальзака занимает второй цикл его очерков, созданный во второй половине 1830, в 1831 и 1832 годах и печатавшийся в левореспубликанском органе «Карикатура». В этом издании публиковали свои рисунки мастера политической и бытовой сатиры Гранвиль, Травьес, замечательный сатирик-демократ Домье, а во главе его стоял республиканец Филиппон. Текст первых номеров (№№ 1—4, 6—7) «Карикатуры», начавших выходить после Июльской революции, принадлежал целиком Бальзаку. Всего Бальзак поместил в «Карикатуре» с ноября 1830 года по сентябрь 1832 года до ста очерков.

В очерках первых лет Июльской монархии Бальзак выступает в первую очередь против правительства Луи-Филиппа. В очерке «Сен-симонисты» писатель заявляет: «Было бы большим заблуждением думать, будто наши представители нас представляют, будто депутаты нации посланы нацией». В очерке «Знакомство» он издевается над охранительными мероприятиями реакционного министра Казимира Перье, пытавшегося «погасить» народные волнения с помощью пожарников. Характерен очерк «Министр», в котором выведен беспомощный представитель власти, являющийся игрушкой в руках различных группировок: легитимистов, правых республиканцев, сторонников центра. Мы читаем здесь о министре: «То был человек маленького роста, иначе его бы не назначили министром». Контрреволюционный, охранительный характер правительства Луи-Филиппа тесно связан в представлении Бальзака с ориентацией этого правительства не на народные массы, а на уголовные элементы. Показателен очерк «Две человеческие судьбы, или Новый способ выйти в люди», в котором рассказывается, как авантюристы Рипопетт и Маклу были наняты подавлять восстание и убивать повстанцев.

Значительную часть очерков 1830—1832 годов Бальзак посвящает сатирическому изображению основной социальной базы Июльской монархии — буржуазии. Буржуа, впервые появляющийся у Бальзака в его романах первой половины 20-х годов «Арденский викарий» и «Пират Аргоу», в его «Кодексе честных людей», становится теперь главным персонажем. В буржуа иронически отмечаются в первую очередь политическая «благонамеренность»

и «благонадежность», солидарность с правительством Июльской монархии. Даже домашняя обстановка у буржуа Филипотена, персонажа одноименного очерка, свидетельствует о его политических наклонностях: у него полосатые, трехцветные, как национальный флаг, обои, мебель его обшита трехцветной материей, за столом у него никогда не подаются груши, так как Филипотен не желает оскорбить короля, которого тогдашние карикатуристы изображали в виде груши.

Концентрируя свое внимание на буржуа, Бальзак стремится подчеркнуть, что интересы буржуазии расходятся с интересами революционного движения. В очерке «Как случается, что шпоры полицейского комиссара мешают торговле» Бальзак осыпает насмешками дрожащего, насмерть перепуганного владельца табачной лавочки, которому всюду мерещатся республиканцы, который больше всего на свете боится народных волнений, ибо они могут повредить его коммерции. Не случайно герой очерка «Филипотен» в июльские дни 1830 года трусливо отсиживается в своем подвале, не принимая никакого участия в революционных событиях. После того как переворот совершился, он с превеликим удовольствием облачается в мундир национального гвардейца. За убийство врагов «трона и порядка» он получает орден Почетного легиона.

От буржуазии, воспользовавшейся плодами Июльской революции, резко отделяются в представлении Бальзака народные массы, совершившие эту революцию, но ничего от нее не получившие. И если большинство очерков начала 30-х годов, в которых писатель касается деятельности буржуазии и ее правительства, написано в резко сатирическом тоне, то в очерках «Две встречи в один год» и «1831 год», посвященных народу и революции, сквозит восхищение самоотверженным поведением народных масс в июльские дни. В очерке «Две встречи в один год» Бальзак называет день революции «днем пробуждения после сна, длившегося пятнадцать лет». Внимание Бальзака привлекает высокое мужество народа. Он понес большие жертвы в июльские дни и, однако, остался уверен в своей правоте. Два образа запоминаются при чтении очерка: студент, который оставляет свою возлюбленную и устремляется на баррикады сражаться за свободу, и рабочий-печатник, который спокойно и гордо идет на баррикады, уверенный, что детям его не видать хлеба, пока на троне сидит Карл X. Любопытно, что оба бесстрашных патриота спустя год оказываются в тюрьме, куда их бросило правительство Луи-Филиппа, и они приветствуют друг друга «понимающим» взглядом. «Это мрачное безмолвное признание,—замечает Бальзак,— выразило историю целой эпохи одним словом: «Измена!» Нужно учитывать, что именно как измену народным интересам рассматривали политику буржуазного правительства левые республиканцы начала 1830-х годов.

Бальзаковские очерки 1830—1832 годов явились своеобразной подготовительной работой к его большим художественным произведениям 1833—1835 годов: к «Евгении Гранде» (1833), «Отцу Горио» (1835), «Гобсеку» (1835). Создавая свои очерки, Бальзак вырабатывал приемы для художественного воплощения рождавшегося в те годы нового общества и его главного действующего лица — буржуа. Он как бы присматривался в них к новому для него

объекту изображения. В огромном большинстве очерков 1830—1832 годов писатель, правда, сосредоточивал свое внимание не столько на изображении жизни и деятельности самой буржуазии, сколько на обличении правительства Июльской монархии. И здесь, однако, удары, которые Бальзак обрушивал на министров Луи-Филиппа, в особенности на Казимира Перье, косвенно задевали тех людей, интересам которых служили эти министры, бывшие исполнителями воли буржуазии. К тому же в некоторых очерках («Филипотен», «Как случается, что шпоры полицейского комиссара мешают торговле») фигура буржуа переводилась писателем с периферии в центр изображения. Бальзак набрасывал в этих очерках образ буржуа, пусть пока предварительный, но уже полный большого исторического смысла. Следует вспомнить хотя бы о политической «благонадежности» Филипотена. Позже, как показывают фигуры Гобсека (в редакции 1835 года), старика Горио, Феликса Гранде, этот образ обогатился глубиной, фоном, стал раскрываться в своем историческом происхождении, в своем развитии, движении.

С другой стороны, создавая свои очерки о людях из народа («Две встречи в один год», «1831 год»), Бальзак открывал ими длинную галерею народных образов. Образы людей из народа фигурируют во многих его произведениях 1830—1840 годов: в «Иисусе Христе во Фландрии» (1831), в «Полковнике Шабере» (1832), в «Сельском враче» (1833), в «Озорных рассказах» (1830—1835), в «Обедне безбожника» (1836), в «Фачино Кане» (1836), в «Пьеретте» (1840). И всюду они заставляют вспомнить суровый образ рабочего, вступившего в сражение с монархией Бурбонов, о котором рассказывает Бальзак в очерке «Две встречи в один год».

Третий цикл очерков Бальзака приходится на 1839—1844 годы. В эти годы Бальзаком написаны второй вариант очерка «Бакалейщик», очерки «Нотариус», «Монография о рантье», «История и физиономия парижских бульваров», «Уходящий Париж» и др. Если очерки 1830—1832 годов создавались в атмосфере революционного подъема, то очерки 40-х годов Бальзак пишет и публикует в обстановке социально-политической реакции. Бальзак, конечно, и теперь не идет на снижение своих высоких требований к человеку и обществу, не снижает своей критики людей буржуазного общества. Бальзак рассказывает, однако, теперь уже не о политике буржуазного правительства и не о деятельности революционеров. Сложившийся за десятилетие 1830—1840 года общественный политический строй является главным предметом его изображения. На первом месте не буржуазное правительство, а сама буржуазия, не Луи-Филипп и его министры, а Филипотен и его собратья по классу.

В очерках 1839—1844 годов мы уже не обнаруживаем того мгновенного отклика на современные события, тех злободневных намеков и ассоциаций, как в очерках, печатавшихся в «Карикатуре». От кратких, «моментальных» зарисовок начала 30-х годов они отличаются своими обширными размерами. Они представляют собой широкие картины общественной жизни, дают как бы итоги многолетних наблюдений и размышлений, глубокое обобщение социальных процессов и вполне соответствуют грандиозным полот-

нам многоплановых произведений с бесконечным множеством персонажей, какими являются «Чиновники» (1837) и «История величия и падения Цезаря Бирото» (1837), а особенно «Утраченные иллюзии» (1837—1843) и «Кузина Бетта» (1846), «Кузен Понс» (1847) и «Крестьяне» (1838—1848). В отличие от очерков 1830—1832 годов они воплощают современность не в фигурах людей, выделяющихся на фоне старых социальных отношений, отличающихся как нечто новое от традиционного уклада жизни, а в типических, «устоявшихся» образах «бакалейщика» и «рантье». Во втором варианте «Бакалейщика» (1840) и в «Монографии о рантье» (1840) Бальзак рассматривает и «армию бакалейщиков» и рантье как основную опору режима орлеанской монархии. Если бакалейщик не будет поддерживать «нынешний социальный строй, какой бы он ни был», «кому он будет продавать?!» — спрашивает Бальзак. Рантье преклоняется перед Луи-Филиппом и остерегается республики, так как не уверен, что при республике он будет получать свои проценты. Бальзак видит в буржуазии уже не то, по преимуществу мелкое, жалкое, комическое явление, над которым можно главным образом смеяться, явление, достойное лишь презрения. Бальзак рассматривает теперь буржуазию как могущественную, опасную социальную силу, определяющую своими вкусами развитие литературы и театра, способную нанести непоправимый ущерб искусству, содействующую успеху Поль де Кока, мелодрамы, вульгарной комической оперы. Бакалейщик успевает до самой своей смерти прочитать только семнадцать страниц первого тома Вольтера, хотя и скупает все собрания его сочинений, так как интерес его к великим произведениям прошлого чисто показной — фактически он глубоко равнодушен к ним. Показным, поверхностным представляется Бальзаку и повышенный интерес к политике, культуре и т. п., которым одержим рантье. Интерес этот сводится к пустому, бесцельному любопытству. Внешняя безобидность бакалейщика прикрывает его хищнические аппетиты, его человеконенавистнические инстинкты. Медоточивый, любезный, обходительный с покупателями, он выказывает себя свирепым, придирчивым, злым, обнаруживает свое подлинное лицо, когда ему приходится иметь дело в качестве домовладельца с квартиронанимателями.

Мысль о враждебности буржуазии развитию искусства, науки, производительных сил страны развивает Бальзак и в своих художественных произведениях тех же лет. В этой связи стоит вспомнить вещи, опубликованные в 1839—1840 годах: «Пьера Грассу», «З. Маркаса», «Сельского священника»,— которые во многом перекликаются со вторым вариантом «Бакалейщика» и «Монографией о рантье». Образ бакалейщика-домовладельца находит себе также почти полное соответствие в фигурах Молине из романа о Цезаре Бирото (1837) и дю Круазье из «Музея древностей» (1836—1838), в фигурах брата и сестры Рогронов из «Пьеретты» (1840). Бальзак выдвигает на первый план во всех этих образах черты мстительности, недружелюбия и человеконенавистничества.

В очерке «Нотариус» он рассказывает, как общественная система, основанная на власти денег, содействует моральному развращению человека. Нотариус привыкает «все видеть, не глядя, смотреть и ничего не видеть».

Очерки «История и физиология парижских бульваров» и «Уходящий Париж», относящиеся к 1844 году, написаны в той же идейно-художественной манере, что и «Крестьяне» и особенно «Бедные родственники», создающиеся в 40-е годы. В них та же мысль о социальных «низах», обездоленных и угрожающих сытому благополучию «верхов», в них та же мысль о социальных контрастах, о враждебном сосуществовании бедности и богатства, роскоши и нищеты. Образы «причудливых чудесных зданий, напоминающих волшебную сказку», присутствуют здесь рядом с образами предместий, где ютится беднота, где попадаются на каждом шагу «плохо обутые» люди, «пестрые картины блуз, рваной одежды крестьян, рабочих», где встречаются взгляды, «способные напугать собственника». Бальзак рассказывает здесь о том, как мелкая торговля вытесняется крупной, как создаются огромные магазины с прилавками из каррарского мрамора, как растет богатство буржуазии и как одновременно с этим повышаются цены на уголь, мясо, ягоды, жилище. «Фальшивый блеск Парижа» он рассматривает как «причину нищеты в провинции и пригородах». Он недаром вспоминает в этой связи о лионских восстаниях: «В Лионе уже имеются жертвы, их зовут лионскими ткачами. В любой промышленности имеются собственные лионские ткачи». Его преследует мысль о приближающейся социальной катастрофе. Ему представляется, что «половина Франции находится в долгу у другой половины» и что «должники сожрут кредиторов», когда произойдет «всеобщее сведение счетов». «Вот каков, вероятно, будет конец так называемому царству промышленности»,— заключает Бальзак.

Стр. 7. *«Конститюсьонель»* — умеренно-либеральная антиклерикальная газета.

Физиологический очерк.— Понятие *физиологический* не означает у Бальзака явление, связанное с жизненным процессом организма, а употребляется в смысле близости явления к природе, натуре, правде, быту, то есть в том смысле, как его употребляли в то время и другие авторы физиологических очерков.

Ракá — бранное древнеассирийское слово, упоминаемое в евангелии.

Стр. 8. *«Эрнани»* — пьеса В. Гюго.

Стр. 10. *Фюмад* — изобретатель фосфорной зажигалки.

Стр. 14. *Трехколеска* — ироническое название парижского омнибуса.

Стр. 17. *Лазаристы* — монашеская организация, готовившая миссионеров.

Стр. 18. *«Котидьен»* — ультрароялистская газета.

Стр. 21. *Г-жа де Севинье*, Мари де Рабютен-Шанталь (1626—1696) — известна своими письмами из Парижа к дочери — г-же де Гриньян,— в которых рисовала яркую картину французской придворной жизни.

Мадмуазель — титул старшей дочери брата короля. Здесь имеется в виду шумная история, вызванная тайным браком герцогини де Монпансье, двоюродной сестры короля Людовика XIV, с

авантюристом Лозеном — провинциальным дворянином, сделавшим блестящую придворную карьеру.

Стр. 22. *«Монитер»* — официальная газета французского правительства.

Кюжас, Жак (1522—1590) — французский ученый, историк и теоретик права.

Граммон — придворный короля Людовика XIV, известный своим легкомыслием и многочисленными любовными похождениями.

Стр. 23. *Бруссе*, Франсуа-Жозеф (1772—1838) — выдающийся французский врач.

Прокоп — то есть кафе Прокоп — парижское кафе, бывшее с XVIII века излюбленным местом собраний писателей.

Стр. 30. *«Газетт де Франс»* — ультрароялистская газета.

Стр. 31. *Июльский победитель.*— Имеется в виду представитель народных масс, сокрушивших в дни Июльской революции 1830 года монархию Бурбонов; затем власть перешла в руки финансовой аристократии.

«Глобист» — сторонник газеты «Глоб», бывшей в 1830 году органом сен-симонистов.

Стр. 35. *Дюпен*, Шарль (1784—1873) — французский экономист, инженер, автор работ по математике и экономике.

Стр. 43—44. *«Исповедь опиофага»* — произведение английского реакционного писателя-романтика де Квинси (1785—1859). *«Испанские сказки»*, точнее «Испанские и итальянские сказки» — сборник стихов А. Мюссе (1810—1857). *«Мельмот»*, точнее «Мельмот-скиталец» — роман английского писателя Ч. Матюрена (1782—1824). *«Смарра»* — сказка Ш. Нодье (1780—1844). *«Гяур»* — поэма Д. Г. Байрона (1788—1824), *«Хоровод на шабаше»*— баллада В. Гюго, напечатанная в его сборнике «Оды и баллады».

Стр. 48. *Амфиболия* — неправильно построенная фраза, приводящая к двусмыслице.

Стр. 53. *...они добились «лучшей в мире республики».*— Так именовалась конституционная монархия Луи-Филиппа ее сторонниками.

Стр. 54. *...изображение петуха, орла и лилии.*— *Изображение петуха* — эмблема французской нации, *орла* — наполеоновской империи, *лилии* —монархии Бурбонов.

Стр. 56. *«Кукушка»*— небольшая карета на двух высоких колесах на пять-шесть мест.

Стр. 61. *...попав к Франкони, считает, что пришел в Оперу...*— Имеется в виду знаменитый в то время цирк Франкони.

...принимает... Тальони — за госпожу Саки.— Тальони — знаменитая балерина. *Саки* — канатная плясунья.

Стр. 64. *...пожарный... выполняет волю правительства.*— Речь идет о попытках правительства Луи-Филиппа разгонять революционные демонстрации при помощи пожарных насосов.

Стр. 66. *...любовь к гидравлическому правительству Казимира Помпье.*— Имеется в виду правительство Луи-Филиппа, возглавлявшееся министром Казимиром Перье и разгонявшее при помощи пожарных насосов демонстрации; слово «помпье» (pompier) означает «пожарник».

...вы стоите и за Генриха Пятого! — Генрихом V роялисты по-

сле 1830 года называли внука Карла X, претендента на французский престол.

Генерал Ламарк — французский военный и политический деятель (1770—1832); один из лидеров либеральной оппозиции во время Реставрации.

Стр. 67. *Он записался в Ассоциацию!* — Имеется в виду объединение республиканцев, образовавшееся после 1830 года.

Грегуар, Тибодо.— *Грегуар*, Анри (1750—1831), и *Тибодо*, Антуан (1765—1854),— члены Конвента во время французской буржуазной революции 1789—1794 годов.

Стр. 69. *Золотая середина* — выражение, впервые употребленное применительно к политике Монтескьё (1689—1755). В эпоху Июльской монархии (1830—1848) принцип «золотой середины» был провозглашен королем Луи-Филиппом и стал политическим идеалом французской буржуазии.

Казимир Перье (1777—1832) — французский банкир и политический деятель. Сделавшись в 1831 году министром внутренних дел, жестоко подавил восстание лионских ткачей.

Стр. 70. *Хартия.*— Здесь — конституция, введенная в 1830 году королем Луи-Филиппом.

Жоконд — легкомысленный персонаж из французской комической оперы «Жоконд, или Искатели приключений» (1814), музыка Николо, слова Этьена.

Стр. 71. *Тартини*, Джузеппе (1692—1770) — знаменитый итальянский скрипач, автор многих концертов и сонат для скрипки.

Стр. 77. *Это было в день пробуждения...*— Имеется в виду Июльская революция 1830 года.

Стр. 80. *«Дёба», «Журналь де Пари», «Мессаже», «Ревю де Пари»* — газеты, представлявшие интересы крупной буржуазии.

Стр. 81. *...перед вами Хартия...*— По Хартии 1830 года были проведены некоторые либеральные реформы, в частности несколько смягчена цензура.

Фориосо — имя одного из персонажей французских ярмарочных спектаклей.

Стр. 86. *Детище Гельвеции.*— Имеется в виду швейцарский наемный солдат; *Гельвеция* — латинское название Швейцарии.

Стр. 88. *Кенкеты* — масляные лампы, усовершенствованные изобретателем Кенкетом.

Стр. 93. *Евангелие от Луки* — текст евангелия приводится Бальзаком не совсем точно. В действительности текст следующий: «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя — возвысится» (18 гл., стих 14).

Стр. 95. *Гентский бульвар* — Итальянский бульвар в Париже, где в период «Ста дней» (1815) собирались монархисты, сторонники бежавшего в Гент короля Людовика XVIII, иронически называли Гентским бульваром.

Улиц 27, 28 и 29 июля — то есть улиц революции: 27, 28, 29 июля 1830 года произошла в Париже Июльская буржуазная революция.

Общественный договор — политический трактат французско-

го просветителя Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), в котором автор утверждает принцип народовластия.

Лафайет, Мари-Жозеф (1757—1834) — маркиз, французский политический деятель, участник буржуазных революций 1789 и 1830 годов. После Июльской революции содействовал возведению на престол «короля банкиров» Луи-Филиппа.

Улица Мостовая — намек на баррикады революционных дней.

Стр. 96. *Гизо*, Франсуа (1787—1874),— французский политический деятель, историк, премьер-министр во время Июльской монархии.

Стр. 100. *Амбигю-Комик* — популярный парижский театр, основанный в 1869 году; ставил комедии, водевили, а также мелодрамы.

Сражаться во время трех дней — то есть в дни Июльской буржуазной революции 1830 года.

Наполеон II — Так бонапартисты называли сына Наполеона I, герцога Рейхштадтского (1811—1832), хотя он никогда не царствовал.

Стр. 101. *Генриха V* — см. примечание к стр. 66.

Цивильный лист — денежные средства, отпускаемые из государственного бюджета при конституционной монархии на личные расходы короля, а также на содержание королевского двора.

Стр. 102. *Поджариватели* — так назывались во Франции разбойничьи шайки, действовавшие в провинции в конце XVIII — начале XIX века. «Поджариватели» пытали захваченных ими людей на медленном огне.

Стр. 103. *Жиске* — префект полиции в период Июльской монархии.

Стр. 104. *...молодой человек... в кожаной шляпе.*— Кожаные шляпы носили в то время сторонники республики.

Стр. 107. *Торговля английскими ружьями* — намек на закупку орлеанским правительством оружия в Англии; оружие это предназначалось для подавления революционного движения.

Настало 14 июля, великий день для убийц.— Имеется в виду избиение республиканских демонстраций в 1831 году правительственными войсками и национальной гвардией.

Стр. 109. *Монморанси*—дворянский род, находившийся в родственных связях с французским королем.

Стр. 110. *27 июля* — день Июльской революции 1830 года.

Стр. 112. *...когда у короля-гражданича будет настоящий дом.*— Королем-гражданином именуется здесь Луи-Филипп, который стал королем не в порядке наследования, а в результате Июльской революции 1830 года. Под *настоящим домом* подразумевается королевский двор.

Стр. 113. «*Сын великого человека*» — сын Наполеона I, герцог Рейхштадтский, известный под именем Наполеона II.

...сторонников герцога Ангулемского...— то есть легитимистов, сторонников свергнутой династии Бурбонов, находившихся в оппозиции к монархии Луи-Филиппа.

Стр. 114. *Цифра V произносилась... крайне редко...*— Имеется в виду Генрих V, претендент на французский престол, соперник Луи-Филиппа.

...кухарке было запрещено подавать к столу груши...— Карикатуристы изображали голову Луи-Филиппа в виде груши.

Стр. 120. *...когда во Французском театре поют «Чаттертона».*— Речь идет о пьесе А. Виньи (1797—1863) «Чаттертон». Словом *поют* Бальзак характеризует манеру чтения французских актеров.

«Почтальон из Лонжюмо» — комическая опера Ж. А. Адана (1803—1856).

...жертвовать деньги в пользу детей генерала Фуа...— После смерти депутата парламента от либеральной партии генерала Фуа (1775—1825) был объявлен сбор средств в пользу его детей.

Стр. 123. *Премия Монтиона* — премия, учрежденная на деньги французского дельца Монтиона, разбогатевшего во время Империи; премия присуждалась за лучшие литературные произведения и «добродетельную» жизнь.

Стр. 129. *Голубь Лафонтена.*— Имеется в виду басня «Два голубя» Ж. Лафонтена (1621—1695).

Стр. 132. *Бридуазон* — персонаж комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

Стр. 136. *Белина* — персонаж комедии Мольера «Мнимый больной».

Стр. 142. *Парламентские советники* — судейские чиновники; *парламентами* до революции 1789 года назывались высшие судебные учреждения.

Стр. 144. *«Силуэт»* — сатирический журнал, в котором Бальзак сотрудничал в первые месяцы 1830 года.

...за счет «производителей» Сен-Симона.— Имеется в виду различие, проводившееся Сен-Симоном между *праздными*, то есть дворянами, священниками и банкирами, и *производителями*, к которым Сен-Симон относил рабочих, ремесленников, крестьян и фабрикантов.

Микрограф — ученый, занимающийся изучением мельчайших организмов.

Стр. 148. *Фиески* — корсиканец, покушавшийся на Луи-Филиппа; казнен в 1836 году.

Сен-Мерри — улица в Париже, на которой в июле 1832 года были воздвигнуты баррикады в дни республиканского восстания. Восстание было подавлено правительственными войсками.

Транснонен.— Из дома на улице *Транснонен* в Париже был произведен в дни восстания, в апреле 1834 года, выстрел по войскам. В ответ на это все жители дома были варварски уничтожены.

Стр. 149. *...капуцинам, снимающим и надевающим шляпу по воле атмосферы.*— Имеется в виду барометр с фигуркой игрушечного монаха.

Стр. 150. *Северный гигант* — подразумевается Россия.

Стр. 151—152. *Вы, конечно, знаете о его Оленьем парке.*— *Олений парк*—особняк Людовика XV в Париже, где устраивались тайные оргии.

Стр. 152. *5 мая 1821 года* — день смерти Наполеона I.

Стр. 153. *...он показывает свой зонт...*— Для карикатуристов

1830—1840 годов зонт являлся иронической эмблемой Луи-Филиппа, который из показного демократизма часто гулял с зонтом.

Стр. 160. *«Конститюсьонель первый».*— Имеется в виду период в истории этой газеты, закончившийся в 1830 году, когда она перестала быть органом оппозиции.

Стр. 161. *Прюдом* — тип буржуа, созданный карикатуристом А. Монье, которого Бальзак называет здесь в шутку «ученым натуралистом».

«Плоды войны» — наименование уличных женщин.

Стр. 163. *Атеней* — так называлось тогда одно из научных обществ.

«Погребок» — кружок поэтов, основанный в 1729 году Пироном и Кребильоном-отцом.

Стр. 164. *Кодрук* — роялист, вандеец, требовавший от правительства Реставрации генеральского чина; когда ему было в этом отказано, он перестал стричь волосы и демонстративно появлялся на улицах Парижа в лохмотьях.

Стр. 166. *Тератология* — наука, изучающая врожденные уродства.

Стр. 171. *«Эдинбургское обозрение»* — английский журнал.

Стр. 175. *«Часы досуга»* — сборник юношеских стихотворений Байрона.

Стр. 179. *«Мальбрук в поход собрался»* — французская народная песенка, высмеивающая английского полководца герцога Мальборо (1650—1722).

Стр. 180. *Невинный аппарат.*— Имеется в виду клистирная трубка, с которой в последующих строках сравнивается пожарная кишка, пущенная в ход против демонстрации министром Перье.

Стр. 200. *...притаившийся за решеткой на улице Бюффона.*— На улице Бюффона в Париже находятся зоологический сад и зоологический музей.

Стр. 209—210. *...разорил львов, заставил уволить много тигров... довел до слез крыс, отнял награбленное у пиявок!..*— *Львами* именуются здесь светские модники, *тиграми* — грумы, то есть мальчики-лакеи, *крысами* — малолетние фигурантки в театре, *пиявками* — ростовщики.

Стр. 210. *...человека, именуемого «медведь»... Этим медведям помогают «мартышки»...*— *Медведями* на языке типографов назывались печатники, а *мартышками* — наборщики.

Стр. 212. *Иерусалимская улица* — в Париже там помещалось полицейское управление.

Стр. 213. *...рассаживаются по скамьям за мостом...*— Имеется в виду палата депутатов, которая находится на правом берегу Сены и к которой ведет мост Согласия.

...подобие свернутой салфетки...— французское слово «serviette» обозначает и «салфетку» и «портфель».

Стр. 220. *Готский альманах.*— Имеется в виду альманах, выходивший с 1763 года в Германии в городе Готе и содержавший ряд сведений о различных странах и перечень царствующих особ; издавался на немецком и французском языках.

Стр. 226. *В любой промышленности имеются собственные*

лионские ткачи.— В начале 30-х годов лионские ткачи, страдая от нищеты и эксплуатации, дважды поднимали восстания.

Стр. 238. *«Парад»* — коротенькая сценка, сопровождаемая клоунадой.

Стр. 240. *...от дворца Турнель, где родился король Франции, до палаты депутатов, где он умер в лице короля французов.*— *Дворец Турнель* был резиденцией Бурбонов; восходя на престол, они принимали титул *«короля Франции»*, а Луи-Филипп получил титул *«короля французов»*.

ПИСЬМА

Стр. 243. *Лора Бальзак*, в замужестве де Ля-Гренре-Сюрвиль (1800—1871),— сестра писателя, большой его друг, автор одной из первых биографий Бальзака — «Бальзак, жизнь и творчество по его переписке» (1856).

Наккар, Жан-Батист — врач и друг Бальзака, лечивший его всю жизнь.

Стр. 244. *Вильпаризи.*— В 1819 году семья Бальзака переехала в местечко Вильпаризи в 23 километрах от столицы.

«Коксигрю» — название романа, задуманного Бальзаком в 1819 году. Замысел остался неосуществленным.

Стр. 245. *Лоренса* — младшая сестра Бальзака.

Мамаша Комен — старая няня, жившая много лет в семье Бальзака.

«Кромвель» — трагедия, над которой Бальзак работал в 1819—1820 годах. Трагедия оказалась неудачной. Впервые была напечатана лишь в 1925 году.

Стр. 247. *Перетта.*— В басне Лафонтена «Молочница и кувшин молока» молодая крестьянка Перетта, размечтавшись о том, что она купит, выгодно продав молоко на рынке, роняет кувшин и разбивает его.

Шаплен, Жан (1595—1674) — французский поэт, автор скучной эпической поэмы «Девственница», написанной напыщенным слогом.

Стр. 248. *Цинна.*— Речь идет о трагедии Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа» (1640).

«Папочка» — Теодор Даблен, старый друг семьи Бальзака, который нередко навещал молодого писателя в его мансарде и ссужал деньгами.

Каррик — пальто широкого покроя с воротником в виде пелерины.

Стр. 249. *...не посвятили господина де Виллье в нашу тайну.*— *Виллье* — мэр города Иль-Адана, старый друг семьи Бальзака. Когда в 1819 году Бальзак поселился в мансарде на улице Ледигьер, чтобы заняться литературой, его родители объявили всем знакомым, что их сын будто бы поехал на юг, к родственникам.

Маркиза — то есть маркиза де Мертейль — героиня эпистолярного романа французского писателя XVIII века Шодерло де Лакло «Опасные связи».

Годар — мельник из Вильпаризи; Годар ездил за покупками

для семьи Бальзака в Париж, передавал письма от родных Бальзаку и обратно.

Заира — прозвище Лоренсы, младшей сестры Бальзака.

Маседуан — то есть смесь (маседуан — блюдо из различных овощей или желе из разных фруктов).

Стр. 250. *Тюлю, Жан-Луи* (1786—1865) — известный во времена Бальзака флейтист.

Стр. 251. *«Жан-Луи»* — один из ранних романов Бальзака, написанный им в 1822 году в соавторстве с писателем Л'Эгревилем.

«Бирагская наследница» — роман, написанный Бальзаком в 1822 году, также в соавторстве с Л'Эгревилем.

Стр. 252. *Г-жа де Берни, Лора* (1777—1836) — первая любовь Бальзака; она много помогала молодому начинающему писателю. До самой смерти г-жи де Берни Бальзак относился к ней с большой нежностью, посвятил ей свою повесть «Луи Ламбер».

Стр. 254. *...откликнулись на мою книгу...*— Имеется в виду роман Бальзака «Шагреневая кожа».

...существовал уже у Сирано де Бержерака...— Сирано де Бержерак (1619—1655) в своем утопическом романе «Путешествие в иной мир, или Государство луны» отталкивался от философской повести Вольтера «Микромегас», написанной в фантастической форме межпланетного путешествия.

«Паризина» — драма Байрона, сходна по некоторым мотивам с драмой Расина «Федра».

Стр. 258. *Карро*, Зюльма (1796—1889) — друг Бальзака, с которой он часто делился своими литературными замыслами, жена артиллерийского офицера. Бальзак часто гостил в семействе Карро в Пудрери, Фрапеле, Ангулеме и др.

«Битва» — неосуществленный замысел большого романа Бальзака.

Стр. 259. *Г-н Огюст* — то есть Огюст Берже (1809—1877)— французский художник, друг Бальзака, в начале 1830-х годов был одно время секретарем писателя.

«Векфильдский священник» — роман английского писателя-сентименталиста Оливера Гольдсмита (1728—1774).

Подражание Иисусу Христу — анонимное религиозное сочинение XV века, содержащее нравоучительные наставления.

Жирарден, Эмиль (1806—1881)—французский журналист и издатель.

Стр. 261. *Хуана* — героиня повести Бальзака «Мараны».

Стр. 262. *Герцогиня* — герцогиня де Кастри, которая во многих письмах Бальзака упоминается как маркиза де Кастри.

Стр. 263. *Анна* — дочь Ганской.

Стр. 264. *Г-жа де К.*— та же герцогиня де Кастри.

Стр. 265. *«Неведомые муки»* — новелла Бальзака, впоследствии составившая вторую главу «Тридцатилетней женщины».

Г-жа Санд, она же Дюдеван.— Настоящее имя французской писательницы Жорж Санд (1804—1876) — Аврора Дюдеван.

Сандо, Жюль (1811—1883) — французский писатель, вместе с Жорж Санд написал роман «Роза и Бланш».

Стр. 268. *...не видел г-жу де Б...*— см. примечание к стр. 252.

Стр. 269. *Итальянцы* — итальянская опера в Париже.

Стр. 270. *«Сладострастие»* — роман французского писателя Сент-Бёва (1804—1869).

Стр. 272. *«Филипп Скрытный»* — задуманное, но ненаписанное произведение Бальзака.

Стр. 274. *«Перетта и кувшин молока»* — см. примечание к стр. 247.

Стр. 282. *...мне очень нужны сведения об Ангулеме.*— Бальзак начинает писать роман «Утраченные иллюзии», действие первой части романа происходит в Ангулеме.

Стр. 283. *«Лилия».*— В июне 1836 года вышел в свет роман Бальзака «Лилия долины»; выходу романа предшествовал длительный процесс Бальзака с издателем журнала «Ревю де Пари» Бюлозом. Бальзак отказался печатать в журнале окончание романа, так как Бюлоз без ведома автора перепродал рукопись начала романа журналу «Ревю Этранжер» в Петербурге.

Стр. 284. *«Выдающаяся женщина»* — первоначальное название романа «Чиновники».

«Молодая Франция» — литературный кружок романтиков, возникший в Париже в середине 30-х годов XIX века.

Стр. 285. *«Руджери»* — то есть «Тайна братьев Руджери», вторая часть книги «Об Екатерине Медичи».

«Сын меховщика» — первоначальное название «Мученика-кальвиниста», первой части книги «Об Екатерине Медичи».

Стр. 287. *«Раскаяние Берты»* — рассказ, входящий в состав «Озорных рассказов».

Стр. 288. *Повесть назову мужским именем.*— Речь идет о повести «Альбер Саварюс», написанной в 1842 году.

Скюдери, Мадлена де (1607—1701) — французская писательница, автор галантно-героических романов, повествующих о необыкновенно утонченных чувствах героев.

Стр. 295. *Доктор Пиффель* — персонаж из произведений Жорж Санд, выражающий мысли автора.

Стр. 297. *«Личный секретарь»* — роман Жорж Санд.

Стр. 298. *«Вынужденная любовь»* — роман Бальзака, впоследствии получивший название «Беатриса».

Латакье — особый сорт табака.

Стр. 299. *Палка... приобрела уж слишком громкую известность* — намек на повесть французской писательницы Дельфины Жирарден «Трость Бальзака» (1836).

...придется ехать в Сардинию.— Весной 1837 года один итальянский торговец предложил Бальзаку заняться эксплуатацией серебряных рудников в Сардинии, заброшенных еще римлянами. В апреле 1838 года Бальзак поехал на остров Сардинию и узнал, что концессия на разработку этих рудников уже получена другими.

Буланже, Луи (1806—1867) — французский художник. Бальзак был очень доволен своим портретом работы Буланже, законченным в конце 1836 года.

Стр. 300. *Великий Маршал* — шуточное прозвище, данное Бальзаком г-ну Ганскому.

Стр. 302. *Поп в своем стихотворении...*— Имеется в виду сти-

хотворение английского поэта Попа (1688—1744) «Элоиза Абеляру».

Стр. 308. *Я баллотировался в Академию...*— Бальзак дважды баллотировался в Академию, но не был избран.

Стр. 310. *Делакруа, Эжен* (1798—1863) — французский художник-романтик, его картины отличались яркими, сочными красками.

Каламатта, Луиджи (1802—1869)—итальянский гравер, живший большей частью во Франции.

Стр. 311. *Лемэтр*, Фредерик (1800—1876) — знаменитый французский актер, друг Бальзака.

Стр. 314. *Премия Монтиона* — см. примечание к стр. 123.

Стр. 315. *Жарди* — домик с небольшим участком земли в Жарди (в 26 километрах от Парижа), приобретенный им в октябре 1837 года, был продан Бальзаком в 1841 году для уплаты долга.

Стр. 321. *Луиза де Шолье* — героиня романа Бальзака «Воспоминания двух новобрачных».

«Провинциальный депутат» — первоначальное название романа Бальзака «Депутат от Арси».

Стр. 322. *«Два брата»*.— Имеется в виду первая часть романа Бальзака «Жизнь холостяка». В последующих изданиях романа Бальзак отказался от деления его на части.

«Злые деяния святого».— Имеется в виду отрывок из первой части романа Бальзака «Изнанка современной истории».

Стр. 324. *«Жена ученого»* — роман Бальзаком не был написан.

Стр. 325. *Беттина*—Элизабет фон Арним (1785—1859), известная под именем Беттины — жена немецкого писателя, реакционного романтика фон Арним, второстепенная писательница, приобрела известность своей перепиской с Гёте, которую она издала вскоре после смерти писателя под заглавием «Переписка Гете с ребенком».

Стр. 327. *Одри*, Жак-Шарль (1781—1853) — популярный французский комический актер.

«Жонглеры» — комическая опера Дюмерсана и Варена (1831).

Стр. 331. *...выражение «госпожа и подруга»*...— Речь идет о посвящении к роману «Мелкие буржуа».

«Эстер».— Имеется в виду первая часть романа Бальзака «Блеск и нищета куртизанок».

Стр. 332. *«Любовь старого миллионера»*.— Имеется в виду вторая часть романа Бальзака «Блеск и нищета куртизанок».

«Братья утешения» — первоначальное название «Посвященного» — второй части романа «Изнанка современной истории».

Стр. 333. *«Мемуары Лозена»*.— *Лозен* — придворный Людовика XVI. После Французской буржуазной революции 1789 года командовал Рейнской армией. В 1793 году был обвинен в измене и казнен. Подлинность мемуаров Лозена оспаривается.

Стр. 334. *«Отставшие от французской армии»* — пьеса не была написана.

Стр. 335. *Гозлан*, Леон (1803—1866) — французский писатель, друг Бальзака.

Стр. 337. *...садился в дилижанс в Дюнкерке.*— 18 июля 1843 года Бальзак из Парижа поехал в Дюнкерк, а оттуда на пароходе в Петербург. По приглашению Ганской Бальзак гостил в Петербурге до октября 1843 года.

Гетевская история Тассо.— Речь идет о трагедии Гёте «Торквато Тассо». Гёте использовал версию, согласно которой поэт был влюблен в принцессу Элеонору д'Эсте, сестру герцога Феррарского — Альфонса II. Разгневанный этим герцог приказал посадить Тассо в сумасшедший дом, где поэт оставался в течение нескольких лет.

Стр. 341. *Консьержери* — старинная парижская тюрьма, занимающая часть Дворца Правосудия.

Стр. 342. *Лебель* — камердинер и доверенное лицо Людовика XV.

Олений парк — см. примечание к стр. 151—152.

Теперь я могу писать свою книгу.— Речь идет о третьей и четвертой частях романа «Блеск и нищета куртизанок» — «Куда ведут дурные пути» и «Последнее воплощение Вотрена».

Сокровище — акции, купленные на деньги Ганской и хранившиеся у Бальзака.

Стр. 344. *Г-жа Онеста* — персонаж из сказки Лафонтена, придирчивая, сварливая особа.

Гренгале — шуточное прозвище, данное Бальзаком Георгу Мнишеку, мужу дочери Ганской.— *Бильбоке* — шуточное прозвище, данное Бальзаком самому себе.

Стр. 349. *Зеферина* — шуточное прозвище, данное Бальзаком дочери Ганской.

Стр. 350. *Верон, Луи* (1798—1867) — французский журналист, издавал журнал «Ревю де Пари» и газету «Конститюсьонель».

...доеду тайком до Галиции...— После Июльской революции 1830 года въезд французам в Россию был запрещен, в каждом отдельном случае требовалось специальное разрешение.

Стр. 352. *Группа* — так Бальзак в шутку называл семью Ганской.

Лоран-Жан — художник-декоратор и литературный критик, друг Бальзака.

Стр. 353. *...вид дома, построенного для жизни, о которой я столь долго мечтал...*— В 1846 году Бальзак купил дом в Париже на улице Фортюне и переделал его. В этом доме он жил до самой смерти.

Шенье, Андре (1762—1794) — французский поэт, писал в духе античной поэзии. В идиллической поэме «Больной юноша» воспевает нежную, преданную любовь.

Стр. 354. *...я должен был лучше беречь мое сокровище* — см. примечание к стр. 342.

Стр. 355. *Готье, Теофиль* (1811—1872) — французский поэт и прозаик, близкий друг Бальзака с 1835 года.

Врачи Факультета — то есть врачи медицинского факультета Парижского университета.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ

Несчастный. *Перевод Б. А. Грифцова* 5
Бакалейщик. *Перевод Б. А. Грифцова* 7
Праздный и труженик. *Перевод Б. А. Грифцова* 13
Мадам Всеотбога. *Перевод Б. А. Грифцова* 17
Булонский лес и Люксембургский сад. *Перевод Р. И. Линцер* 20
О помещичьей жизни. *Перевод Б. А. Грифцова* 25
Министр. *Перевод Б. А. Грифцова* 30
Набросок. *Перевод Б. А. Грифцова* 33
О литературных салонах и хвалебных словах. *Перевод Р. И. Линцер* 35
Романтические акафисты. *Перевод Б. А. Грифцова* . . . 43
Гризетка. *Перевод Б. А. Грифцова* 49
Париж в 1831 году. *Перевод Б. А. Грифцова* 53
Воскресный день. *Перевод Б. А. Грифцова* 56
Провинциал. *Перевод Б. А. Грифцова* 59
Знакомство. *Перевод Р. И. Линцер* 62
Общественный порядок. *Перевод Б. А. Грифцова* 66
Блестящее, но легкое рондо. *Перевод Р. И. Линцер* . . . 69
Банкир. *Перевод Б. А. Грифцова* 74
Две встречи в один год. *Перевод Р. И. Линцер* 77
Великие акробаты. *Перевод Р. И. Линцер* 80
Клакер. *Перевод Б. А. Грифцова* 86
Супрефект. *Перевод Б. А. Грифцова* 90
Прославление министров. *Перевод Р. И. Линцер* 93
Китайский способ высмеивать сборщиков податей. *Перевод Р. И. Линцер* 98

Шесть степеней преступления и шесть степеней добродетели. *Перевод Р. И. Линцер* 100
Как случается, что шпоры полицейского комиссара мешают торговле. *Перевод Р. И. Линцер* 103
Две человеческие судьбы, или Новый способ выйти в люди. *Перевод Р. И. Линцер* 106
Филопотен. *Перевод Р. И. Линцер* 110
Бакалейщик (2-й вариант). *Перевод Б. А. Грифцова* . . . 118
Нотариус. *Перевод Б. А. Грифцова* 131
Монография о рантье. *Перевод Б. А. Грифцова* 144
Сердечные муки английской кошечки. *Перевод Б. А. Грифцова* 170
Напутствие животным, стремящимся к почестям. *Перевод Б. А. Грифцова* 187
Путешествие в Париж африканского льва и что из этого последовало. *Перевод Б. А. Грифцова* 205
Уходящий Париж. *Перевод Б. А. Грифцова* 221
История и физиология парижских бульваров. *Перевод Б. А. Грифцова* 228

ПИСЬМА

Лоре де Бальзак — от 12 августа 1819 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 243
Ей же — от сентября 1819 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 245
Ей же — от сентября, субботы, 1819 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 247
Лоре Сюрвиль — от 2 апреля 1822 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 251
Ей же — начало января 1829 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . 252
Г-ну Шарлю де Бернару — от 25 августа 1831 г. *Перевод Р. И. Линцер* 254
Герцогине де Кастри — от 5 октября 1831 г. *Перевод Р. И. Линцер* 255
Г-же Зюльме Карро — от февраля 1833 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 258
Ей же — между 7 и 17 марта 1833 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 260
Ганской — от 24 октября 1833 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 262
Ей же — от 26 августа 1834 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 264
Ей же — от 18 октября 1834 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 266
Ей же — от 26 октября 1834 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 273
Ей же — от 23 августа 1835 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 280

Г-же Зюльме Карро — от 26 июня 1836 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 282
Ганской — от 8 июля 1837 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 283
Ей же — от 7 ноября 1837 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . . 289
Ей же — от 12 ноября 1837 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 294
Ей же — от 2 марта 1838 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 295
Ей же — от 17 апреля 1838 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 300
Ей же — от 20 мая 1838 г. *Перевод Р. И. Линцер* . . . 301
Ей же — от 23 мая 1838 г. *Перевод Я. З. Лесюка* 304
Ей же — от 10 октября 1838 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 305
Анри Бейлю — от 20 марта 1839 г. *Перевод Я. З. Лесюка* 306
Ему же — от 6 апреля 1839 г. *Перевод Р. И. Линцер* . . . 307
Ганской — от декабря 1839 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 308
Ей же — от 15 марта 1840 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 309
Ей же — от марта 1840 г. *Перевод Я. З. Лесюка* 311
Ей же — от мая 1840 г. *Перевод Я. З. Лесюка* 312
Ей же — от июня 1841 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . . 313
Ей же — от сентября 1841 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 315
Ей же — ст 20 апреля 1842 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . . 317
Ей же — от 21 апреля 1842 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . . 319
Ей же — от 21 ноября 1842 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . . 320
Ей же — от 21 декабря 1842 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . . 321
Ей же — от 1 мая 1843 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . . 323
Ей же — от августа 1843 г. *Перевод Я. З. Лесюка* 325
Ей же — от 20 декабря 1843 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 329
Госпоже *** — от 1844 г. *Перевод Р. И. Линцер* 329
Ганской — от 6 февраля 1844 г. *Перевод Р. И. Линцер* . 330
Ей же — от 29 февраля 1844 г. *Перевод Р. И. Линцер* . . 333
Ей же — от 13 марта 1844 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 334
Ей же — от 19 марта 1844 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 335
Ей же — от 20 марта 1844 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 336
Ей же — от 19 июля 1844 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 337
Ей же — от 20 июля 1844 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 338
Молодому драматургу — от 5 ноября 1844 г. *Перевод Р. И. Линцер* 339
Г-же Зюльме Карро—от января 1845 г. *Перевод Р. И. Линцер* 340
Ганской — от 27 ноября 1845 г. *Перевод Я. З. Лесюка* . . 341
Ей же — от 14 декабря 1845 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . 341
Г-ну А. Коломбу — от 30 января 1846 г. *Перевод Р. И. Линцер* 343
Георгу Мнишеку — от августа 1846 г. *Перевод Р. И. Линцер* 344
Ему же — от декабря 1846 г. *Перевод Р. И. Линцер* . . . 348

Ганской — от 20 января 1847 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . 350
Ей же — от 7 июля 1847 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . . 352
Ей же — от 27 июля 1847 г. *Перевод И. А. Лилеевой* . . 352
Г-ну Теофилю Готье — от 20 июня 1850 г. *Перевод И. А. Лилеевой* 355

Примечания 356

БАЛЬЗАК.
Собрание сочинений
в 24 томах. Том XXIII.

Редактор тома
М. Н. Черневич.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 29/XI 1960 г.
Тираж 348 000 экз. Изд. № 2040.
Заказ 2763. Форм. бум. 84×108 1/32.
Бум. л. 5,87. Печ. л. 19,27. Уч.-изд. л. 16,93.
Цена 9 руб. С 1/I 1961 г. цена 90 коп.

Ордена Ленина типография
газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.